

СТЕФАН
ЦВЕЙГ

· В р е м я ·





S t e f a n Z w e i g
D I E H E I L U N G
D U R C H D E N G E I S T

Обложка работы
М. А. Кирнарского

1932

Летюрлит № 25857. Издание № 3. 10.000 экз.
Отв. ред. Я. Г. Раскин.—Техн. ред. Г. П. Блок. Ст/ф. 82¹/₂×110. 5¹/₂ б/л.
141.696 п/зи. в 1 б/л. Сд. в наб. 29/X 1931 г. Подп. к печ. 10/II 1932 г.
Типография „Советский Печатник“, Моховая, 40. Зак. № 10292.

СТЕФАН ЦВЕЙГ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

СТЕФАНА ЦВЕЙГА

АВТОРИЗОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

**С ПРЕДИСЛОВИЕМ
М. ГОРЬКОГО**

**И КРИТИКО-БИОГРА-
ФИЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ
РИХАРДА ШПЕХТА**

**ТОМ
XI**

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

СТЕФАН ЦВЕЙГ

**В Р А Ч Е В А Н И Е
И П С И Х И К А**

**М Е С М Е Р
МЕРИ БЕКЕР-ЭДДИ
ЗИГМУНД ФРЕЙД**

**П Р Е Д И С Л О В И Е
В. А. ДЕСНИЦКОГО**

**П Е Р Е В О Д
В. А. ЭРГЕНФРЕЯ**

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ»

ЛЕНИНГРАД

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ряду биографических трилогий, посвященных Ст. Цвейгом историческим личностям, настоящая — «Врачевание и психика» — не является лучшей, наиболее удавшейся художнику. Если в других трилогиях («Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой», «Три мастера: Бальзак, Диккенс, Достоевский», «Борьба с безумием: Гельдерлин, Клейст, Ницше») интересны и «литературны» сами персонажи, взятые писателем, если в них остроумны, хотя нередко спорны и неприемлемы, суждения Ст. Цвейга о творческих особенностях того или иного писателя, его понимание исторического окружения, эпохи «героя», то в новой трилогии, в «романах» жизни Месмера, Мери Бекер-Эдди, Фрейда эти положительные, с читательской точки зрения, предпосылки отсутствуют.

Здесь взяты и соединены под общим знаком «врачевания и психики» лица специального порядка, интерес к которым поддерживался и поддерживается в буржуазном обществе не столько их значительностью — положительною или отрицательною — для развития «науки о душе» и практики врачевания, сколько атмосферой шума и скандала, связанного с их именами. А для современной западно-европейской буржуазной интеллигенции этот интерес является особенно усиленным и подчеркнутым, социально обусловленным, поскольку самая проблематика мышления и творчества избранных Ст. Цвейгом персонажей тесно сомкнута с глубочайшей тягой разлагающегося капиталистического общества ко всему таинственному, мистическому, порочащему творческие усилия разума, движения положительной научной мысли.

Именно теперь, когда капиталистический мир — в обстановке нарастания катастрофического кризиса, в атмосфере

материального и морального разложения, накануне решающих боев с пролетариатом — мобилизует все силы для борьбы за свое существование, положение художника или публициста особенно ответственно, если он хочет быть, в меру своей классовой направленности и революционной сознательности, певцом и провозвестником завтрашнего дня, а не реставратором обреченного на слом здания культуры классового угнетения.

В процессе становления новой культуры наука и искусство являются действительными средствами и орудиями борьбы буржуазии с революционным пролетариатом.

Опозтизированная проповедь свободного проявления непосредственных чувств внеклассового человека, «человека вообще», эстетическая реставрация разнообразнейших форм религиозных верований, идеализация человека первичных, целостных инстинктов, призывы к непосредственному действию, превознесение биологического начала («расы», «голоса крови»), культ в поэзии «чистого искусства», поднятие на щит представителей формалистического искусства прошлых эпох — все эти тенденции характерны для искусства современного капиталистического общества. И все они являются не только сигнализаторами загнивания, распада буржуазной культуры, но и одновременно орудием борьбы, средством фашизации буржуа, разгрузки его от задерживающих моментов гуманистической цивилизации, средством «эстетической» отравы революционного пролетариата.

Те же тенденции — борьбы с заблуждающимся «разумом», реставрации идеалистических систем мышления, религии, суеверий и мистики, ликвидации завоеваний когда-то смелой буржуазной мысли — присущи и современной науке капиталистического мира.

Тема данной трилогии Ст. Цвейга, самый жанр, им избранный, — художественный показ реальных исторических личностей, стоявших в своей деятельности на острых гранях соприкосновения науки, философии, поэзии, религии и мистики, суеверия и шарлатанства, — требовали поэтому от него особой четкости в определении своей задачи, максимальной осознанности ее социальной значимости, полного овладения избранной формой изображения действительности.

Нет сомнения, и в «Врачевании и психике» Ст. Цвейг не изменил талант превосходного рассказчика, и здесь он выступает как опытный художник-психолог, остроумно подчас вскрывающий «тайну» исключительной своеобразной личности. Но все же нужно признать, что в данном произведении Ст. Цвейг слишком увлекся своим «героем» Фрейдом и его учением, и это внесло в новую работу писателя целый ряд моментов отрицательного порядка, сильно снижающих ценность новой трилогии.

Ст. Цвейг, надо полагать, неожиданно и для самого себя стал жертвой «ложной» идеи, выражаясь языком Плеханова, оказался в плену той буржуазной идеологии, против которой он, как бы, пытается бороться. То, что хочет в своей книге от кого-то защитить художник-публицист, для современного буржуа ни в какой защите не нуждается. Ст. Цвейг не понял, не доглядел, что нет на арене современной истории как социального явления того трезвого буржуа, смелого рационалиста, позитивиста, с которым он сражается. Современный буржуа — мистик, он жаждет «тайны» спасения, ему нужно «чудо», он враг точного знания, ибо оно диктует ему неизбежную смерть. И поскольку буржуа еще страстно хочет жить и бороться за сохранение мира классовой эксплуатации, такие только «художественные» произведения как новая книга Ст. Цвейга слюнь и рядом являются для него не ударом врага, а небудуманным подарком друга, той каплей живительной влаги, которую богатому Лазарю подает сжалившийся над ним Лазарь-бедняк, мелкобуржуазный гуманный индивидуалист.

Такая гуманистическая «жалость» слюнь и рядом охватывает в переходные эпохи, в моменты ликвидации классовых культур, художников-индивидуалистов, стоящих, якобы, вне классов, по существу же выражающих настроения колеблющейся, растерявшейся перед лицом суровой истории мелкобуржуазной интеллигенции.

Сам Ст. Цвейг заявляет о себе в предисловии к новой трилогии, что ему «дано лишь воплощать идеи в образах», что к своему труду он приступил «исключительно из побуждения образотворчества», что в изображении своих «героев» им не руководили «ни фанатизм убеждения, ни чувство личной благодарности» (последнее в отношении к Фрейду). И читатель, познакомившийся с книгой

Ст. Цвейга, по первому впечатлению согласится в этом с автором. Цвейг хотел быть только «художником», хотел дать только «зарисовки» завлекших его лиц и явлений. Ему, с его взглядами на искусство, усвоенными от Фрейда, казалось, что в его творческом процессе притушено сознание, что в бессознательном выявлении своего свободного «я» он дает возведенную в прекрасное объективную реальную действительность.

В результате его картина действительности и оказалась тесно сомкнутой с устремлениями и настроениями упадочной буржуазии капиталистического Запада. Под знаком «бессознательного» в произведение Ст. Цвейга вошло настоящее классовое буржуазное сознание. Оно и организовало трилогию «независимого» индивидуалиста как художественное произведение, превратив ее, в сущности, в публицистический трактат, в котором нашли свое выражение идеи, характерные для современной западно-европейской буржуазной обществу.

Это прежде всего мысли о религии, ее сущности, происхождении, ее социальной значимости в классовом обществе. По Ст. Цвейгу, «только страдание создало в человечестве религиозное чувство, мысли о боге». Он осуждает французских материалистов XVIII века за то, что они «выметали, вместе с суеверием, и малейшее зернышко мистики из прозрачной как стекло (и как стекло ломкой) вселенной своего «философского словаря». Поэтому ему так близка «широкая душа средневековья», которая была «способна вместить все непостижимое». Он радуется («большое счастье!»), что в истории жизни и деятельности Мери Бекер-Эдди он получил возможность «в непосредственной близости, шаг за шагом, проследить возникновение, развитие и распространение одного из мощных движений в области веры». Причем он совершенно не учитывает того, что условия возникновения религиозных верований, сущность их и социальная значимость в доклассовом обществе, на ранних ступенях человеческой культуры совершенно иные, чем в обществе развернутых классовых противоречий, в классовом буржуазном государстве, в эпоху господства «доллара».

Для изучения социальной психологии буржуазного общества, для вскрытия социального смысла и общественной

функции новых религиозных образований в эпоху развитого капитализма история Мери Бекер-Эдди и ее «церкви» действительно представляет значительный интерес. Но индивидуалистический подход Ст. Цвейга к явлениям идеологического порядка наперед лишает положительной ценности его наблюдения и заключения. Для него весь интерес сосредоточен на личности самой «основательницы» новой «религии», только в ней, по мнению Ст. Цвейга, нужно искать и видеть причину «великого движения», а не в социальных взаимоотношениях конкретного исторического момента. Это, оказывается, она, Мери Бекер-Эдди, «изолированная анонимная личность», она, которая, якобы, «не опирается ни на какую группу, ни на какую секту», только она «одной» и «единственной» своей мыслью создала «новую религию».

Ст. Цвейг не закрывает глаз на среду, историческую обстановку, в которой возникают «великие движения», в том числе и религиозные. Показ бытовкой стороны описываемых явлений представляет и в трилогии «Врачевание и психика» несомненную ценность для читателя. И в частности особенно любопытен прекрасно сделанный рассказ о жизни и подвигах американской основательницы «Христианской науки», которую Ст. Цвейг, не стесняясь, изображает во всем комизме «деловой американской буржуазной атмосферы». Но, когда он хочет «понять» генезис и смысл движения, условия распространения «новой религии», он не идет далее понятия «исключительной личности» и благоприятствующих «расовых» условий.

Так, в представлении Ст. Цвейга, реформационное движение в Германии XVI в. дело Лютера исключительно, «широколобого августинского монаха», который «один единственный, слабый, изолированный... идет в одиночку против гигантской, весь мир объемлющей организации», против всемогущей «католической веры», противопоставив «объединенным силам вселенной... всего лишь внутреннюю мощь своей веры».

Личность, ее деятельность осмысляет Ст. Цвейг не в плане раскрытия исторического процесса, в котором она участвует; он не понимает общественной жизни как состояние напряженной классовой борьбы. Личность у него

«творит из себя», а на вершину достижений ее поднимает «раса», голосом которой она является. Так Л. Толстой, «этот великолепный ум, этот гений художественного созидания дал, собственно говоря, только свое живое слово, свою образующую силу неформальной, присущей русскому народу идее борьбы с авторитетом государства». Такие же наивные по форме и социально вредные по существу мы слышим суждения художника-индивидуалиста, когда он говорит о Ганди, договаривающемся с английским правительством о формах и средствах удушения революционных устремлений пролетариата и крестьянства порабощенной Индии. Для Ст. Цвейга — «Ганди, в конце концов, всего только формулировал наново-активно изначальную сущность пассивности своей расы и ее религий».

Поэтому вполне естественно, что и успех «христианской науки» Мери Бекер-Эдди Ст. Цвейг объясняет не из социальных отношений в заатлантической республике второй половины XIX века, а из «последних душевных глубин американского народа». «Христианская наука», оказываясь, затронула «его исполненный светлой веры, наивный, с такой великолепной легкостью воспламеняющийся оптимизм», предъявила «его энергии, его неукротимому боевому темпераменту вызов — сделать невозможное здесь на земле возможным». И мы уже несколько не удивляемся, когда читаем у Ст. Цвейга, что Мери Бекер-Эдди «обогастила человечество», ибо обогащает человечество тот, «кто вновь и опять научает мир новому безумию». Нет, разумеется, решительно никакой надобности серьезно опровергать эту наивную «философию» религии художника-индивидуалиста, теорию благотворности религии для современного общества. Но необходимо самым резким образом охарактеризовать как реакционные суждения Ст. Цвейга о социальной значимости науки и веры для современного общества. В этих суждениях слышатся отзвуки измены современной западно-европейской буржуазии своему прошлому, своей прежней вере в силу человеческого разума. Заканчивая свой очерк о Мери Бекер-Эдди, Ст. Цвейг утверждает: «в пределах истории духа чуждое учения и выучки неистовство человека непосвященного может иметь столь же важное значение для развития идей, как

и всякая ученость и премудрость... Даже и заблуждение, в силу своей крайности, способствует успеху. Всякая вера, внушенная человеком человечеству силою его душевного напора, истинная или ложная, ведущая к победе или обреченная на неуспех, расширяет пределы духовного нашего мира и сдвигает в сторону отслужившие вехи». И едва ли сознает сам автор, что своим «свободолюбивым» и «дерзким» пафосом мелкобуржуазного анархического индивидуализма он, в сущности, выполняет ту же социальную функцию, что и официальные представители разных классовых религиозных систем, призывающие современного человека вернуться к первичной простоте и целостности религиозного мироощущения.

Смыкания Ст. Цвейга с буржуазными настроениями и взглядами, характерными для эпохи загнивания и разложения капитализма, особенно многократно в очерке о Фрейде, поскольку и сам Фрейд, избранный писателем в «герои», является одним из типичнейших представителей буржуазного декаданса эпохи империализма.

Мелкобуржуазный индивидуалист, Ст. Цвейг приходит в восторг от «дерзновений» Фрейда и ожидает максимальной революционности от его анализа общественных отношений и социальной психологии. И эту грозную революционность он уже нашел. Оказывается, Фрейд в последние годы «попытался применить свой испытанный на индивидууме метод по отношению ко всему человечеству и даже к богу. У него достало мужества итти вперед и вперед, вплоть до последнего nihil (ничто)»...

И вот вместе с Фрейдом и сам художник посмотрел на современность «глазами психиатра» и усмотрел в ней «явные симптомы душевного расстройства», увидел, что люди нашего века только «боги на протезах», — «сокрушающее слово», по мнению Ст. Цвейга.

Нет сомнения, что диагноз поставлен «психиатром» в отношении буржуазии правильно, но обобщение его, применение ко всему человечеству» решительно ничем не оправдано. Фрейд со своими обобщениями не только «психиатр», но и «социолог», и его социология типично буржуазная,насквозь классовая. Он не видит, что в современном обществе наряду с элементами разложения, охватившего эксплуататорские классы, которые предчувствуют

свою близкую неизбежную гибель, даны и элементы максимального социального здоровья, что на смену «богам на протезе» идут люди мощного творческого класса, для которых не страшна наука с ее трезвым познанием мира, которым не нужна наивная «вера».

В проявлениях организованной жестокости, морального разложения, обнаженного эгоизма господствующих классов современного общества и «психиатр», и «художник» видят только «первенство инстинкта над разумом». Для них империалистическая война, унесшая миллионы человеческих жизней, разрушившая громадные материальные ценности, выявившая самые отвратительные и ужасающие формы классово-буржуазной цивилизации, классовой «нравственности», — только «массовый психоз». По их мнению, именно эта война доказала, что «одного толчка из области бессознательного достаточно, чтобы рушились самые смелые построения человеческого духа и святости нравственности». Они убеждены, что многолетняя кровавая бойня была жертвой «неистовому и первобытному инстинкту разрушения».

Порочность «дерзкой» индивидуалистической мелко-буржуазной философии Ст. Цвейга и в том, что он от «личности» с ее болезнями, инстинктами, вместе с Фрейдом, идет прямо к «обществу», что общество в целом и во всех его особях он рассматривает как явление не социологического порядка, а только психологического, биологического. На жизнь общества Фрейд переносит «законы» существования личности, к обществу, расчлененному на классы, он готов применять методы «лечения» индивидуального, в социальных противоречиях он видит только проблему «психотерапии».

Отсюда — «пессимизм» Фрейда: «все мы влачим за собой, в своей крови, незримо и бессознательно, древние варварские инстинкты, и никакая культура до конца не может оградить человека от нежданной вспышки этих, ему самому чуждых инстинктов и вожделений». Отсюда — его меланхолические заключения, что «первенство интеллекта где-то ещё далеко».

Восторгающийся смелостью мысли «психиатра» художник не заметил, что в этом «пессимизме» буржуазного мыслителя есть и оборотная, «положительная» для совре-

менной буржуазии сторона. Своим «пессимизмом» Фрейд дает буржуазному обществу оправдание его «морального бессилия» («инстинкты непобедимы») и разрешение на какие угодно формы борьбы за свое существование, освобождает его от всех неудобных для данного исторического момента буржуазной наукой установленных законов мышления, норм нравственности и методов социального действия. «Научный пессимизм» Фрейда — превосходное обоснование для фашистских методов непосредственного и ничем не сдерживаемого выявления «независимой» человеческой личности, борющейся, якобы, за свое личное «я», удобная теория, освящающая фашистскую борьбу против «гуманитаристического слюнтяйства» старой буржуазной культуры.

«Там, в глубине, неведомо от нас, — повторяет вслед за Фрейдом Ст. Цвейг, — живет изначальное наше «я», которое наше цивилизованное «я» не знает больше или не желает знать; но внезапно оно выпрямляется во весь рост и прорывает тонкую оболочку культуры». Отсюда и новая постановка вопроса о личной ответственности за «антиобщественные» поступки особи. Ибо, пишет Ст. Цвейг, «в бессознательной нашей сфере существуют тайные течения, влекущие нас обратно, в первобытные эпохи, вне оседлости и нравственности», когда «сильный силою своей эгоистической цельности» человек давал «выход своим агрессивным инстинктам в убийстве и пожирании себе подобных, а выход своему половому влечению в пансексуализме и кровосмесительстве».

Идя вслед за Фрейдом, Ст. Цвейг не заметил, что «биологизация» общественных явлений способна превратить здоровое ядро фрейдовских откровений о наличии «подсознательного» в человеческой психике в великолепное средство оправдания самых дичайших и отвратительных форм проявления классового эгоизма и морального разложения буржуазии. Так, например, подход к явлениям половой извращенности с точки зрения наличия в «человеческой природе» древних первичных инстинктов, подход к ним как к явлениям «болезни», естественен и законен. Такова должна быть точка зрения врача, имеющего дело с пациентом как отдельной особой человеческого общества.

Но организованный гомосексуализм Вильгельма, бывшего германского императора, и его друга Круппа, принуждение в дореволюционной германской армии солдат к физическому сожителству с офицерами, педерастия в мужских православных и католических монастырях, мужской светский дом терпимости, организованный когда-то в императорском Петербурге князем Мещерским, редактором и издателем патриотического и реакционного «Гражданина», — это все проявления только «первичных инстинктов», индивидуальной психологии, до которой дело только врачу-специалисту? Здесь только «прорывы тонкого слоя культуры», а не явления социального порядка, характеризующие определенные формы классовых отношений и классового господства?..

Вслед за Фрейдом Ст. Цвейг повторяет, что «изобилие культуры досталось нам не даром, но оплачено неимоверным ограничением нашей свободы в области инстинктов», что «оборотной стороной всякого прироста культурных ценностей в пределах рода является убыль счастья у отдельных лиц», что «мы слишком много отдали обществу и общежитию от цельности своей силы», что порою наше моральное «я» неистово рвется назад, в анархию, в кочевническую свободу, в глубинность первобытной нашей поры».

Конечно, Ст. Цвейг только «художник», он только дает «образы» увлекших его личностей, но его образы организованы идеями, но художник Цвейг и судит, и оценивает общественные явления, и учит.

Он заверяет, что «Фрейд... выполнил сокровеннейшую волю эпохи», он приветствует мысль Фрейда, что «личность человека постигается... исключительно по отпечаткам посланных ему судьбою переживаний», вне его воли и сознания и социального действованья. И Ст. Цвейг поэтому радуется даже тому, что «такие давно уже отмершие, якобы, методы проникновения во внутреннюю структуру человека, как астрология, хиромантия достигают в наши дни неожиданного расцвета», приветствует возрождение всеприемлющей «широты» средневекового человека, надуманного им в реставрационных потугах.

В конечном счете, трилогия Ст. Цвейга «Врачевание и психика», безоговорочным принятием всех «достижений»

Фрейда смыкающая его с реакционными настроениями буржуазной интеллигенции Западной Европы в значительно большей мере, чем все его прежние произведения, на творческом пути талантливого художника, несомненно, ошибочный шаг. Она в высокой мере показательна для характеристики настроений части мелкобуржуазной интеллигенции капиталистической Европы.

С другой стороны, она поучительна и для наших «путчиков», определяющих пути своего сближения с революционным пролетариатом, поучительна она и для молодых пролетарских писателей, разрешающих для себя проблему художественного метода своего творчества. Новая книга Ст. Цвейга учит, что нельзя писателю быть только «художником», созерцающим мир с высоты какой-то своей индивидуалистической воображаемой абсолютной свободы, что нельзя якобы только «эстетически» любоваться «дерзостью» отдельной личности, не вскрывая социального смысла этой дерзости. Ибо такая «дерзость» и такое «незаинтересованное искусство», рыцарем которого хочет быть Ст. Цвейг, по существу своему не что иное, как формы классового буржуазного отношения к той великой социальной борьбе, которая в наши дни сотрясает весь мир.

В. Десницкий

ВВЕДЕНИЕ

Всякое ущемление естества есть
напоминание о высшей родине.

Новалис

Здоровье для человека естественно, болезнь — неестественна. Здоровье приемлется его телом как нечто само собой понятное, так же, как воздух легкими и свет глазами; не заявляя о себе, живет оно и растет в нем вместе с общим его жизнеощущением. А болезнь — она проникает внезапно, как что-то чуждое, она нечаянно набрасывается на объятую страхом душу и берedit в ней множество вопросов. Ибо если откуда-то со стороны явился он, злой оборвг, то кто же насрал его? Останется он или отойдет? Доступен он заклятию, мольбе, преодолению? Жесткими своими когтями извлекает болезнь из сердца противоречивейшие чувства: страх, веру, надежду, обреченность, проклятие, смирение, отчаяние. Она научает больного спрашивать, думать и молиться, поднимать полный испуга взор в пустоту и обретать там существо, коему можно поведать о своем страхе. Только страдание создало в человечестве религиозное чувство, мысль о бoге.

Поскольку здоровье от природы присуще человеку, оно необъяснимо и не требует объяснений. Но всякий страждущий ищет в каждом случае смысла своих страданий. Ибо мысли о том, что болезнь нападает на нас без всякого толку, что без всякой нашей вины, бессцельно и бессмысленно, тело охватывается жаром и раздрается, до последних своих глубин, раскаленными лезвиями боли, — этой чудовищной мысли о полной нелепости страданий, мысли, достаточной, чтобы ниспровергнуть всю этику мироздания, человечество еще никогда не решилось довести до конца. Болезнь всякий раз представляется ему кем-то ниспосланной, и тот непостижимый, кто ее посылает, дол-

жен, по мнению человечества, иметь все основания для того, чтобы вселить ее именно в это вот тленное тело. Кто-то должен иметь зло на человека, гневаться на него, его ненавидеть. Кто-то хочет его наказать за какую-то вину, за какой-то проступок, за нарушенную заповедь. И это может быть только тот, кто все может, тот самый, кто мечет молнии с неба, кто шлет на поля жар и стужу, кто возжигает звезды и туманит их, ОН, у кого вся власть, всемогущий: бог. От начала времен, поэтому, явление болезни связано с религиозным чувством.

Боги посылают болезнь, боги одни могут и взять ее обратно: эта мысль утверждена неизбежно в преддверии всякой врачебной науки. Еще полностью лишенный сознания собственного своего разумения, беспомощный, несчастный, одинокий и слабый, охвачен человек древности пламенем своего недуга и не знает другого выхода, как с воплем обратить свою душу ввысь, к богу-чародею, чтобы он от него отступился. Только вопль, молитву, жертвоприношение и знает первобытный человек в качестве лечебного средства. Нельзя защититься против него, сверхсильного, непреодолимого во мраке; значит нужно смириться, добиться его прощения, умолять его, упрашивать, чтобы он взял обратно из тела пламенеющую боль. Но как достигнуть его, невидимого? Как взывать к нему, не зная его обиталища? Как подать ему знаки раскаяния, всепокорности, обетования и готовности к жертвам, знаки, которые были бы ему понятны? Всего этого не знает оно, бедное, неискушенное, смутное сердце ранней поры человечества. Ему, неведающему, не откроется бог, не снизойдет к низкой его, будничной доле, не удостоит его ответа, не услышит его. И вот, в нужде своей, должен беспомощный, бессильный человек искать себе другого человека, как посредника перед богом, мудрого и искушенного, которому ведомы чары и заклинания, дабы умилостивлять темные силы, ублажать их во гневе. И таким посредником в эпоху первобытных культур является единственно жрец.

Таким образом, в доисторическую пору человечества борьба за здоровье означает не борьбу с отдельной болезнью, а борьбу за бога. Всяческая медицина на земле начинается как теология, как магия, культ, ритуал, как душевная напряженность человека против посланного бо-

гом испытания. Телесному страданию противопоставляется не технический, а религиозный акт. Не ищут причин недуга, а ищут бога. Не борются с болезнями явлениями, а пытаются замолить болезнь, искупить ее, откупиться от бога при помощи обетов, жертв и церемоний, ибо только тем путем, каким пришла она, — путем сверхестественным, — может она и отступиться. Так единству явления противопоставляется еще полное единство чувства. Есть только одно здоровье и одна болезнь, а для этой последней опять-таки только одна причина и одно средство: бог. А между богом и страданием есть только один посредник — все тот же жрец, этот страж души и тела в одно и то же время. Мир еще не расщеплен, не раздвоился; вера и знание образуют в святилище храма одну, единую категорию; избавление от боли не может совершиться без выступления на арену душевных сил, без ритуала, заклинаний и молитвы. А потому толкователи снов, заклинатели демонов, жрецы, коим ведом таинственный ход светил, творят свое целебное искусство не как практический акт науки, а как таинство. Не поддающееся изучению, доступное восприятию лишь посвященных, передается оно, это искусство, от поколения к поколению; и хотя жрецы, имея опыт, немало понимают во врачевании, они никогда не дают советов исключительно деловых; они требуют чуда в исцелении, требуют освященной храмины, душевной приподнятости и присутствия богов. Только очистившись и освятившись телом и духом, в праве больной воспринять целебную формулу; паломники, бредущие далекою и трудной дорогой к храму в Эпидавре, должны провести канун в вечерней молитве, должны омыть тело, заколоть каждый по жертвенному животному, проспаться ночь в преддверии на шкуре жертвенного кабана и поведать сны этой ночи жрецу, для их разъяснения; лишь тогда он удостоит их одновременно и пастырского благословения и врачебной помощи. Но всякий раз в качестве первейшего залога исцеления утверждается приближение души, полной веры, к богу: кто хочет чуда выздоровления, должен подготовить себя к чуду. Врачебная наука в истоках своих неотторжима от науки о боге; медицина и богословие составляют по началу одно тело и одну душу.

Это начальное единство вскоре рушится. Ибо для того,

чтобы стать самостоятельной и принять на себя практическое посредничество между болезнью и больным, наука должна отринуть божественное происхождение болезни и исключить, в качестве совершенно излишней, религиозную установку — жертву, молитву, культ. Врач выступает рядом со жрецом, а вскоре и против жреца — трагедия Эмпедокла — и, низводя страдания из области сверхчувственной в плоскость обыденно-природного, пытается устранить внутреннее расстройство средствами земными, стихиями внешней природы, ее травами, соками и солями. Жрец замыкается в рамках богослужения и отступается от врачебного искусства, врач отказывается от всякого воздействия на душу, от культа и магии; отныне два эти течения разветвляются и идут каждое своим путем.

С момента нарушения первоначального единства все элементы врачебного искусства приобретают сразу же совершенно новый и наново окрашивающий смысл. Прежде всего единое душевное явление «болезнь» распадается на бесчисленные, точно обозначенные болезни. И вместе с тем ее сущность теряет в известной степени связь с духовной личностью человека. Болезнь означает уже нечто, приключившееся с человеком не в его целом, а лишь с отдельным его органом (Вирхов на конгрессе в Риме: «Нет болезней вообще, а лишь отдельные болезни органов и клеток»). И первоначальная задача врача — противостоять болезни как некоей цельности — заменяется теперь, естественным образом, более незначительной, строго говоря, задачей — локализовать всякое страдание по его исходным точкам и причислить его к какой-либо из давно расчлененных и описанных групп болезней. Как только врач поставил правильный диагноз и дал болезни наименование, он в большинстве случаев уж выполнил суть своего дела, и лечение совершается в дальнейшем само собою при посредстве предусмотренных на этот «случай» медицинских приемов. Полностью отрешившись от религии, от волшебства, являясь добытою в школе суммою знаний, современная медицина оперирует не индивидуальной интуицией, а твердыми практическими установками, и если она до сих пор еще охотно присваивает себе поэтическое наименование «врачебного искусства», то высокий этот термин может означать лишь более слабую степень — «искусство

ремесленное». Ибо давно уже наука врачевания не требует от своих учеников, как некогда, жреческой избранности, таинственной мощи провидения, особого дара созвучия с основными силами природы; призванность стала призванием, магия — системой, таинство врачевания — осведомленностью в лекарственных средствах и в отправлениях организма. Исцеление совершается уже не как психическое воздействие, не как событие неизменно чудесное, но как чистейший и почти наперед рассчитанный рассудочный акт со стороны врача; выучка заменяет вдохновение, ученик приходит на смену Логосу, исполненному тайны, творческому заклинанию жреца. Там, где древний, магический порядок врачевания требовал высшего душевного напряжения, новая, клиничко-диагностическая система требует от врача противоположного, а именно ясности духа, отрешенного от нервов, при полнейшем душевном спокойствии и деловитости.

Эти неизбежные в процессе врачевания деловитость и специализация должны были в девятнадцатом веке усиливаться сверх меры, ибо между пользующимся и пользующим возникло еще третье, полностью бездушное существо: аппарат. Все более ненужным становится для диагноза проникательный и творчески сочетающий симптомы взор рожденного врача: микроскоп открывает для него зародыш бактерии, измерительный прибор отмечает за него давление и ритм крови, рентгеновский снимок устраняет необходимость в интуитивном прозрении. Все больше и больше лаборатория принимает на себя в диагностике то, что требовало от врача личного проникновения, а для пользования больного химическая фабрика дает ему в готовом виде, дозированным и упакованным, то лекарство, которое средневековый медик должен был собственноручно, от случая к случаю, перемешивать, отвешивать и рассчитывать. Засилие техники, проникшее в медицину хотя и позже, чем повсюду, но столь же победоносно, сообщает процессу врачевания деловитость некоей великолепным образом разработанной по деталям и по рубрикам схемы; понемногу болезнь — некогда вторжение необычного в сферу личности — становится противоположностью тому, чем была она на заре человечества: она превращается, большей частью, в «обычный», «типический» случай, с заранее рассчитан-

ной длительностью и механизированным течением, делается задачей, доступной разрешению методами рассудка. К этой рационализации на путях внутренних присоединяется, в качестве мощного пополнения, рационализация извне, организационная; в клиниках, этих гигантских вместительных горя человеческого, болезни распределяются, точно так же, как в деловых универсалах, по специальным отделениям, с собственными подъемниками, и так же распределяются врачи, конвейером проносящиеся от постели к постели, исследующие отдельные «случаи» — всегда только больной орган, и большей частью не имеющие времени заглянуть в лицо человека, прорастающего страданием. Исполнинские организации больничных касс и амбулаторий привносят свою долю в этот обездушивающий и обезличивающий процесс; возникает перенапряженное массовое производство, где не зажечься ни одной искре внутреннего контакта между врачом и пациентом, где, при всем желании, станвится все более и более невозможным малейшее проявление таинственного магнетического взаимодействия душ. И тут же, в качестве ископаемого, допотопного экземпляра, вымирает домашний врач, тот единственный, кто в больном знал и человека, знал не только его физическое состояние, его конституцию и ее изменения, но и семью его, а с нею и некоторые биологические предпосылки, — он, последний, в ком оставалось еще нечто от прежней двойственности жреца и врача. Время сбрасывает его с колесницы. Он являет собою противоречие закону специализации и систематизации, так же, как извозничья лошадь по отношению к автомобилю. Будучи слишком человеческим, он не подходит больше к ушедшей вперед механике медицины.

Против этого обезличения и полнейшего обездушивания врачебной науки искони отстаивала себя широкая, непросвещенная, но в то же время внутренне-понимающая масса народа, в тесном смысле этого слова. В точности так же, как тысячи лет назад, смотрит простой, недостаточно еще «образованный» человек на болезнь с благоговейным чувством, как на нечто сверхестественное, все еще противопоставляет он ей душевный акт надежды, страха, молитвы и обета, все еще первая его, руководящая мысль — не об инфекции или объяснении сосулов, а о боге. Никакая

книга и никакой учитель не убедит его в том, что болезнь возникает «естественным» путем, а следовательно без всякого смысла и без вины; а потому он заранее проникается недоверием ко всякой практике, которая обещает устранить болезни путем трезвым, техническим, холодным, т. е. бездушным. Равнодушие народа к ученому, с высшим образованием, врачу слишком глубоко отвечает его потребности — наследственному массовому инстинкту — в связанном с целым миром, сроднившимся с растениями и животными, знающем тайны «враче по природе», ставшем врачом и авторитетом в силу своей природы, а не путем государственных экзаменов; народ все еще хочет, вместо «специалиста, обладающего знанием болезней, «человека медицинского», имеющего «власть» над болезнью. Пусть давно уже в свете электричества рассеялась вера в ведьм и дьяволов, — вера в этого чудодейственного, знающего чары человека сохранилась в гораздо большей степени, чем в этом признаются открыто. И то же самое почти-тельное благоговение, которое мы испытываем по отношению к гению и человеку, непостижимо творящему, в лице, скажем, Бетховена, Бальзака, Ван-Гога, цитает народ доныне ко всякому, в ком чувствует он, якобы, целебную мощь, превосходящую норму; доныне требует он себе как «посредника», вместо холодного «средства», полнокровного живого человека, от которого «исходит сила». Знахарка, пастух, заклинатель, магнетизер именно в силу того, что они практикуют свое лекарское ремесло не как науку, а как искусство и притом запрещенное искусство черной магии, в большей степени вызывают его доверие, чем имеющий все права на пенсию, хорошо образованный общинный деревенский врач. По мере того как медицина становится все более и более технической, рассудочной, локализирующей, все яростней отбивается от нее инстинкт широкой массы; все шире и шире, вопреки всяческому школьному образованию, разрастается в низах народа, в смутных его глубинах, это течение, направленное против академической медицины.

Это сопротивление давно уже чувствуется наукою, и она борется с ним, но тщетно. Не помогло и то, что она связалась с государственною властью и добилась от нее закона против лекарей-шарлатанов и целителей «силами при-

роды»: движения, в последней глубине своей религиозные, не подавляются до конца силою параграфов. Под сенью закона ныне, как и во времена средневековья, продолжают орудовать бесчисленные, не имеющие степеней и, значит, с государственной точки зрения неправомочные делители; неустанно длится партизанская война между природными методами лечения, религиозным врачеванием и научною медициною. Но самые опасные противники академической науки явились не из крестьянских хижин и не из цыганских таборов, а возникли в ее собственных рядах; подобно тому как французская революция, а равно и всякая другая заимствовали вождей не из народа, но, наоборот, мощь дворянства потрясена была, собственно говоря, дворянами, против нее восставшими, так и в великом восстании против чрезмерной специализации школьной медицины решающее слово неизменно принадлежало отдельным, независимым врачам. Первый, кто повел борьбу против бездушия, против срывания покровов с чудес врачевания, был Парацельс. Вооружась булавою мужицкой своей грубости, ополчился он на «докторов» и предъявил книжной их, бумажной учености обвинение в том, что они хотят разложить человеческий микрокосм, как часовой механизм, на части и потом опять склеить. Он борется с высокомерием, с догматической авторитарностью науки, утратившей всякую связь с высокою магией *natura naturans*,¹ не замечающей и не признающей стихийных сил и не чующей излучений как отдельных душ, так и мировой души в целом. И как ни сомнительны, на взгляд современности, его собственные рецепты, духовное влияние этого человека растет, как бы под покровом времени, и в начале девятнадцатого века проявляется наружу в так называемой «романтической» медицине, которая, являясь ответвлением философски-поэтического течения, стремится в свою очередь к высшей форме телесно-душевного единства. С безусловною верою во вселенскую одухотворенность природы, она отстаивает мысль, что сама природа — наиболее мудрая делительница и нуждается в человеке в лучшем случае

¹ Термин Спинозы «природа рождающая», «творящая», в противоположность «*natura naturata*» — «природа творимая», «пассивная».

лишь как в пособнике. Подобно тому, как кровь, не побывав в выучке у химиков, образует антитоксины против всякого яда, так и организм, сам себя поддерживающий и преобразующий, способен в большинстве случаев без всякой помощи справиться с болезнью. Поэтому путеводною нитью всякого человеческого врачевания должно быть правило — не идти вразрез с естественным ходом жизни, а лишь укреплять в случае болезни всегда присущую человеку волю к выздоровлению. А этот импульс нередко может быть поддержан путем душевного, духовного, религиозного воздействия в той же мере, как и при помощи грубой аппаратуры и химических средств; истинное же исцеление всегда совершается изнутри, а не извне. Сама природа — тот «внутренний врач», которого каждый с рождения носит в себе и который, поэтому, более понимает в болезнях, чем специалист, лишь извне нащупывающий симптомы; впервые болезнь, организм и проблема врачевания рассматриваются романтической медициной вновь как некое единство. Целый ряд систем возникает в девятнадцатом столетии из этой основной идеи о самостоятельной силе сопротивления организма. Месмер основывает свое магнетическое учение на воле человека к здоровью, Christian Science¹ — на плодотворной мощи самосознания; и наряду с этими, использующими внутренние силы природы мастерами, другие обращаются к силам внешним: гомеопаты к цельному, неразбавленному веществу, Кнейп и другие последователи врачевания природою — к ее восстанавливающим стихиям — воде, солнцу, свету; и все они отказываются, как бы сговорившись, от всяких химических комбинаций в лечении, от всякой аппаратуры и, стало быть, от самых значительных достижений новейшей науки. Общее всем этим природным методам, чудесным исцелениям и «врачеванию духом» положение, противостоящее школьной патологии с ее тенденциями к локализации, может быть выражено в единой, короткой формуле. Научная медицина рассматривает больного с его болезнью как объект и отводит ему, почти презрительно, абсолютно пассивную роль; ему не о чем спрашивать и не о чем говорить; все что он должен делать, это послушно и даже без единой

¹ Христианская наука.

мысли следовать предписаниям врача и по возможности выключить себя самого из процесса пользования. В этом слове «пользование» ключ ко всему. Ибо в то время как в научной медицине больного «пользуют» в качестве объекта, метод душевного врачевания требует от больного прежде всего, чтобы он сам пользовался душой, чтобы он, как субъект, как носитель и главный исполнитель врачевания, проявил максимум возможной для него активности в борьбе с болезнью. В этом призыве к больному — воспринять душой, собрать воедино свою волю и целостность своего существа противопоставить целостности болезни — и состоит существеннейшее и единственное лечебное средство всех психических методов, и пособничество их представителей ограничивается по большей части не чем-либо иным, как такого рода словесным обращением. Но того, кто знает, какие чудеса может совершать Логос, творческое слово, это чародейное сотрясение уст в пустоте, создавшее бесчисленные миры и бесчисленные миры разрушившее, того не поразит, что в науке врачевания, как и во всех других областях, несчетное число раз совершались при посредстве единого слова истинные чудеса, что только через словесное обращение и взгляд — этих посланцев от личности к личности — во многих случаях могло быть восстановлено, исключительно воздействием на дух, здоровье в организмах, совершенно распатанных. В полной мере чудесные, исцеления эти не являются ни чудом, ни исключительным явлением; они лишь смутно отражают все еще неясный для нас закон взаимодействия высшего порядка между телом и душой, который полнее, может быть, исследуют будущие поколения; для нас же довольно и того, что возможность врачевания путем чисто психическим уже не отрицается и что по отношению к явлениям, необъяснимым с точки зрения чистой науки, установилось известного рода смутное признание.

Такие самовольные отклонения отдельных крупных представителей врачевания от академической медицины принадлежат, по моему разумению, к числу интереснейших эпизодов истории культуры. Ибо ничто в истории, как в материальной, так и в истории духа, не сравнится по драматической силе психического воздействия с тем эпизодом, когда один единственный, слабый, изолированный

человек идет в одиночку против гигантской, весь мир объедающей организации. Поднимается ли Спартак, осыпавший побоями раб, против римских легионов и когорт, или Пугачев, бедный казак, против исполинской России, или Лютер, широколобый августинский монах, против всемогущей *fides catholica*,¹ — всякий раз когда человек противопоставляет объединенным силам вселенной всего лишь внутреннюю мощь своей веры и бросается в борьбу, кажущуюся бессмысленной по полной ее безнадежности, именно тогда душевное его напряжение творчески передается людям и создает из ничего несметные силы. Каждый из великих наших фанатиков «лечения духом» собрал вокруг себя сотни тысяч, каждый делами своими и исцелениями пробудил и поколебал сознание эпохи, от каждого пошли и проникли в науку мощные течения. Фантастическое положение: в эпоху, когда медицина, благодаря скачкообразному вооружению своей техники, творит истинные чудеса, когда она научилась дробить, наблюдать, фотографировать, измерять, подвергать своему воздействию и изменять малейшие атомы и молекулы живой ткани, когда все другие точные науки поспешествуют ей и сопутствуют и ничто органическое не являет как будто тайны, — как раз в этот самый миг ряд независимых исследователей доказывает ненужность во многих случаях всей этой аппаратуры. Они открыто и неопровержимо свидетельствуют своими делами о том, что и в нашу пору, как некогда, можно с голыми руками, исключительно путями психическими, добиться исцеления, и даже в тех случаях, когда ничего не мог сделать до них величественный и точный механизм университетской медицины. На сторонний взгляд система их непонятна и почти смешна в силу своей незначительности: врач и пациент мирно сидят рядом и, кажется, просто болтают. Ни рентгеновских снимков, ни измерительных приборов, ни электрической цепи, ни кварцевых ламп, ни даже термометра — ничего нет от всего того технического арсенала, который составляет справедливую гордость нашего времени; и все-таки их древний метод действует часто с большею силою, чем ушедшая вперед терапия. То обстоятельство, что ходят железнодорожные по-

¹ Католическая вера.

езда, не внесло никаких изменений в душевную конституцию человечества, ибо разве не подвозят они ежегодно к Лурдскому гроту сотни тысяч паломников, ждущих чудесного исцеления только оттуда? И то, что изобретены токи высокой частоты, столь же мало устранило тяготение души человеческой к тайне, ибо в 1930 году, в Гальспахе, они, эти токи, будучи укрыты в магическом железе некоего ловца душ, волшебством создали из ничего целый город с отелями, санаториями и увеселительными заведениями — все вокруг одного, единственного человека. Ни один факт столь наглядно, как многообразный успех методов внушения и так называемых чудесных исцелений, не свидетельствует о том, какие огромные залежи веры имеются налицо еще в двадцатом столетии и сколько практических возможностей врачевания сознательно упущено за долгие годы медицины, ориентирующейся на бактериологию и гистологию, той медициной, которая так упорно отрицала малейшую возможность иррационального и по прихоти своей исключала психическую самопомощь из своих точных расчетов.

Само собой разумеется, ни одна из этих современно-старинных систем ни на миг не поколебала несравненную по своей продуманности и универсальности организацию современной медицины; успех отдельных психических методов и систем отнюдь не доказывает, что научная медицина была сама по себе права, но обличает лишь тот догматизм, что неизменно замыкался в последней из найденных систем врачевания, в качестве лучшей для всех и единственно возможной, и издевался над всякой другой, как над несовременной, неправильной и невозможной. Вот этому сомнению нанесен жестокий удар. В той плодотворной вдумчивости, которая замечается теперь как раз у духовных вождей медицины, не последняя роль принадлежит непреложному успеху, в отдельных случаях, тех психических методов лечения, о которых речь будет ниже. Смутное, но и нам, непосвященным, внятное сомнение зародилось в их рядах: не завела ли (как открыто допускает человек такого масштаба, как Зауэрбрух) «чисто бактериологическая и серологическая трактовка болезней медицину в тупик», не начинает ли наука врачевания превращаться постепенно из служения человеку в не-

что самодовлеющее и чуждое людям — с одной стороны, благодаря специализации и, с другой, в силу предпочтения, отдаваемого количественному расчету перед индивидуальной диагностикой, не стал ли — повторяя превосходную формулировку — «врач чересчур уж медиком». То, что в наше время именуется «кризисом сознания в медицине», не является, однако, ни в какой мере, узкопрофессиональным вопросом; этот кризис входит в состав того обще-европейского состояния неустойчивости, того универсального релятивизма, который, после длившегося десятилетиями диктаторского утверждения и отрицания во всех отраслях науки, заставляет специалистов вновь обернуться, наконец, назад и поставить ряд вопросов. Отрадным образом начинает обнаруживаться известного рода широта взглядов, столь чуждая, обычно, академическим кругам; так, превосходная книга Ашнера «Кризис медицины» дает изобилие неожиданных примеров того, как методы лечения, еще вчера и позавчера подвергавшиеся, в качестве средневековых, осмеянию и вышучиванию (вроде пускания крови или прижигания), стали сегодня новейшими и наиболее действительными. Более справедливо и с живым, наконец, интересом к закономерности явления взирает медицина на случаи «исцеления духом», те самые, что еще в девятнадцатом веке отрицались и высмеивались людьми, имеющими «степень», в качестве шарлатанства, обмана и фокусничества; серьезные усилия прилагаются к тому, чтобы постепенно сочетать эти сторонние, чисто психические достижения с точными достижениями клинического обихода. Неоспоримо чувствуется в среде умнейших и гуманнейших врачей своего рода тоска по прежнему универсализму, стремление найти пути от замкнутой, локализованной патологии к конституциональной терапии, к осведомленности не только об отдельных болезнях, коим подвержен человек, но и о личности этого человека. Исследовав вплоть почти до молекулы тело и клеточку, как универсальную материю, творческая любознательность вновь обращает, наконец, свой взор в сторону целостности болезни, различной в каждом случае, и вслед за местными признаками ищет других, высших. Новые научные дисциплины — учение о типах, физиономика, учение о наследственности, психоанализ, индивидуальная психология — пы-

таются вновь выдвинуть на первый план как раз не родовое в человеке, а изначальное единство каждой личности; достижения внеакадемической психологии, явления внушения, самовнушения, открытия Фрейда, Адлера все настойчивее овладевают вниманием всякого вдумчивого врача.

Разделенные в веках, снова начинают сближаться два течения в науке врачевания, органическое и психическое, ибо неизбежно — вспомним образ спирали у Гёте — всякое развитие возвращается, на более высокой ступени, к исходной своей точке. Всякая механика приходит в конце концов к изначальному закону движения, всякое дробление вновь тяготеет к единству, все рациональное поглощается в свою очередь иррациональным; и после того как века науки строгой и односторонней исследовали материю и форму человеческого тела вплоть до основных глубин, вновь возникает вопрос о «духе, созидающем для себя тело».

Книга эта задумана отнюдь не как систематическая история всех психических методов лечения. Мне дано лишь воплощать идеи в образах. Поведать о том, как мысль растет в человеке и потом прорастает через него в мир, — такая картина из области духовно-душевной жизни явственнее, мне кажется, отобразит идею, чем всяческий историко-критический очерк. Поэтому я ограничился тем, что выбрал трех человек, которые, идя самостоятельными и даже противоположными путями, воплотили в жизнь, на сотнях тысяч людей, идею лечения духом: Месмер — внушением укрепляя волю к здоровью, Мери Бекер-Эдди — хлороформируя экстафикой мощной веры, Фрейд — призывая к самопознанию и к устранению собственными силами психических конфликтов, гнетущих сферу подсознательного. Лично я не испытал ни одного из этих методов ни в качестве врача, ни в качестве пациента; ни с одним из них меня не связывают ни фанатизм убеждения, ни чувство личной благодарности. Таким образом, приступая к настоящему труду исключительно из побуждения образотворчества, я надеюсь остаться независимым и, отображая Месмера, не стать месмерянцем, отображая Бекер-Эдди — последователем Christian Science, и отображая Фрейда —

отъявленным психоаналитиком. Я вполне сознаю, что каждое из этих учений могло стать действенным лишь путем доведения до крайности содержащейся в нем идеи, что каждое дает резко изохренную форму, дополняя ее новым изохрением, но, в согласии с Гансом Саксом, «ошибкою я это не сочту». Мысль имеет с волною, устремляющуюся за свои пределы, то общее, что она ищет для себя крайних форм. Решающим для всякой идеи является не то, как она осуществляется, но что, по существу, в ней содержится. Не что она собою представляет, а что она дает. По чудесному выражению Поля Валери, «лишь крайность сообщает миру его цену, лишь средний уровень — устойчивость».

Зальдбург 1930

ФРАНЦ АНТОН МЕСМЕР

Надобно вам знать, что воздействие
воды—немалая статья во врачевании.

Парацельс

ПРЕДТЕЧА И ЕГО ВРЕМЯ

Ни о чем не судят так поверхностно, как о характере человека, а именно здесь нужно быть всего осторожнее. Ни в каких делах не склонны люди менее терпеливо дожидаться целого, а оно собственно и создает характер. Я всегда находил, что так называемые плохие люди выигрывают, а хорошие теряют.

Лиспенберг

В продолжение целого столетия Франц Антон Месмер, этот Винкельрид современной психотерапии, занимал место на позорной скамье шарлатанов и мошенников, рядом с Калиостро, графом Сен-Жерменом, Дажоном Ло и другими авантюристами той эпохи. Напрасно суровый одиночка среди немедких мыслителей протестует против позорного приговора университетской науки — напрасно превозносит Шопенгауэр месмеризм как самое содержательное, с философской точки зрения, из всех открытий, хотя бы гаже оно задавало порою загадок больше, чем разрешало их. Но предрассудок труднее опровергнуть, чем какие бы то ни было суждения. Дурная слава распространяется без проверки, и вот один из наиболее добросовестных немецких исследователей, отважный и одинокий путник, шедший на свет и на блуждающие огоньки и указавший дорогу новейшей науке, прослыл двусмысленным фантастом, подозрительным мечтателем; и никто не дал себе труда проверить, сколько существенных, мирового значения, перспектив возникло из его ошибок и давно уже преодоленных крайностей. Трагедия Месмера в том, что он пришел слишком рано — и слишком поздно. Эпоха, когда он выступил, именно потому, что она так величаво гордилась разумом, полностью отрешена от всякой интуиции: это

(опять по Шопенгауэру) — сверхумная эпоха просвещенности. За сумеречным сознанием средневековья, благоговейным и смутно чающим, последовало поверхностное сознание энциклопедистов, этих всезнаек — так, по точному смыслу, следовало бы перевести это слово, — грубо-материалистическая диктатура Гольбахов, Ламетри, Кондильяков, которой вселенная представлялась интересным, но допускающим улучшения механизмом, а человек — всего лишь курьезным мыслящим автоматом. Полные самодовольства, — ибо они уже не сожигали ведьм, признали добрую старую Библию незамысловатой детской сказкой и вырвали у Господа-бога молнию при помощи Франклинова громоотвода, — эти просветители (и их убогие немецкие подражатели) объявили целыми бреднями все, чего нельзя ухватить пинцетом и вывести из тройного правила, выметая, таким образом, вместе с суеверием, и малейшее зернышко мистики из прозрачной как стекло (и как стекло ломкой) вселенной своего *dictionnaire philosophique*.¹ То, чего нельзя было математически проанализировать, они, в бойком своем высокомерии, признали призрачным, а то, чего нельзя постигнуть органами чувств, не только ничтожным, но просто несуществующим.

В такую нескромную, неблагочестивую эпоху, обожествившую единственно свой собственный, исполненный самодовольства разум, явился неожиданно человек, утверждающий, что вселенная наша отнюдь не пустое, бездушное пространство, не безучастное мертвое ничто вокруг человека, но что она непрестанно пронизывается невидимыми, несосязаемыми и лишь внутренне-ощутимыми волнами, таинственными токами и напряжениями, которые, в длительной передаче, соприкасаются друг с другом и друг друга оживляют, как одна душа другую, как мысль — мысль. Несосязаемый и не имеющий пока имени, равнозначный может быть той силе, что излучается от звезды к звезде и в лунную ночь поднимает сомнамбул, этот неведомый флюид, мировая материя, способен, будучи передан от человека к человеку, создать поворот в душевных и телесных болезнях и восстановить таким способом ту высшую гармонию, которую мы называем здоровьем. Где источник

¹ Философский словарь.

этой изначальной силы, каково ее истинное имя, ее подлинная сущность, он, Франц Антон Месмер, не может сказать определенно; пока что он, ex analogia,¹ имснует эту действительную материю магнетизмом. Но пусть испытают, — просит он академии, настаивает он перед профессорами, — какое изумительное действие вызывает этот способ при простом поглаживании кончиками пальцев; пусть без всякой предвзятости познакомятся, наконец, со всеми этими болезненными кризисами, загадочными состояниями, прямо-таки волшебными излечениями, которые он производит при расстройстве нервов единственно путем магнетического воздействия (теперь мы говорим: внушения). Но академически-профессорская просвещенность упорно противится тому, чтобы бросить хоть один бесстрастный взгляд на все указанные Месмером и стократно удостоверенные явления. Этот флюид, эта сила симпатической передачи, сущность которой не поддается четкому объяснению (уже это одно подозрительно), не значится в компендиуме всех разгадок, в *dictionnaire philosophique*, а следовательно подобных вещей не должно быть. Явления, на которые указывает Месмер, необъяснимы при помощи голого разума. Следовательно, они не существуют.

Он пришел столетием раньше, чем следовало, Франц Антон Месмер, и он опоздал на два—три столетия. Ранняя эпоха медицины проявила бы участливое внимание к его сторонним опытам, ибо широкая душа средневековья способна была вместить все непостижимое. Она умела еще изумляться чисто по-детски и верить собственному внутреннему потрясенню больше, чем простой видимости. Будучи легковерной, эта эпоха была слишком глубоко проникнута волею к вере, и ее мыслителям, как истовым богословам, так и светским людям, не показалось бы нелепым учение Месмера о том, что между макрокосмом и микрокосмом, между мировою душою и душою индивидуума, между созвездием и человеком существует материально преображенная, трансцендентная связь; и вполне понятным явилось бы его воззрение, что один человек может волшебным образом влиять на другого магиею своей воли и умелым обращением. Без всякого недоверия, с любознательно-

¹ По аналогии.

раскрытым сердцем взглянула бы фаустовски-универсальная мировая наука того времени на опыты Месмера; и в свою очередь, новейшая наука смотрит на большинство психотехнических операций этого первого магнетизера отнюдь не как на фокусничество или чудо. Именно потому, что мы день за днем, едва ли не час за часом узнаем о новых невероятных открытиях и чудесах в области физики и биологии, мы долго и добросовестно колеблемся, прежде чем признать неверным то, что вчера казалось невероятным; и действительно, многие из месмеровских открытий и опытов без труда согласуются с нашим сегодняшним представлением о мире. Кто станет оспаривать нынче, что наши нервы, наши чувства подвержены таинственным и связующим воздействиям, что мы являемся «игралащем любого давления атмосферы», испытывая магнетическое влияние бесчисленных импульсов, внутренних и внешних? Мы, к кому только-что сказанное слово в ту же секунду перелетает через океан, не научаемся разве ежедневно новому тому, что окружающий нас эфир оживлен неосязаемыми колебаниями и жизненными волнами? Нет, нас отнюдь не пугает больше мысль Месмера, когда-то оспаривавшаяся, что от нашего индивидуального существа исходит совершенно своеобразная и определенная личная сила, которая, излучаясь далеко за пределы того или другого пера, способна воздействовать определенным образом на чужую волю и чужую личность. Но, роковым образом, Месмер явился слишком рано или слишком поздно: как раз та эпоха, в которую он имел несчастье родиться, не обладала органом для смутно-благоговейных чаяний. Никаких камер обскур в делах психики: прежде всего порядок в незатененный свет! И именно там, где начинается таинственная игра сумеречного света, при переходах от сознательного к бессознательному, холодный дневной взор рационалистической науки оказывается вконец слепым. И так как она не признает за душою индивидуальной созидательной силы, то и ее медицина видит в часовом механизме *homo sapiens*¹ только повреждение органов, больное тело, но ни в коем случае не потрясение душевное. Неудивительно поэтому, что при душевных расстройках она не знает

¹ Разумный человек (лат.)

ничего другого, как только дирижёрничью премудрость: слабительное, кровопускание, холодную воду. Помешанных привязывают к колесу и вертят до тех пор, пока пена не пойдет у них изо рта, или колотят до бесчувствия. Эпилептиков накачивают всякими снадобьями, все нервные состояния объявляют просто несуществующими, потому что не умеют к ним подойти. И когда этот отщепенец Месмер впервые начинает помогать при таких заболеваниях посредством своего магнетического, кажущегося магическим воздействия, возмущенный факультет отворачивает глаза и утверждает, что налицо только фокусничество и обман.

В этой отчаянной авангардной схватке за новую психотерапию Месмер совершенно одинок. Его ученики, помощники еще на полстолетия, на целое столетие от него отстали. И одиночество трагически усугубляется: у этого борца нет даже такого панциря, как полная уверенность в себе. Ибо Месмер чувствует только верное направление, дороги он еще не нашел. Он чувствует, что стоит на верном пути, чувствует, что случайно оказался в жгучей близости от тайны, великой и плодотворной тайны, и знает все же, что один не способен разрешить ее и раскрыть до конца. И потрясаяще, поэтому, как человек, которого легкомысленная молва целое столетие чернила как шарлатана, просит содействия и помощи именно у врачей, своих товарищей; подобно тому, как Колумб, перед своим отплытием, блуждает от одного королевского двора к другому, со своим планом морского пути в Индию, так и Месмер обращается то к одной, то к другой академии и просит интереса и содействия своей идее. И у него, как у его великого собрата, в начале его пути ошибка, ибо, всецело в обаянии средневековой мечты о таинственном составе, Месмер полагает, что своей магнетической теорией он открыл всеисцеляющее средство, эту вечную Индию старинного врачебного искусства. В действительности, он давно уже, сам того не сознавая, открыл гораздо больше, чем новую дорогу; он, как Колумб, обрел целый материк науки, с бесчисленными архипелагами и далеко еще не исследованными странами — психотерапию. Ибо все эти, только теперь раскрывшиеся страны новой психиатрии — гипноз и внушение, Christian Science и психоанализ, даже спиритизм и телепатия расположены на том новом конти-

ненте, который открыл этот трагический одиночка, сам не зная того, что вступал на другую, чуждую медицине часть земного шара. Другие возделали его области и собрали жатву там, где он бросил в борозды семена, другие вкусили славу, в то время как его имя предается наукою позорному забвению, вместе с именами всяческих еретиков и пустословов. Его современники возбудили против него судебное дело и вынесли ему обвинительный приговор. Пришло время посчитаться с его судьями.

ЗАРИСОВКА

В 1773 году Леопольд Моцарт - отец сообщает своей жене в Зальцбург: «С последнею почтою я не писал, потому что у нас был большой концерт у друга нашего Месмера, на Загородной улице, в саду. Месмер очень хорошо играет на гармонике мисс Дэвис, он в Вене единственный учился этому, и у него гораздо лучший стеклянный инструмент, чем был у самой мисс Дэвис. Вольфганг тоже играл на нем». Как видно, они добрые друзья, венский врач, зальцбургский музыкант и его знаменитый сын. Уже несколько лет перед тем, когда недоброй памяти директор придворной оперы Афлиджно (кончивший потом галерами), несмотря на императорский приказ, не захотел поставить первую оперу четырнадцатилетнего Вольфганга Амедея «La finta semplice»,¹ в дело вмешивается, с большею чем у императора и двора смелостью, музыкальный меценат Франц Антон Месмер и предоставляет свой небольшой загородный театр для исполнения немецкой музыкальной пьесы «Бастьен и Бастьенна», стяжав себе, таким образом, наряду со славою в другой области, непроходящую в истории заслугу — быть крестным отцом первого оперного произведения Вольфганга Амедея Моцарта. Этой дружбы маленький Вольфганг не забывает: во всех письмах говорит он о Месмере, всего охотнее проводит время в гостях у своего «милого Месмера». И когда в 1781 году он переезжает на постоянное жительство в Вену, он в почтовой карете прямо от заставы направляется в близкий ему дом. «Пишу это в месмеровском саду, на Загородной улице», так начинается его первое письмо к отцу от 17 марта 1781 года. И в «Cosi fan tutte»² он впоследствии создал своему ученому другу известный юморстический памятник. Еще звучит, и надо

¹ «Простая уловка».

² «Так все делают».

думать, и в столетиях будет сопровождать стихи о Франце Антоне Месмере бойкий речитатив:

Вот и магнит вам, —
Он все докажет.
Владел им Месмер, тот,
Который родом был
Из стран немецких
И знаменит стал
Во Франции.

Но этот удивительный доктор, Франц Антон Месмер не только ученый человек и любитель искусства, благожелательный к людям, он и богатый человек. Немногие из венских горожан обладали в то время таким удивительно красивым, приветливым и открытым домом, как его дом на Загородной улице 261, — поистине небольшой Версаль на берегу Дуная. В большом, просторном, чуть что не княжеском парке гостей приводит в восторг всевозможные затеи в стиле Рококо, небольшие боскеты, тенистые аллеи с античными статуями, птичник, голубятня, тот самый изысканный (к сожалению, давно исчезнувший) садовый театр, где состоялась премьера «Бастьена и Бастьены», круглый мраморный бассейн, которому суждено в дальнейшем, при магнетических сеансах, быть свидетелем замечательнейших сцен, и на небольшом пригорке галерея, с которой открывается, далеко за Дунаем, вид на Пратер. Неудивительно, что говорливое и охочее до удовольствий венское общество охотно собирается в этом прекрасном доме, ибо доктор Франц Антон Месмер считается в числе самых уважаемых граждан, с тех пор как он женился на вдове гофкаммеррата вац Буш, с капиталом больше чем в тридцать тысяч гульденов. Стол его, как рассказывает Моцарт, ежедневно накрыт для всех его друзей и знакомых, у этого высокообразованного и приветливого человека можно великолепно поесть и выпить, да и в духовных наслаждениях недостатка нет. Здесь услышишь, задолго до напечатания и в большинстве случаев в исполнении самого композитора, новейшие квартеты, арии и сонаты Гайдна, Моцарта и Глюка, близких друзей дома, а также и последние новинки Пиччини и Ригини. А тот, кто предпочитает поговорить на серьезные темы, вместо того чтобы слушать музыку, тот найдет, в лице хозяина, универсально-

образованного собеседника в любой области. Ибо этот мнимый «шарлатан», Франц Антон Месмер имеет вес даже среди ученых. Уже в то время, когда он, сын епископского егеря, родившийся 23 мая 1734 г. в Ицнанге на Боденском озере, перебрался для дальнейшего образования в Вену, он — действительный студент теологии города Ингольштадта и доктор философии. Но этого далеко недостаточно беспокойной натуре Месмера. Как блаженной памяти д-р Фауст, он хочет владеть наукою во всех ее областях. И вот он изучает сначала в Вене право, чтобы обратиться, наконец, окончательно к четвертому факультету, к медицине. 27 мая 1766 г. Франц Антон Месмер, уж и без того доктор двух наук, торжественным образом удостоивается степени доктора медицины, «*autoritate et consensu illustrissimorum, perillustrium, magnificorum, spectabilium, clarissimorum professorum*»;¹ его докторский диплом собственноручно подписан светилом терезианской науки, высокоославленным профессором и придворным медиком Ван-Свитеном. Но Месмер, ставший богатым человеком в результате женитьбы, отнюдь не намерен сразу же чеканить монету из разрешительной грамоты на врачевание. Он не торопится с врачебной практикою и, в качестве ученого дилетанта, охотнее следит за новейшими открытиями геологии, физики, химии и математики, за успехами абстрактной философии и прежде всего музыки. Он сам играет как на клавире, так и на виолончели, первый вводит стеклянную гармонику, для которой потом Моцарт сочиняет специальный квинтет. Вскоре музыкальные вечера у Месмера начинают считаться в числе излюбленнейших в культурном кружке Вены, и наряду с небольшим концертным залом молодого Ван-Свитена у Глубокого Рва, где каждое воскресенье появляются Гайдн, Моцарт и в дальнейшем Бетховен, дом на Загородной улице 261 считается одним из самых изысканных уголков искусства и науки.

Нет, этот многократно оклеветанный человек, которого впоследствии яростно чернили как отщепенца медицины и невежественного знахаря, этот Франц Антон Месмер не первый встречный, это чувствует каждый при знаком-

¹ «Властью и постановлением славнейших, сверхславных, великодушных, высокопочитаемых и знаменитейших профессоров».

стве с ним. Уже с внешней стороны бросается в любом обществе в глаза этот хорошо сложенный широколобый мужчина, благодаря высокому росту и внушительной осанке. Когда он со своим другом Кристофом Виллибальдом Глюком появляется в одном из салонов Парижа, все взоры с любопытством обращаются к этим двум немцам, сынам Энака, возвышающимся на целую голову над остальными. К сожалению, немногие сохранившиеся изображения недостаточно полно воспроизводят характер его лица; видно все же, что оно гармонично и красиво очерчено, что губы полные, подбородок округлый и плотный и лоб сформирован великолепно поверх ясных, светлостальных глаз; благотворная уверенность излучается от этого могучего мужчины, которому, при его нестоимом здоровье, суждено дожить до преклонного возраста. По этому ошибочнее всего представлять себе этого великого магнетизера чародеем, демоническим явлением, со вспыхивающими взорами, с адскими молниями в глазах, чем-либо вроде Свенгали или доктора Спаланцани; наоборот, отличительною его чертою, по свидетельству всех современников, является предельное, непоколебимое терпение. Не столько пылкий, сколько полнокровный, упорный в большей степени, чем легко воспламеняющийся, вдумчиво наблюдает этот крепкий шваб окружающие явления; и подобно тому как проходит он через комнату, широко расставив ноги, грузно и увесисто, твердым и размеренным шагом, так и в своих исследованиях идет он медленно и уверенно от одного наблюдения к другому, медленно, но непоколебимо. Он мыслит не ослепительными, блистающими вспышками, но осторожными, в дальнейшем неопровержимыми положениями, и никакое противоречие, никакое огорчение не потревожат его покоя. В этом спокойствии, в этой твердости, в этом великом и упорном терпении и заключается собственно гений Месмера. И только его необычной, исполненной скромности выдержкой, его обходительной, чуждою честолюбия манерою объясняется тот исторический курьез, что человек, пользующийся в Вене одновременно и весом и богатством, имеет только друзей и ни одного врага. Повсеместно превозносят его познания, его непритязательный, симпатичный характер, щедрую руку и щедрый ум: «Son âme est comme sa découverte simple,

bienfaisante et sublime». ¹ Даже его коллеги, венские врачи, ценят Франца Антона Месмера как превосходного медика, — правда, лишь до того момента, когда он, набравшись смелости, пойдет собственным путем и без одобрения факультета сделает открытие мирового значения. Тогда всеобщим симпатиям наступит внезапно конец и начнется борьба на жизнь и смерть.

¹ «Его душа, как и открытие его, проста, благотворна и возвышенна».

ВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯ ИСКРА

Летом 1774 года некий знатный иностранец проезжает с женой через Вену; жена, внезапно заболевшая резями в желудке, обращается к известному астроному, иезуитскому патеру Максимилиану Геллю, с просьбою изготовить ей для лечения магнит в удобном для пользования виде, который она могла бы положить себе на живот. Ибо то обстоятельство, что магниту присуща особая целобная сила, — несколько странное для нас предположение, — считалось в магической и симпатической медицине прежней поры делом бесспорным. Уже древность проявляла постоянный интерес к своеобразной повадке магнита — Парацельс именует его впоследствии «монархом всяческих тайн», — ибо этот отщепенец среди неорганической природы проявляет совершенно особое свойство. В то время как свинец и медь, серебро, золото, олово и обыкновенное, как бы неодушевленное железо, не имея собственного бытия, подчиняются силе тяготения, этот один и единственный элемент обнаруживает некую одушевленность, какую-то самостоятельную активность. Магнит властно притягивает к себе другое, мертвое железо, он, как единственный субъект среди сплошного окружения объектов, способен выражать нечто вроде личной воли, и его властная повадка невольно вызывает предположение, что он подчиняется иному, не земным — может быть, астральным — законам мироздания. Водитель кораблей и наставник утерявших дорогу, он, будучи насажен на острие, безошибочно обращает свой железный перст к полюсу; и кажется, действительно, что в пределах земного мира он сохранил воспоминание о своем метеорическом происхождении. Такого рода бросающиеся в глаза особенности одного единственного металла должны были, естественно, оказать свое магическое воздействие прежде всего на классическую

натурфилософию. И так как ум человеческий неизменно склонен мыслить аналогиями, то врачи средневековья приписывают магниту симпатическую силу. Целое столетие занимаются они испытаниями, — не может ли он притягивать к себе, наподобие железных опилок, также и болезни из человеческого тела. А там, где область темного, туда тотчас же с любопытством, проникает со светящимся своим, совиным взором пытливый ум Парацельса. Его шаткопарящая фантазия, порой обманчивая, а порой гениальная, без всяких колебаний превращает смутное чалние предшественников в патетическую уверенность. Его легко воспламеняющемуся уму представляется сразу же бесспорным, что наряду с «амброидальной», действующей в лнтаре силою (то есть с неполучившим еще никаких прав гражданства электричеством) сила магнетизма свидетельствует о наличии в земле, в «адамовой материи» особой, астральной, связанной со звездами субстанции, и он сразу же зачисляет магнит в список неогрешимых целебных средств. «Я утверждаю ясно и открыто, на основании произведенных мною опытов с магнитом, что в нем сокрыта тайна высокая, без которой против множества болезней ничего сделать невозможно». И в другом месте он пишет: «Магнит долго был у всех на глазах, и никто не подумал о том, нельзя ли сделать из него дальнейшего упогребления и не обладает ли он и другой силою, кроме притяжения железа. Вшивые доктора часто тычут мне в нос, что я не следую за древними; а в чем мне им следовать? Все, что они наговорили о магните, — ничто. Положите на весы то, что я о нем сказал, и судите. Если бы я слепо следовал за другими и сам не ставил опытов, то я знал бы только то, что знает каждый мужик, — что он притягивает железо. Но человек мудрый сам должен испытывать, и вот я открыл, что магнит, кроме явной, каждому в глаза бросающейся силы — притягивать железо, — обладает и другой, скрытой силою». И насчет того, как применять магнит для лечения, дает Парацельс, с обычной для него решительностью, точные указания. Он утверждает, что у магнита есть брюхо (полюс притяжения) и спина (полюс отталкивания), так что, будучи правильно налажен, он может пропустить свою силу через все тело; и этот способ обращения с магнитом, который, действительно, является

догадкой о характере далеко еще не открытого электрического тока, стоит, по словам этого вечного задиры, «большего, чем все, чему учили галенисты всю свою жизнь. Если бы вместо того, чтобы похвалиться, они взяли в руки магнит, они сделали бы больше, чем всей своей ученой болтовней. Он излечивает истечения из глаз, ушей, носа и из наружных покровов. Тем же способом излечиваются раскрытые раны на бедрах, фистулы, рак, истечения крови у женщин. Кроме того магнит оттягивает грыжу и исцеляет переломы, он вытягивает желтуху, оттягивает водянку, как я неоднократно убедился на практике; но нет нужды разжевывать все это невеждам». Наша современная медицина не слишком серьезно отнесется, конечно, к этим ошеломляющим сообщениям; но что сказал однажды Парацельс, является для его школы и два столетия спустя откровением и законом. И вот ученики его, наряду со множеством других зелий из парацельсовской волшебной кухни, почтительно растят и делят его учение о целебной силе магнита. Его ученик Гельмонт, а после него Коклениус, опубликовавший в 1608 г. целый учебник «Tractatus de magnetica cura vulnerum»,¹ страстно отстаивают, опираясь на авторитет Парацельса, органическую силу целения магнитом; таким образом, наряду с официальной медициной, пробивают себе дорогу во времени, в качестве подземного течения, и магнетические методы лечения. Кем-либо из этих безымянных пролагателей особых путей, каким-либо из забытых приверженцев симпатического лечения и был, вероятно, предложен путешественнице-иностранке тот магнит.

Иезуит Гелль, к которому обратился проезжий пациент, астроном, а не врач. Ему неважно, оказывает ли магнит целебное действие при резах в желудке, или нет, его дело изготовить только магнит соответствующей формы. Этот свой долг он и выполняет. И в то же время он сообщает своему другу, ученому доктору Месмеру, о своеобразном случае. И вот Месмер, *semper novarum rerum cupidus*², всегда готовый познать и испытать новые методы в науке, просит друга держать его в курсе результатов лечения.

¹ «Трактат о магнетическом лечении ран».

² Всегда падкий до нового.

Едва услышав, что рези в желудке больной совершенно прекратились, делает он пациентке визит и изумляется быстрому облегчению, которое произошло после наложения магнита. Метод его заинтересовывает. Тотчас же он решает испробовать его в свою очередь. Он поручает Геллю изготовить для себя несколько магнитов подобной же формы и делает ряд опытов с другими пациентами, накладывая подковообразный, намагниченный кусок железа то на шею, то на сердце, но всякий раз на большую часть тела. И странное дело, в некоторых случаях он, к собственному своему изумлению, достигает успеха в лечении, совершенно неожиданного, никогда не чаянного, в особенности у некоей девицы Эстерлин, вылеченной им таким образом от судорог, и у профессора математики Бауэра.

Бесхитрый лекарь тут же широко распялил бы глотку и начал хвалиться, что нашел новый талисман здоровья, магнит. Дело кажется таким ясным, таким простым, следует только при судорогах и эпилептических припадках во-время наложить больному на тело волшебную подкову, не спрашивая как и почему, — и чудо исцеления совершилось. Но Франц Антон Месмер врач, человек науки, сын новой эпохи, мыслящей в причинной связи. Его не удовлетворяет установленное на глаз положение, что магнит в целом ряде случаев помог его пациентам почти волшебным образом; в качестве серьезного, мыслящего врача он, именно потому, что не верит в чудеса, желает объяснить себе и другим, почему этот таинственный минерал совершает такие чудеса. После его опыта у него в руках только одна посылка для разгадки: многократный целебный эффект магнита; для логического заключения ему необходимы и другие звенья — причинное обоснование. Лишь в таком случае новая проблема будет не только поставлена перед наукой, но и разрешена.

И удивительное дело: чертовское счастье дает, кажется, в руки ему — и именно ему — другой конец цепи. Ибо именно этот Франц Антон Месмер достиг, почти десять лет тому назад, в 1766 году, докторской степени при помощи весьма замечательной, мистически окрашенной диссертации, под названием «*De planetarum influxu*»,¹ в которой он,

¹ «О влиянии планет».

под влиянием средневековой астрологии, допускает воздействие созвездий на человека и выставляет тезис, что некая таинственная сила, изливаясь через далекие небесные пространства, действует на каждую материю изнутри, что некий изначальный эфир, таинственный флюид, пронизывает всю вселенную, а с нею и человека. Этот изначальный флюид, эту конечную субстанцию осторожный studiosus обозначил тогда в высшей степени неопределенным термином «gravitas universalis», силою общего тяготения. Эту свою юношескую гипотезу достигший зрелости мужчина давно уже, вероятно, позабыл. Но теперь, когда Месмер видит, что при случайном лечении достигнуто столь необъяснимое действие стального магнита, который, в качестве метеорита, также ведет происхождение от звезд, оба эти начала, эмпирическое и гипотетическое — излечившаяся наложением магнита пацпентка и тезис докторской диссертации — смыкаются в одну, целостную теорию; теперь Месмер верит, что его философское допущение непременно подтверждено явным целебным воздействием, и полагает, что нашел для неопределенной «gravitas universalis» правильное наименование: магнетическая сила, притяжению которой человек так же послушен, как звезды вселенной. Значит, магнетизм, — так думает он, в преждевременной радости изобретателя, — это «gravitas universalis», тот самый «невидимый огонь» Гиппократата, тот «spiritus purus, ignis subtilissimus»,¹ который как вселенский творческий ток пронизывает и мировой эфир и клеточку человеческого тела! В его случайном опьянении ему кажется, что предмет длительных поисков, мост, соединяющий звездные миры с человечеством, найден. И он испытывает чувство горделивого возбуждения: кто перейдет этот мост, тот вступит в страну неведомого.

Искра дала вспышку. В результате случайного соприкосновения опыта и теории получился у Месмера взрыв мысли. Но первый разряд происходит совершенно не в том направлении. Ибо Месмер, в своем преждевременном воодушевлении, считает, что вместе с магнитом нашел, без всяких околичностей, и универсальное целительное средство, философский камень; ошибка, явно неправиль-

¹ «Чистый дух, тончайшее пламя».

ное заключение оказывается в начале его пути и толкает его дальше. Но это ошибка творческая. И так как Месмер не устремляется за ней слепо, но продвигается, сообразно со своим характером, шаг за шагом, не спеша, то, несмотря на необходимость обходов, он движется вперед. Ему суждены еще пути крутые и обманные. Но в то время как другие топчутся, тяжело и неповоротливо, по проторенным дорогам старых методов, этот одиночка пробирается все же в потемках вперед и медленно нащупывает путь от ребяческих средневековых представлений к умственному кругозору современности.

ПЕРВЫЕ ОПЫТЫ

Отныне Франц Антон Месмер, до сих пор простой врач и любитель изящной науки, владеет одной, единой жизненной мыслью, или, скорее, мысль владеет им. Ибо до последнего издыхания суждено ему, в качестве непреклонного исследователя, размышлять об этом *regretium mobile*, об этой движущей силе вселенной. Всю свою жизнь, свое состояние, свою репутацию, свой досуг отдает он своей основной идее. В этом упорстве, в этом непреклонном и все же пылком самоограничении — величие и трагедия Месмера, ибо то, чего он ищет, магического вселенского флюида, он никогда не в состоянии обрести в ясно доказуемой форме. А то, что он нашел, новую психотехнику, этого он вовсе не искал и за всю свою жизнь не осознал. Таким образом в удел ему достается судьба, до отчаяния сходная с судьбой его современника, алхимика Бетгера, который, в плену своей мысли, хотел изготовить химическое золото и при этом открыл случайно в тысячу раз более важный фарфор; и в том и в другом случае основная мысль дает только существенный психический толчок, а открытие совершается как бы само собою в процессе лихорадочно продолжаемых опытов.

Вначале у Месмера только философская идея о мировом флюиде. И магнит. Но радиус воздействия магнита относительно невелик, это видит Месмер уже при первых своих опытах. Его притягательная сила распространяется лишь на несколько дюймов, и все-таки таинственное предчувствие Месмера не обманывается; он верит, что в нем таится значительно большая, как бы скрытая мощь, которую можно вызвать наружу искусственно и повысить путем правильного применения. Он приступает к серьезнейшим ухищрениям. Вместо того чтобы наложить на больное место одну лишь подкову, как тот англичанин,

он пристраивает своим больным по два магнита, один сверху, с левой стороны, другой снизу, с правой, чтобы таинственный флюид прошел, в замкнутой цепи, непрерывным, через все тело и восстановил, приливая и отливая, нарушенную гармонию. Чтобы усилить собственное свое благотворное влияние, он на шее у себя сам носит магнит, зашитый в кожаный мешочек, и, не довольствуясь этим, передает свой источающий силу флюид всевозможным другим предметам. Он магнетизирует воду, заставляет больных купаться в ней и пить ее, он магнетизирует путем натирания фарфоровые чашки и тарелки, одежду и кровати, магнетизирует зеркала, чтобы они потом отражали флюид, магнетизирует музыкальные инструменты, чтобы и в колебаниях воздуха передавалась дальше целительная сила. Все фанатичнее проникается он идеей, что можно (как в дальнейшем с электричеством) передавать магнетическую энергию путем проводки, нагнетать в бутылки, собирать в аккумуляторы. И вот он конструирует в конце концов печальной известности «ушат здоровья», многократно высмеянный «baquet»,¹ большой, прикрытый сверху деревянный чан, в котором два ряда бутылок, наполненных магнетизированной водой, сходятся к стальной штанге, от которой можно подвести к больному месту отдельные подвижные провода. Вокруг этой магнетической батареи устраиваются больные, истово касаясь друг друга кончиками пальцев, замкнутою цепью, потому что Месмер на основании опыта утверждает, что, пропуская ток через несколько человеческих организмов, он его опять-таки усиливает. Но и эксперименты с людьми не удовлетворяют его, — вскоре кошки и собаки должны уверовать в его систему; наконец, магнетизируются даже деревья в месмеровском парке и тот водный бассейн, в трепещущее зеркало которого пациенты благоговейно погружают свои обнаженные ноги, с руками, привязанными посредством капатов к деревьям, в то время как сам руководитель играет на стеклянной гармонике, тоже намагниченной, чтобы при помощи ее нежных и упругих ритмов сделать нервы больных более доступными проникновению универсального бальзама.

Чесуха, шарлатанство, ребячество, — так реагирует совре-

¹ Кадка.

менное чувство, с оттенком разочарования или сожаления, на эти нелепые выходки; тут, действительно, вспомнишь о Каллиостро и других целителях - чародеях. Первые опыты Месмера застревают — к чему излишняя деликатность? — беспомощно и жалостно в жестких и сорных зарослях средневековья. Нам, потомкам, кажется, конечно, пустым фарсом — переносить силу магнетизма на деревья, воду, зеркала и музыкальные инструменты путем простого натирания и добиваться при этом целительного действия. Но, чтобы быть справедливым, представим себе уровень физических знаний в ту эпоху. Три новых силы возбуждают любопытство тогдашней науки, три силы, из которых каждая еще в поре младенчества и каждая — Геркулес в колыбели. Благодаря котлу Шапина, благодаря новым машинам Уатта можно было иметь первое представление о движущей силе пара, об огромном запасе энергии атмосферного воздуха, который прежним поколениям казался какой-то пассивной пустотой, каким-то неосвязаемым, бесцветным мировым газом. Еще десятилетие, и первый воздушный корабль поднимет человека над землей; еще четверть века, и паровое судно впервые победит другую, водную стихию. Но в то время огромная энергия сжатого или выкаченного воздуха доступна разумению только в порядке лабораторных опытов, и столь же скромно и робко заявляет о себе электричество, этот ифрит, тогда еще замкнутый в ничтожной лейденской банке. Ибо что считается в 1775 году электрическим явлением? Вольта еще не произвел своего решающего наблюдения; только от маленьких, игрушечных батарей можно получить несколько ни на что ненужных голубых искр и слабый толчок в сустав пальца. Это все, что знает месмеровская эпоха о творческой силе электричества, — не более и не менее, чем о магнетизме. Но должно быть уж в то время смутное предчувствие настойчиво подсказывало человеческой душе, что грядущее, посредством одной из этих сил, может быть посредством сжатого пара, может быть при помощи электрической или магнетической батареи, изменит формы мира и обеспечит двуногим млекопитающим на миллионы лет господство над землей, — предчувствие тех, доньше еще не учтенных масс энергии, которые, будучи скованы рукою человека, наводят наши города светом, бороздят небо и передают звук от экватора

к полюсу в бесконечно малую долю секунды. Гигантская сила заключена, в зародыше, в крохотных пачинаниях того времени; это уже тогда чувствует мир, чувствует Месмер; только он, по несчастью своему, подобно принцу в «Венецианском купце», выбирает из трех шкатулок не ту, которую нужно, и приковывает внимание насторожившейся в ожидании взрыва эпохи к слабейшему элементу, к магниту, — ошибка, бесспорно, но ошибка, понятная по тому времени, человечески понятная.

Итак, поразительны не первые приемы Месмера, не намагничивание зеркала или бассейна, — поразительно для нас в его опытах то невообразимое целебное воздействие, которое производит один человек при помощи ничего не стоящего магнита. Но даже эти, на первый взгляд чудесные исцеления оказываются, при психологически правильной их оценке, вовсе не столь уж чудесными; с большей долей вероятности и даже с уверенностью можно сказать, что от начала всякого врачевания страдающее человечество исцелялось благодаря внушению гораздо чаще, чем мы предполагаем и чем склонна допускать врачебная наука. Мировая история доказывает, что не было еще столь бессмысленного медицинского метода, который бы на некоторое время не принес больному облегчения, благодаря наличию веры в этот метод. Наши деды и наши предки излечивались средствами, над которыми современная медицина сострадательно посмеивается, та самая медицина, методы которой наука предстоящих пятидесяти лет в свою очередь объявит с такою же улыбкою недействительными и может быть даже опасными. Ибо там, где свершается неожиданное исцеление, внушению принадлежит огромная, трудно воображаемая роль. От заговоров древности до териака и мышинного помета средневековья и до радиового жезла какого-нибудь Цейлейса все методы лечения обязаны во всякую эпоху громадной долей своего воздействия воле к здоровью, пробудившейся у больного, и притом в такой степени, что атрибут этой веры — магнит, гематит или вспрыскивания — при многих заболеваниях почти безразличен по сравнению с силою, направленною со стороны больного на этот атрибут. Неудивительно поэтому, но, наоборот, совершенно логично и естественно, что именно открытый в последнюю очередь

метод дает самый неожиданный успех, так как ему, как еще неизвестному, обеспечен максимум благотворно-содействующей ему надежды со стороны человека; так было и с Месмером. Едва лишь получило огласку целебное действие его магнитов в отдельных, особых случаях, как молва о всемогуществе Месмера распространилась через Вену на всю страну. Из ближних и из дальних краев спешат наломники к дунайскому магу, каждый хочет испытать прикосновение чудодейственного магнита. Выдающиеся сановники призывают венского врача в свои замки, в газетах появляются сообщения о новом методе; спорят, оспаривают, возносят до небес и поносят искусство Месмера. Но главное: каждый хочет его испытать или узнать о нем. Ломота, подергиванье, шум в ушах, параличи, рези в желудке, расстройство менструаций, бессонница, боли в печени — сотни болезней, до сих пор не поддававшихся никакому воздействию, излечиваются его магнитом; чудо за чудом происходит в доме, до сих пор предназначавшемся лишь для уюта и увеселений, на Загородной улице, 261. Не прошло и года с той поры, как путешественник-иностранец привлек внимание Месмера к волшебному средству, а слава дотоле безвестного врача настолько вышла за пределы Австрии, что доктора из Гамбурга, из Женева, из самых противоположных городов просят его пояснить им способ применения его столь действительного, по слухам, магнетического курса, чтобы они могли продолжать его опыты и, со своей стороны, добросовестно проверить. И — крупный соблазн для месмеровского самолюбия! — оба доктора, которым венский врач доверился в письмах, д-р Ундер из Альтоны и д-р Харзу из Женева, полностью подтверждают замечательное целебное действие, которого они достигли по методу Месмера с помощью магнита, и оба по своей инициативе печатают восторженные статьи о месмеровских методах. Благодаря таким убежденным положительным отзывам, Месмер находит все больше и больше последователей; в конце концов курфюрст призывает его даже в Баварию. Но что объявилось столь разительно в Вене, подтверждается столь же блистательно в Мюнхене. Так, наложение магнита при параличе и слабости зрения академического советника Остервальда имело такой шумный успех, что академический советник печатает в Аугс-

бурге, в 1776 году, сообщение о своем исцелении при посредстве Месмера: «Все, что он совершил здесь при различных болезнях, дает основание предполагать, что он подсмотрел у природы один из ее самых таинственных движущих моментов». Клинически точно описывает выздоровевший то отчаянное положение, в котором нашел его Месмер, и как магнетическое лечение разом избавило его, волшебным образом, от застарелого страдания, не поддававшегося доселе никакой врачебной помощи. И чтобы заранее отразить всякое возможное возражение со стороны врачей, рассудительный академический советник пишет: «Если кто скажет, что история с моими глазами одно воображение, то я этим удовольствуюсь и ни от одного врача в мире не потребую большего, чем сделать так, чтобы я воображал себя совершенно здоровым». Под впечатлением этого неоспоримого успеха Месмер впервые (и в последний раз) получает признание. 28 ноября 1775 года Баварская Академия торжественно избирает его своим членом, «ибо она убеждена, что труды столь выдающегося человека, увековечившего свою славу особыми и неоспоримыми свидетельствами своей неожиданной и плодотворной учености и своими открытиями, много будут содействовать ее блеску». В течение одного года одержана полная победа, Месмер может быть доволен: академия, десятки врачей и сотни излечившихся и восторженно благодарных пациентов свидетельствуют неопровержимо о целебной силе магнита. Но удивительно — в тот самый миг, когда ряд свидетелей, без всякого постороннего влияния, отдает Месмеру должное, сам он себя осуждает. В течение этого года он нашел уж печальную ошибку в расчете, а именно, что не магнит действует в его руках, а действуют сами руки, что, следовательно, его поразительное влияние на людей исходит не от мертвого минерала, которым он манипулирует, но от него, живого человека, что вовсе не магнит был чудодейственным источником здоровья, а сам магнетизер. После такого признания проблема получила неожиданно новое направление: еще один толчок, и могла быть познана действительная, персональная причинность. Однако, духовная напряженность Месмера недостаточно велика, чтобы опередить целое столетие. Только шаг за шагом продвигается он по неверным и обходным путям. Но вот:

отбросив в сторону, честно и решительно, свой волшебный минерал, магнит, он высвобождается одновременно из магической пентаграммы средневекового хлама; достигнута та точка, где идея его становится для нас понятной и плодотворной.

ДОМЫСЛЫ И ПОСТИЖЕНИЯ

Когда именно Месмер решаетея на этот исторический поворот в методах своего лечения, нельзя установить с точностью. Но уже в 1776 году его благодарный пациент Остервальд пишет из Баварии, что «д-р Месмер выполняет теперь большую часть своих сеансов без великих искусственных магнитов, простым прикосновением к больным органам, частью непосредственным, частью через посредство каких-либо предметов». Значит, не прошло даже целого года, и Месмер заметил, что магнит совершенно неужен при так называемых магнетических сеансах, потому что, когда он проводит просто рукою вдоль нервных путей, от одного полюса к другому, больной чувствует то же самое возбуждение или облегчение; Месмеру стоит только дотрогнуться до своих пациентов, и нервы их уже напрягаются и готовы вздрагивать, уже происходят, без всякого прибора или медикамента, изменения в характере болезни организма, сперва в форме возбуждения, затем — успокоения. Итак, нет места сомнениям; от его рук исходит нечто неведомое, нечто гораздо более таинственное, чем магнит, что необъяснимо ни по Парацельсу, ни по данным старинной и современной медицины. И изобретатель стоит в изумлении перед своим открытием: вместо магнетического метода он открыл какой-то другой.

Теперь Месмеру следовало бы сказать честным образом: «Я ошибся, магнит не имеет никакого значения, вся та сила, которую я ему приписывал, принадлежит не ему, и то целебное воздействие, которого я, к собственному моему изумлению, достигаю ежедневно, основано на причинах, мне самому непонятных». И, конечно, ему следовало тотчас же перестать называть свои сеансы магнетическими и забросить всю затейливую аппаратуру намагниченных бутылок, заряженных «ушатов здоровья» и заколдованных чашек и деревьев, как совершенно ненужное фокусничество. Но как мало таких людей в политике, в науке,

в искусстве, в философии, даже из числа самых смелых, которые способны мужественно и определенно признаться, что вчерашнее их воззрение было ошибкой и нелепостью! Так и Месмер. Вместо того, чтобы решительно отказаться от несостоятельной теории о целебной силе магнита, он предпринимает сложное отступление; он начинает двусмысленно оперировать с понятием «магнетический», поясняя, что магнит как минерал действительно не помогает, но что сила, действующая при его сеансах, тоже магнетизм, «жизненный» магнетизм, в живом человеческом организме аналогичный таинственной силе мертвого металла. Он делает весьма пространные и смутные попытки представить дело так, что, в конце концов, в его системе ничего по существу не изменилось. Но в действительности это наново надуманное понятие «жизненный» магнетизм (обычно переводимое, крайне неудачно, «животный» магнетизм) означает нечто до крайности далекое от проповедывавшейся до сих пор металлотерапии, и начиная с этого мгновения нужно быть чрезвычайно внимательным, чтобы не дать ввести себя в заблуждение через посредство сознательно созданной идентичности термина. С 1776 года магнетизировать отнюдь не значит у Месмера касаться магнитом или воздействовать им, но единственно и только — предоставлять таинственной человеческой силе, истекающей из нервов на концах пальцев («жизненная» сила), действовать на других людей. И если поныне лица, практикующие этот симпатический метод поглаживания, все еще именуют себя магнитопатами, то они пользуются этим словом совершенно неправильно, ибо вероятно ни у одного из них в доме вообще нет магнита. Весь их метод основан исключительно на личном воздействии, являясь терапией внушения или флюидальной терапией.

Таким образом, через год после первого своего открытия, Месмер благополучным образом преодолевает свою опаснейшую ошибку; но как прекрасна, как кстати была эта ошибка! В то время Месмер полагал еще, что при судорогах или нервных припадках достаточно наложить больному магнит на тело, искусно провести им несколько раз туда - сюда, и больной здоров. Но теперь, когда эта приятная иллюзия о волшебном действии магнита рушилась, он беспомощно стоит перед волшебной картиной, изо дня

в день достигаемой им с голыми руками. Ибо откуда собственно это чудесное воздействие, получающееся тогда, когда он поглаживает виски своим больным, обвеивает их своим дыханием, когда он при помощи кругообразных движений вдоль мускульной системы вызывает этот таинственный, виззанный нервный трепет, эти неожиданные вздрагивания? Это флюид, «force vitale»,¹ исходящая из его, Франца Антона Месмера, организма; и опять вопрос: исходит ли эта особая сила лишь из его особого организма, или от любого другого человека точно также? Можно ее повысить посредством воли, можно дробить ее и усиливать другими элементами? И как происходит эта передача силы? Психическим путем (анимистическим) или, может быть, как химическое излучение и испарение мельчайших, невидимых частиц? Земная эта сила или божественная, психическая или физическая, или духовная? Идет ли она от звезд, или является тончайшей эссенцией нашей крови, продуктом нашей воли? Тысяча вопросов встает разом перед простым, вовсе не очень уж умным и лишь самозабвенно наблюдательным человеком, тысяча вопросов, для него заведомо неразрешимых, и из которых самый важный вопрос — происходит ли так называемые магнетические исцеления анимистическим или флюидалным путем — до сих пор не получил удовлетворительного разрешения. В какой лабиринт попал он неожиданно, с тех пор как воспроизвел это бессмысленное лечение, сделанное при помощи магнитной подковы над той иностранкой, как далеко завела его эта печальная ошибка! Проходят годы, и он не видит просвета. Лишь одно ясно Месмеру, лишь одно знает он по собственной своей, изумительной практике: лучше, чем всякое химическое средство, может нередко живой человек помочь во многих случаях своим присутствием и своим влиянием на нервную систему. Из всех природных тел действительно всего действует на человека сам человек. Болезнь, по его представлению, есть нарушение гармонии в человеке, опасный перерыв в ритмической смене прилива и отлива. Но в каждом человеке жива глубокозаложенная целебная сила, воля к здоровью, вечный, изначально-жизненный импульс к вытеснению

¹ «Жизненная сила».

всего болезненного; и задача нового магнетического врачевания — повысить эту волю к здоровью (которой механическая медицина, действительно, слишком долго пренебрегала) путем магнетического воздействия (мы говорим: внушения). По вполне правильной, с психологической точки зрения, мысли Месмера, которая находит затем в Christian Science свое крайнее развитие, душевная установка, воля к здоровью способны, действительно, совершать чудеса выздоровления; задачей врача является, поэтому, вызвать чудо к жизни. Магнетизм как бы производит только зарядку истощенных нервов для решающего толчка, он наполняет и укрепляет внутреннюю защитную батарею организма. Но, напоминает Месмер, при попытке поднять жизненную силу человека не следует пугаться, если симптомы болезни, вместо того чтобы сразу же стухнуть, делаются по началу, наоборот, резче, конвульсивнее, ибо задачей всякого правильного магнетического курса и является довести всякую болезнь до крайнего ее обострения, до кризиса и судорог; без труда можно узнать в этой знаменитой «теории кризисов» Месмера давно испытанное экзорцирование дьявола во времена средневековья и изгнание болезней по методу хорошо ему известного патера Гаснера. Сам того не подозревая, Месмер с 1776 года систематически занят сеансами внушения и гипноза; и первоначальная тайна его успеха заключается прежде всего в напряженности его личной мощи, излучающейся особенно сильно и впечатляющей почти магически. Но все же, как мало ни знает Месмер о действенном начале своего метода, уже в те первые годы этому удивительному одиночке удалось установить некоторые истины, открывшие пути для дальнейшего развития. Прежде всего Месмер замечает, что некоторые из его пациентов особенно восприимчивы к магнетизму (мы бы сказали — обладают внушаемостью, медиумичны), а другие совершенно невосприимчивы, что, таким образом, одни люди действуют как источники воли, другие как ее приемники; но если увеличить число участников, то восприимчивость усиливается с помощью массового внушения. Такими своими наблюдениями Месмер дал резкий толчок к дальнейшей дифференциации тогдашней науки о характере; благодаря этому новому освещению, душевный спектр совершенно неожиданно дает иные, более красоч-

ные разложения. Мы видим, что человек, помимо своей воли наткнувшись на огромную проблему, намечает один, без постороннего содействия, множество новых вопросов. Но никто не в состоянии дать ему объяснение феномена, еще доныне собственно не разрешенного, — каким способом отдельным, особо-одаренным, как бы магическим, с медицинской точки зрения, натурам удается простым наложением рук и атмосферическим воздействием своей личности достигать исцелений, о которых ничего не может сказать даже глубочайшая и просвещеннейшая наука.

Но больным нет дела до флюида, они не спрашивают «как» и «почему», они толпами теснятся, неудержимо влекомые молвою о новизне, о необычайности. Вскоре Месмеру приходится устроить в своем доме на Загородной улице собственный магнетический госпиталь; даже из других стран приезжают больные, с тех пор как они услышали о знаменитом исцелении юной девицы Эстерли и прочли восторженные благодарственные отзывы других его пациентов. Время музыки и галантных игр на воздухе миновало теперь в доме 261 на Загородной улице; Месмер, до сих пор практически не пользовавшийся докторским дипломом, с утра до ночи лихорадочно работает на своей новой фабрике здоровья при помощи жезлов, баетов и всяких хитрых приспособлений. Вокруг мраморного бассейна в саду, в котором раньше резвились золотые рыбки, сидят теперь в замкнутом круге одержимые недугами и истово погружают ноги в целебную воду. Всякий день приносит известия о новом триумфе магнетических сеансов, каждый час привлекает новых верующих, ибо молва о чудесных исцелениях просачивается сквозь окна и двери; вскоре весь город только и говорит, что об этом вновь возродившемся Теофрасте Парацельсе. Но среди всяческого успеха один человек сохраняет трезвость—это сам маэстро Месмер. Все еще, несмотря на настояния своих друзей, он не решается окончательно высказаться об этом чудодейственном флюиде; лишь в двадцати семи положениях он смутно намечает первую теорию жизненного магнетизма. Но он упорно не соглашается поучать других, чувствуя, что сам должен изучить сначала тайну своего собственного воздействия.

РОМАН ДЕВИЦЫ ПАРАДИЗ

В той же мере, в какой выигрывает Франц Антон Месмер в известности в Вене, проигрывает он в симпатиях окружающих. Все венское общество, ученые и профессора, любило его, человека о многом осведомленного, не честолюбивого, богатого и притом гостеприимного, обходительного и всегда чуждою высокомерия,—все это до тех пор, пока он забавлялся новыми идеями, как безвредный дилетант. Теперь, когда Месмер серьезно берется за дело и его своеобразные сеансы возбуждают сенсацию, он начинает вдруг чувствовать со стороны своих товарищей по профессии, врачей, какое-то сопротивление, сперва тайное, а затем, понемногу, и открытое. Напрасно приглашает он своих бывших коллег к себе в магнетическую клинику, чтобы доказать им, что он оперирует не знахарскими снадобьями и заговорами, а при помощи обоснованной системы, никто из приглашенных профессоров и докторов не желает серьезно разбираться в этих казусных исцелениях. Весь этот род терапии при помощи кончиков пальцев, без клинического вмешательства, без лекарств или прописанных средств, эти манипуляции с волшебным жезлом и с магнетизированными ушатами не представляются им, понятно, слишком серьезными. Вскоре Месмер начинает чувствовать острый холодок извне. «Присм, оказанный здесь моим первым идеям, поразил меня холодом», пишет он в те дни в Мюнхен. Он честным образом надеялся, что встретит со стороны великих ученых ставшего ему родным города, у прежних своих друзей по науке и музыке, по крайней мере, интерес или критическое участие. Но, когда-то столь общительные, люди науки вовсе не вступают с ним в разговор, они только посмеиваются и глумятся, повсюду он наталкивается на предвзятое отрицание, вселяющее в него горечь. В марте 1776 года он

снова сообщает секретарю Баварской Академии, что его идея «подверглась в Вене, вследствие ее новизны, почти всеобщему гонению», а два месяца спустя жалуется в более сильных выражениях; «Я все еще продолжаю делать физические и медицинские открытия в своей области, но надежда на научное завершение моей системы в настоящее время тем более несостоятельна, что мне приходится непрерывно иметь дело с отвратительными интригами. Здесь объявили меня обманщиком, а всех, кто верит в меня, дураками. Так встречают новую истину».

Неотвратимый рок слишком раннего выступления на мировой арене настиг его: бессмертный консерватизм факультетов чует в нем приближение нового познания и с возмущением на него ополчается. Немедленно начинается в Вене глухое и напряженное брожение, направленное против его магнетических сеансов: во французских и немецких журналах появляются—разумеется, без подписи—корреспонденции из Вены, высмеивающие методы Месмера. Но ненависть вынуждена еще действовать за спиной, ибо безукоризненная личная выдержка Месмера не даст подходящих поводов для открытого нападения. Неудобно именовать шарлатаном, невеждою, несостоятельным знахарем доктора двух факультетов, вот уже десять лет имеющего на своем дипломе подписи таких авторитетов, как Ван-Смитен и Ван-Гасн. В выматывании денег также нельзя попрекнуть его, потому что этот богатый человек лечит большую часть своих пациентов совершенно бесплатно.

И что всего обиднее, не приходится даже его дискредитировать, как бахвала или пустозвона, ибо Месмер ни в малейшей степени не преувеличивает масштаба своего открытия. Он отнюдь не утверждает (как, например, Мери Бекер-Эдди в дальнейшем со своею *Christian Science*), что открыл универсальную терапию, устраивающую нужду во всяком другом медицинском воздействии; он с тщательным самоограничением подчеркивает, что его жизненный магнетизм непосредственно помогает только при нервных болезнях и влиять на последующие физические их проявления может,—во всяком случае, лишь путем посредственным. Этим он как бы вынуждает к терпению втайне накопившееся враждебное чувство своих коллег,

ожидающих случая подставить ножку ненавистному новатору.

Наконец, долгожданный случай представляется. Эпизод с девицей Парадиз даст повод без труда превратить невинный роман в полную значения драму, ибо редко в истории болезней сценическая обстановка была столь эффектна. Марья Терезия Парадиз, высокоталантливая молодая девушка, считается безнадежно ослепшей на четвертом году жизни в силу поражения зрительных нервов; ее выдающаяся способность к игре на клавире приобрела ей в Вене всеобщую известность. Императрица имеет о ней самоличное почтение. Она назначила родителям даровитого ребенка пенсию в двести золотых дукатов и дает ей на свой счет дальнейшее образование; впоследствии девица Парадиз дала много концертов, одни даже в присутствии Моцарта, и множество ее неопубликованных композиций доныне хранится в венской библиотеке. -

И вот эту молодую девушку приводят к Месмеру.

Перед тем ее годами лечили по всем правилам науки, но безрезультатно, первые глазные врачи Вены, известный оператор, профессор Барт и придворный врач Штерк. Но некоторые признаки (конвульсивное вздрагивание глаз, выступающих при этом из орбит, страдание селезенки и печени, вызывающее нечто вроде припадков помешательства) дают основание думать, что слепота девицы Парадиз проистекает не из разрушения зрительного нерва, но лишь из-за расстройства, обусловленного психикой. Делают еще одну попытку и приводят ее к Месмеру, который устанавливает в ней потрясение общей нервной системы и признает, что в силу этого возможность ее исцеления его, Месмера, методами не исключена. Чтобы быть в состоянии в точности следить за успехами магнетического курса, он берет ее к себе в дом, где подвергает магнетическому лечению бесплатно, вместе с другими двумя пациентками.

До этого пункта все заявления современников сходятся в точности. Но отныне полнейшее, зияющее противоречие устанавливается между показаниями Месмера, утверждающего, что он почти полностью вернул ей зрение, и свидетельством профессоров, отвергающих какую бы то ни было претензию на улучшение, как обман и «воображение».

(Это слово «воображение» играет отныне решающую роль при всех исходящих от научных кругов попреках Месмеру.) Конечно, теперь, по прошествии полутора веков, нелегко сделать выбор между двумя утверждениями, столь резко друг другу противоречащими. За врачей говорит то, что к Марии Терезии Парадиз и в дальнейшем никогда уж не вернулось больше зрение; за Месмера, кроме свидетельства общности, та записка, которая составлена отцом молодой девушки и которая кажется мне слишком наглядной, чтобы можно было объявить ее попросту подделкой. Ибо я знаю мало документов, которые бы так исчерпывающе-полно с психологической точки зрения воспроизвели первое восприятие света человеком, постепенно излеченным от слепоты; чтобы измыслить такие тончайшие, основанные на знании человеческой души подробности, потребовался бы лучший поэт и психолог, чем старый гоф-секретарь Парадиз-отец или столь непоэтическая натура, как Месмер.

Записка, в ее существенной части, гласит:

«После непродолжительного, энергичного магнетического воздействия со стороны г-на доктора Месмера, она начала различать очертания поставленных перед нею тел и фигур. Но новое чувство было столь впечатлительно, что она могла смотреть на все это только в очень темной, снабженной ставнями и занавесями комнате. Когда перед ее глазами, со впятеро сложенной на них повязкой, проводили зажженной свечью, хотя бы и очень быстро, она разом падала, словно сраженная молнией. Первою человеческою фигурою, которую она увидела, был г-н доктор Месмер. Она с большим вниманием наблюдала за ним и за всевозможными колеблющимися движениями его тела, которые он проделывал, чтобы испытать ее. Она до известной степени была смущена этим и сказала: «Как ужасно видеть это! Неужели таков облик человеческий?» К ней, по ее желанию, привели большую домашнюю собаку, очень ручную, ее всегдашнюю любимицу, и она осмотрела ее с тем же вниманием. «Эта собака, — сказала она потом, — нравится мне больше, чем человек; мне много легче на нее смотреть». Особенно поражали ее носы на лицах, которые она рассматривала. Она не могла удержаться от смеха. Она выражалась об этом так: «Мне

кажется, что они обращены на меня с угрозой и хотят выколоть мне глаза». После того, как она увидела достаточное количество лиц, она попривыкла к этому. Наибольшего труда стоит ей научиться различать цвета и степень отдаленности предметов, ибо в отношении вновь проявившегося у нее чувства зрения она столь же неопытна и не искушена, как новорожденный ребенок. Она никогда не ошибается в различиях одного цвета от другого, но зато смешивает их наименования, в особенности если ее не навели на след—производить сравнения с окраскою, ей уже знакомою. При виде черного цвета она поясняет, что это образ ее былой слепоты. Этот цвет всегда пробуждает в ней некоторую склонность к меланхолии, которой она часто была подвержена в период лечения. В это время она неоднократно раздражалась внезапными рыданиями. Так, однажды, с ней случился столь сильный припадок, что она бросилась на софу, отбивалась руками, пыталась сорвать с себя повязку, отталкивала все перед собой и, жалостно стеная и плача, являла своим видом такое отчаяние, что мадам Сакко или любая другая знаменитая актриса не могла бы найти лучшего образца для изображения женщины, потрясенной крайним горем. Через несколько мгновений это печальное настроение прошло, и она вернулась к своей прежней приветливости и жизнерадостности,—хотя вскоре после того снова с нею случился такой же припадок. Так как в первые дни, когда распространилась молва о том, что она прозрела, нас усиленно стали посещать родственники, друзья и высокопоставленные лица, она стала сердиться. Однажды, будучи этим недовольна, она выразилась в разговоре со мною так: «Почему это я чувствую себя менее счастливой чем раньше? Все, что я вижу, вызывает во мне неприятное возбуждение. Ах, я была гораздо спокойнее со своей слепотою!» Я утешил ее тем доводом, что ее нынешнее раздражение происходит от восприятия чуждой области, в которой она пребывает. Но как только она привыкнет к зрению, она станет такой же спокойною и довольною, как другие. «Это хорошо,—отвечала она,—потому что если при взгляде на что-нибудь новое мне и дальше суждено испытывать беспокойство вроде нынешнего, я готова теперь же вернуться к прежней слепоте».

Так как вновь обретенное чувство поставило ее на первоначальную природную ступень, то она вполне свободна от предвзятых взглядов и именуется вещи просто по тому естественному впечатлению, которое они на нее производят. Она очень хорошо судит о чертах лица и делает из этого выводы о свойствах характера. Знакомство с зеркалом вызвало в ней большое удивление; она не могла понять, как это плоское зеркальное стекло улавливает предметы и вновь представляет их глазу. Ее привели в великолепную комнату, где была высокая зеркальная стена. Она стала производить перед нею удивительные повороты и телодвижения, и особенно смеялась тому, что изображение в зеркале, когда она приближалась, подступало к ней, а при удалении от него отступало. Все предметы, которые она замечает в известном отдалении, кажутся ей маленькими, и в ее представлении они увеличиваются по мере того, как придвигаются к ней.

Когда она с открытыми глазами подносила ко рту кусочек поджаренного хлеба, он представлялся ей таким большим, что не поместится, казалось ей, во рту. Потом ее провели к бассейну, который она назвала большой суповой миской. Ей казалось, что деревья в аллее движутся рядом с ней с двух сторон, а на возвратном пути она думала, что дом идет ей навстречу, и особенно понравились ей освещенные окна. На следующий день пришлось исполнить ее желание и свести ее в сад при свете дня. Она опять внимательно осмотрела все предметы, но не с таким удовольствием как накануне вечером. Протекавший перед домом Дунай она назвала длинной и широкой полосой и указала точно те места, где она видит начало и конец реки. Деревьев, стоявших примерно в тысяче шагов по ту сторону реки, на так называемом Пратерау, можно было коснуться, по ее мнению, вытянув вперед руки. Так как это было среди бела дня, она не могла долго вынести пребывания с открытыми глазами в саду. Она сама потребовала, чтобы ей завязали опять глаза, так как восприятие света не по силам ее слабому зрению и вызывает в ней головокружение. А когда у нее на глазах снова повязка, то она без провожатых не решается ни на один шаг, хотя, будучи слепой, расхаживала прежде по хорошо знакомой комнате. Рассеянность нового чувства служит причиной того, что

она должна быть более внимательной за клавиром, чтобы сыграть что-нибудь, в то время как раньше она исполняла целые концерты с безукоризненной верностью и при этом разговаривала с окружающими. Теперь с открытыми глазами ей трудно сыграть и небольшую вещицу. Она следит за своими пальцами,—как они поднимаются над клавиром,—но при этом не попадает в большинстве случаев на нужные клавиши».

Производит ли это ясное, прямо-таки классическое описание впечатление подделки? Можно ли, действительно, допустить, что ряд очевидцев, пользующихся уважением, дал себя полностью одурачить и послал сообщения в газеты о чудесном исцелении, не потрудившись удостовериться относительно состояния бывшей слепой, живущей в состоянии двух улиц? Но именно из-за шума, вызванного этим случаем магнетического лечения, врачебная корпорация с недовольством вмешивается в дело. На этот раз Месмер вторгся в их собственную, личную область, и глазной врач и профессор Барт, у которого девида Парадиз в течение нескольких лет безуспешно искала помощи, с особым рвением ополчается против непрошенного целителя. Он утверждает, что девицу Парадиз следует рассматривать еще как слепую, потому что она часто не знает названий находящихся перед нею предметов и нередко путает их,—ошибка, психологически очень понятная и даже вероятная у долголетней слепой, впервые познающей предметы; ошибка, сама по себе не опорочивающая. Но за официальным миром сила превосходства. Прежде всего, вмешательство влиятельных врачей ставит преграду намерению Месмера лично представить императрице Марии Терезии свою, находящуюся на пути к выздоровлению пациентку; и все яростнее пытаются раздраженные коллеги помешать Месмеру продолжать магнетическое лечение. По какому праву?—следует, объективно говоря, спросить. Ибо даже в самом неблагоприятном случае метод внушения не может сделать мертвый зрительный нерв девицы Парадиз еще более мертвым, не может сделать слепую более слепой. Таким образом, при желании нельзя ни из одного из параграфов закона вывести право посторонних лиц отнять у дипломированного врача его пациентку в середине лечения. И так как помимо того девида Пара-

диз сама крепко держится за своего целителя, противники Месмера избирают обходный путь, чтобы лишить его драгоценного объекта опытов: они внушают старикам Парадиз устрашающую мысль, что, если дочь их действительно прозреет, то сразу же пропала монаршья милость—пенсия в двести дукатов, и что покончено со своеобразной сенсацией от выступлений слепой концертантки. Этот довод—угроза финансовая—сразу же действует на семью. Отец, дотоле вполне доверявший Месмеру, насильно врывается в дом, требует свою дочь немедленно обратно и грозит обнаженной саблей. Но, удивительное дело, сопротивление встречает он не со стороны врача. Сама девица Парадиз, привязавшаяся к своему целителю не то в качестве медиума, не то по эротическим побуждениям, заявляет определенно, что не намерена возвращаться к родителям, а остается у Месмера. Это приводит в раздражение ее мать, она с невероятной яростью набрасывается на непокорную девушку, предпочитающую чужого человека своим родителям, наносит ей, беззащитной, побои и ведет себя по отношению к ней так ужасно, что та падает, охваченная судорогами. Но несмотря на все приказания, угрозы и побои, не удается заставить стойкую девицу Парадиз покинуть своего покровителя (а может быть своего возлюбленного). Она остается в магнетической клинике. Месмер одержал победу, правда Пиррову победу. Ибо в результате перенесенного возбуждения и насилий слабый проблеск света, доставшийся с таким трудом, угасает. Приходится снова начать лечение, чтобы оживить пришедшие в расстройство нервы. Но на это Месмеру не дают времени. Факультет пустил уже в ход самые тяжелые орудия. Он мобилизовал архиепископа кардинала Мигадзи, императрицу и двор и, кажется, самую могущественную в терезианской Австрии инстанцию: знаменитую комиссию нравов. Профессор Штерк, как глава медицинского ведомства в Австрии, дает, по поручению императрицы, приказ «положить конец этим обманам». И вот государство отнимает у магнетизера власть над его медиумом. Месмер принужден немедленно прервать лечение и выдать неполучившую еще исцеления девицу Парадиз родителям, несмотря на ее отчаянные мольбы. Дальнейшие последствия этого тягостного дела, за недостатком соответствующих документов,

не поддаются точному выяснению. Или Месмеру предписано было правительством, более или менее настоятельно, покинуть пределы Австрии, в качестве «нежелательного иностранца», или сам он оказался сыт по горло товарищеским отношением медицинских кругов Вены. Во всяком случае он, сразу же после случая с девицей Парадиз, покидает свой великолепный дом на Загородной улице, 261, уезжает из Вены и ищет себе нового отечества сначала в Швейцарии, потом в Париже. Венский факультет может быть спокоен, его цель достигнута. Он отстранил неприятного, с замашками самостоятельности, человека и дискредитировал (по его мнению, навсегда) первые зачатки психотерапевтического метода, правда неясного, но уже приближающегося к современным представлениям. На целое столетие с четвертью воцаряется на Венском факультете *in rebus psychologicis*¹ величественное спокойствие, пока опять не появляется, со своим психоанализом, еще один досадный новатор, Зигмунд Фрейд, на которого профессора факультета ополчаются с тем же предубеждением и с такой же яростью, но на этот раз, по счастью, со значительно меньшим успехом.

¹ В делах психологии.

ПАРИЖ

Восемнадцатое столетие мыслит и живет космополитически. Наука Европы, ее искусство представляют еще одну большую семью; для человека духовной культуры еще не придумано современное нам яростное отграничение одного государства от другого. Художник и ученый, музыкант и философ странствуют в то время из одной резиденции в другую без всяких националистических ущемлений, чувствуя себя как дома везде, где они могут проявить свой талант и выполнить свою миссию, встречая дружеский прием со стороны всех наций, народов и государей. Поэтому в решении Месмера переселиться из Вены в Париж нет ничего особенного, и с первого же часа ему не приходится раскаиваться в перемене обстановки. Его аристократические пациенты из Австрии открывают перед ним двери посольства. Мария Антуанета, живо интересующаяся всем новым, необычным и занимательным, обещает ему свою поддержку, а бесспорная принадлежность Месмера к всемогущему тогда масонству тотчас же вовлекает его в средоточие духовной жизни французского общества. Кроме того, его учение совпадает с исключительным моментом. Ибо как раз потому, что Вольтер и энциклопедисты агрессивным своим скептицизмом вытравили из общества восемнадцатого века церковную веру, они, вместо того, чтобы уничтожить неистребимую в человеке потребность веры («écrasez l'infâme!»),¹ загнали ее в какие-то другие закоулки и мистические тупики. Никогда не был Париж столь жаден до новшеств и суеверий, как в ту пору начинающейся просвещенности. Перестав верить в легенды о библейских святых, стали искать для себя новых и особенных святых и обрели их в толпах притекавших туда шарлатанов розенкрейцтерства, алхимии и филаэтии; все неправдоподобное, все идущее наперекор ограниченной школьной науке встречает в скучающем и приреченном

«Раздавите гадящую!».

на философский образец парижском обществе воодушевленный прием. Страсть к тайным наукам, к белой и черной магии проникает повсюду, вплоть до высших сфер. Мадам де Помпадур, правительница Франции, прокрадывается ночью, через боковую дверь Тюильрийского дворца к мадам Бонтан, чтобы та предсказала ей будущее по кофейной гуще; герцогиня д'Юффе велит соорудить для себя дерево Дианы (об этом можно прочесть у Казановы) и омолаживается путем в высшей степени физиологическим; маркизу де Л'Опиталь какая-то старая женщина заманивает в глухое место, где ей во время черной мессы представлен будет Люцифер в собственной персоне; но в то время как добрейшая маркиза и ее подруга, обнаженные с головы до пят, ждут появления обещанного дьявола, мошенница исчезает с их одеждой и деньгами. Наиболее почтенные мужи Франции трепещут от почтительного благоговения, когда легендарный граф Сен-Жермен тончайшим образом проговаривается за ужином и выдает свой тысячетный возраст тем, что об Иисусе Христе и о Магомете говорит как о личных своих знакомых. В то же самое время хозяева гостиниц и постоялых дворов Страсбурга радуются переполнению своих комнат, потому что принц Роган принимает у себя, в одном из самых аристократических дворцов, отъявленного сицилианского проходимца Бальзамо, именующего себя графом Калиостро. В почтовых каретах, в носилках и верхом прибывают со всех концов Франции аристократы, чтобы приобрести себе у этого первоклассного шарлатана микстуры и волшебные снадобья. Придворные дамы и девицы голубой крови, княгини и баронессы устраивают у себя в замках и городских отелях лаборатории по алхимии, и вскоре эпидемия мистического помешательства охватывает и простой народ. Едва лишь распространяется молва о нескольких случаях чудесного исцеления у гроба парижского архидиакона, на кладбище Сен-Медар, как туда стекаются тысячи людей и впадают в дикие корчи. Ничто необычное не кажется в ту пору слишком нелепым, никакое чудо достаточно чудесным, и никогда не было мошенникам столь удобно, как в эту, одновременно и рассудочную и падкую до сенсаций эпоху, бросающуюся на всякое щекочущее нервы средство, увлекающуюся всяким дурачеством, верующую, в своем скептицизме, во всякое вол-

шебство. Таким образом врач, владеющий новым универсальным методом, заранее мог считать свою игру выигранной. Но Месмер (и это следует оттенять неустанно) отнюдь не намерен отбивать у какого-нибудь Калиостро или Сен-Жермена золотые прииски глупости человеческой. Дипломированный врач, гордый своей теорией, фанатик своей идеи,—более того, пленник ее, он хочет и желает прежде всего быть признанным официальной наукой. Он презирает весьма ценный и прибыльный энтузиазм угодников моды: благосклонный отзыв одного академика был бы для него важнее, чем шум, произведенный сотнею тысяч дураков. Но всеисильные профессора отнюдь не усаживаются с ним вместе за один лабораторный стол. Берлинская Академия ответила на его доводы лаконически, что «это ошибка», Венский медицинский совет официально признал его обманщиком; становится понятным его отчаянно-страстное желание удостоиться, наконец, честного отзыва. Едва успев прибыть, в феврале 1778 года, в Париж, он сразу же направляется к Леруа, президенту Академии Наук; через его посредство он настойчиво домогается, чтобы все члены Академии сделали ему честь и серьезным образом подвергли рассмотрению его метод в организованном им на первое время госпитале в Кретеиле (поблизости от Парижа). Согласно инструкции, президент ставит это предложение на обсуждение. Но Венский факультет, повидному, забежал вперед, ибо Академия Наук коротко и решительно заявляет о своем отказе от рассмотрения месмеровских опытов.

Не столь легко, однако, отступается человек, который, будучи пропикнут страстной уверенностью в то, что дает миру нечто очень важное и новое, добивается для своей научной мысли научной санкции. Он тотчас же обращается к только-что основанному Медицинскому обществу. Там он, в качестве врача, может требовать своего бесспорного и непреложного права. Еще раз возобновляет он предложение — представить в Кретеиле своих излечившихся пациентов и дать с готовностью объяснения на всякий вопрос. Но и Медицинское общество не проявляет особой склонности стать в оппозицию к родственной ему венской организации. Оно уклоняется от стеснительного предложения под тем малоубедительным предлогом, что

может судить об излечениях лишь в случаях, когда оно осведомлено о предшествующем состоянии пациентов, а этого в данном случае нет. Пять раз пытался Месмер добиться у всех факультетов мира признания или по крайней мере внимательного рассмотрения своей системы; нельзя было действовать прямее, честнее, в большем согласии с наукою. Лишь теперь, когда ученая клика своим молчанием выносит ему приговор, не ознакомившись с документами и фактами, лишь теперь обращается он к высшей и решающей инстанции: к общественному мнению, ко всем образованным и интересующимся людям; в 1779 году он печатает на французском языке свой «Трактат об открытии животного магнетизма». Красноречиво и поистине искренно просит он помощи в своих опытах, участия и благоволения, ни одним намеком не обещая чудесного или невозможного: «Животный магнетизм это вовсе не то, что врачи понимают под словом таинственное средство. Это наука, имеющая свои обоснования, выводы и положения. Все в целом и доньше неизвестно, это я признаю. Но именно потому было бы несправедливо давать мне в судьи лиц, ничего не понимающих в том, о чем они решаются судить. Мне нужны не судьи, а ученики. Поэтому мое намерение состоит целиком в том, чтобы официально получить от какого-либо правительства дом, где бы я мог поместить больных для лечения, и где мог бы, с легкостью и без особых околичностей, доказать в полном объеме действие животного магнетизма. Затем я хотел бы взять на себя подготовку большого количества врачей и предоставить тому же правительству решить, в какой мере желает оно распространить мое открытие — для всеобщего пользования или в ограниченных кругах, быстро или не спеша. Если бы предложения мои были отвергнуты во Франции, я покинул бы ее неохотно, но это, конечно, неизбежно. Если они будут отвергнуты повсюду, то я все же надеюсь найти для себя спокойный уголок. Под покровом своей добросовестности, свободный от упреков совести, я соберу около себя частицу человечества, того человечества, которому я хотел быть полезным в более широких размерах, и тогда придет пора ни у кого, кроме самого себя, не спрашивать совета, как поступать. Если бы я действовал иначе, то к животному магнетизму

отнеслись бы как к моде. Каждый бы пытался блеснуть им и найти в нем больше или меньше того, что он действительно в себе содержит. Им стали бы злоупотреблять, и полезность его превратилась бы в проблему, разрешение которой последовало бы, может быть, лишь через несколько столетий».

Это ли язык шарлатана, сочинительство и болтовня человека нечестного? Конечно, в громогласном обращении прежнего скромного просителя звучит уже нотка окрыленности: Месмер впервые говорит языком успеха. Ибо как раз в эти последние месяцы его метод лечения нервных болезней внушением нашел серьезных приверженцев и влиятельных союзников, и прежде всего открыто стал на его сторону Шарль Делон, лейб-медик графа д'Артуа, выпустивший брошюру. Это открывает Месмеру путь ко двору; в то же самое время одна из дворцовых дам Марии Антуанеты, которую Месмер исцелил от паралича, выступает перед своей повелительницей в пользу того, кто помог ей. Высшее дворянство, мадам Ламбаль, принц Конде, герцог Бурбон, барон Монтестье и в особенности герой дня, молодой маркиз Лафайет высказываются с воодушевлением в пользу его учения. И вот, несмотря на враждебное отношение Академии, несмотря на неудачу в Вене, правительство, по приказу королевы, входит в непосредственные переговоры с Месмером, чтобы привязать к Франции родоначальника столь плодотворных идей; министр Морена, по приказанию свыше, предлагает ему пожизненное содержание в двадцать тысяч ливров и кроме того десять тысяч ливров на квартирные расходы, правда, с выплатой лишь в том случае, когда три подготовленных им для государства ученика признают пользу магнитотерапии.

Но Месмер сыт по горло и не желает вновь и без конца возиться с предвзятыми суждениями узколобых специалистов, он не идет ни на какие оговорки «если» и «в том случае», он не принимает милостыни. Он гордо отказывается: «Я не могу входить в договорные отношения с правительством, пока правильность моего открытия не будет непреложным образом признана и подтверждена». И после двух лет магнетической терапии такую силу приобрел в Париже высланный из Вены Месмер, что

в качестве угрозы может заявить, что покинет Париж, и в этом смысле предъявляет ультиматум королеве: «Единственно из уважения к Вашему Величеству я Вас заверяю, что продлю свое пребывание во Франции до 18 сентября, и до этого срока готов оказать помощь тем больным, которые удостоят меня своим доверием. Я ищу, Ваше Величество, такого правительства, которое признает необходимость не допускать, легкомысленным образом, проникновения в мир истины, вызывающей своим воздействием на природу человека изменения, кои, с самого начала, требуется контроль со стороны истинного знания и истинной силы, а также направление в благожелательном смысле. В деле, касающемся всего человечества, деньги должны быть, в глазах Вашего Величества, лишь на втором плане; четыреста или пятьсот тысяч франков, обращаемых на такую цель, ничего не должны значить. Мое открытие и я сам должны быть награждены с величием, достойным монарха, с которым я вступаю в сношение». Этот ультиматум Месмера не принимается, повидимому, в результате сопротивления со стороны Людовика Шестнадцатого, чей трезвый и бережливый нрав восстает против всяких фантастических экспериментов. И вот Месмер действует всерьез: он покидает Париж и направляется в германские владения, в Спа.

Но эта вызывающая самоопала — иного свойства, чем прежняя, венская, безнадежно смахивающая на бегство или высылку. Он удаляется из державы Бурбонов, как властелин, как претендент, и целый рой вдохновенных приверженцев провожает высокочтимого вождя в добровольное изгнание. Но еще большее число их остается в Париже и во Франции, чтобы действовать там в его пользу. Возмущение по поводу того, что из-за интриг Факультета с полным равнодушием допустили отъезд такого человека из Франции, приобретает постепенно лихорадочный характер. Записки в его защиту дюжинами появляются в печати. В Бордо, в соборе, аббат Эрвье открыто проповедует с кафедры догму магнетизма; Лафайет, перед своим отплытием в Америку, сообщает Вашингтону, как нечто весьма важное, что он везет американцам, кроме ружей и пушек для войны за независимость, также и новое учение Месмера («Un docteur nommé Mesmer, ayant

fait la plus grande découverte, a fait des élèves, parmi lesquels votre humble serviteur est appelé un des plus enthousiastes... Avant de partir, j'obtiens la permission de vous confier le secret de Mesmer, qui est une grande découverte philosophique». ¹ И масонство, защищающее в науке, как и в области политики, все новое и революционное, с решимостью становится на сторону собрата. И вот, вопреки правительству, вопреки королю, вопреки медицинской коллегии, вопреки Академии, эти восторженные приверженцы Месмера добиваются возвращения его в Париж на поставленных им условиях; то, в чем отказал Месмеру король, предлагают ему, за свой счет, дворянство и буржуазия. Группа его учеников, во главе с Бергасом, известным адвокатом, основывает акционерное общество, чтобы предоставить маэстро возможность учредить свою собственную академию, в противовес королевской; сто поклонников подписывают каждый по сто ливров «pour acquitter envers Mesmer la dette de l'humanité», ² наряду с чем Месмер обязывается передать им свои знания. Сразу же по выпуске магнетические акции расхватываются; в двенадцать месяцев подписано 340000 ливров, значительно больше, чем требовал сначала Месмер. Кроме того, ученики его объединяются в каждом городе в так называемое «Гармоническое общество» (Société de l'Harmonie), отдельно в Бордо, в Лионе, в Страсбурге, в Остенде, и даже одно в колониях, в Сан-Доминго. С триумфом, вызванный из изгнания мольбами и заклинаниями, встреченный празднествами и приветствиями, возвращается Месмер опять во Францию, некоронованный глава некоей незримой духовной державы. То, в чем отказал ему король, он сам себе создал: свободу исследований, независимое существование. И если официальная, академически-насторожившаяся наука объявит ему войну, Месмер теперь готов к ней.

¹ «Некий доктор, по имени Месмер, сделавший величайшее открытие, снискал себе учеников, среди которых ваш покорный слуга считается одним из самых восторженных. Перед отъездом я испрошу разрешения посвятить вас в тайну Месмера—большое философское открытие».

² «Чтобы выполнить по отношению к Месмеру долг человечества».

МЕСМЕРОМАНИЯ

Месмер, чей магнетический метод обещает исцеление от всех видов болезненного возбуждения, сам приносит на первых порах в Париж особый вид возбуждения—месмероманию. Вот уже много десятков лет ничто не приводило Сен-Жерменское предместье, с его неизменно хорошим, скучающим среди роскоши обществом, в такое волнение, в такой, можно сказать, пароксизм страсти, как практика магнетического лечения. В течение нескольких месяцев Месмер и магнетизм становятся в Париже *la grande mode, le dernier cri*.¹ Перед его роскошной квартирой на Вандомской площади с утра до вечера стоят коляски и кабриолеты дворянства; лакеи в цветных livreaх первых домов Франции ждут у украшенных гербами носилок; и так как приемные помещения оказываются слишком тесными для столь неожиданного наплыва, и для пользования хорошо платящих пациентов имеются налицо лишь три «ушата здоровья», то уже за несколько дней вперед покупают себе место у «бакета», как в наши дни ложу на первое представление новой оперы. Но филантропия тоже в моде, и Месмер предоставляет «бакеты»— правда, меньшего размера — и для лиц менее состоятельных, ибо каждый, будь он богат или беден, должен получить свою долю этого «гармонического» целебного средства. Он исключает из круга больных только лиц с открытыми ранами, несомненных эпилептиков, умалишенных и калек, честно подчеркивая этим, что он достигает улучшения в общем самочувствии лишь через нервную систему, но не может чудом изменить строение органов.

¹ Величайшей модой, последним криком.

В этих магнетических залах, а вскоре и в собственном дворце, в отеле Буильон на улице Монмартр, где Месмер устроил клинику, пять лет подряд толпятся пациенты из всех сословий, настоящие и воображаемые больные, любопытные и снобы всякого ранга. Каждый любопытный парижанин—а какой парижанин из хорошего общества не любопытен?—должен во что бы то ни стало хоть однажды испробовать на себе чудодейственный флюид, и потом этой, щекочущей нервы сенсацией хвалиться в элитных салонах с тою же примерно дилетантской поверхностностью, как в наше время за five o'clock tea¹ рассуждают о теории относительности или психоанализе. Месмер в моде, и потому его наука, принимаемая им весьма серьезно, действует на общество не как наука, а как театр. Что в постановке его лечения есть, действительно, нечто нарочито театральное, Месмер никогда не отрицал, напротив, он открыто признает это. «Mes procédés, s'ils n'étaient pas raisonnés, paraîtraient comme des grimaces aussi absurdes que ridicules, auxquelles il serait en effet impossible d'ajouter foi». ²

Ему, в качестве знатока душ [человеческих, известно, что всякое основанное на вере лечение нуждается, для усиления его действия, в определенном магическом или религиозном церемониале; и оп, в силу психологической убежденности, окружает свою личность неким магическим ореолом; как всякий сведущий в психологии врач, он усиливает свой авторитет таинственностью. Уже само помещение действует на посетителей, благодаря особому устройству, тревожно и возбуждающе. Окна затемнены занавесями, чтобы создать сумеречное освещение, тяжелые ковры на полу и по стенам заглушают звук, зеркала отражают со всех сторон золотистые тона света, странные символические звездные знаки привлекают внимание, не давая ему полного удовлетворения. Неопределенность всегда повышает чувство ожидания, таинственность усиливает напряжение, молчание и замалчивание взвинчивают мистическую настроенность; поэтому в волшебном прием-

¹ Пятичасовой чай.

² «Если бы мои приемы не были разумно обоснованы, они должны были бы казаться столь же нелепыми, сколько и смешными, и им, действительно, трудно было бы дать веру».

ном покое Месмера все чувства—зрение, слух и осязание тончайшим образом подвергаются воздействию и раздражению. Посредине большого зала стоит, широкий как колодец, «ушат здоровья». Вокруг этого магнетического алтаря сидят, в глубоком молчании, как в церкви, больные, затаив дыхание; никто не смеет пошевелиться, ни один звук не должен вырваться, чтобы не нарушить создавшегося напряжения. Время от времени собравшиеся вокруг «ушата» образуют, по данному знаку, знаменитую (впоследствии заимствованную спиритами) магнетическую цепь. Каждый касается кончиков пальцев своего соседа, чтобы мнимый ток, усиливаясь при прохождении от тела к телу, пронизал весь благоговейно насторожившийся ряд. Это глубокое, ничем кроме легких вздохов ненарушаемое молчание сопровождается тончайшими аккордами клавира или тихим хоровым пением из соседней комнаты; иногда даже сам Месмер играет на своей стеклянной гармонике, чтобы нежным ритмом умерить создавшееся возбуждение или повысить его, если нужно, ускоряя ритм. Так в продолжение часа организм заряжается магнетической силой (или, как сказали бы мы по-современному, подготавливается гипнотическая напряженность, путем воздействия на нервную систему приемами монотонности и ожидания). Потом появляется, наконец, сам Месмер.

Серьезный и спокойный, он входит медленно, с величавым выражением лица, излучая покой в общее беспокойство; и едва лишь он приблизился к больным, как легкий трепет, словно от звенящего издали ветерка, пробегает по цепи. На нем длинная, шелковая фиолетовая мантия, вызывающая мысль о Зороастре или об одежде индийских магов; сурово, сосредоточившись в себе на подобие укротителя зверей, который, имея лишь легкий хлыст в руке, единственно силою воли удерживает зверя от прыжка, шагает он, со своим железным жезлом, от одного больного к другому. Перед некоторыми он останавливается, спрашивает тихо о их состоянии, потом проводит своей магнетической палочкой по одной стороне тела книзу и по противоположной кверху, приковывая к себе в то же время, властно и настойчиво, исполненный ожидания взгляд больного. Других он вовсе не касается жезлом и, лишь очерчивая в воздухе невидимый круг,

как бы осеняет им со значительным видом лоб или центр болевых ощущений, но при этом неотступно сосредоточивает при помощи недвижимого взора внимание на больном и этим приковывает его внимание. Во время этой процедуры другие почтительно таят дыхание, и в продолжение некоторого времени в просторном, приглушенном коврами помещении не слышно ничего, кроме его медленных шагов или, порою, вздоха облегчения или тоски. Но обыкновенно это длится недолго, и один из больных начинает при прикосновении Месмера дрожать, конвульсивная судорога проходит по его членам, его бросает в пот, он кричит, вздыхает или стонет. И как только у этого первого обнаруживаются видимые знаки напрягающей нервы силы, другие участники цепи тоже начинают чувствовать знаменитый, несущий исцеление кризис. Подсргиванья электрически перескакивают по замкнутому ряду, дальше и дальше, возникает массовый психоз; второй, третий пациент впадают в судорогу, и внезапно шабаш ведьм в полном разгаре. Одни катаются, с закаченными глазами, в корчах по полу, другие начинают пронзительно смеяться, кричать, стонать и плакать, некоторые, охваченные судорогами, носятся в пляске, как черти, некоторые—все это можно видеть запечатленным на гравюрах той поры—как будто впади, под влиянием жезла или упорного взгляда Месмера, в обморочное состояние или гипногический сон. С тихою, застывшею на губах улыбкою лежат они безучастно, в каталептическом оцепенении, и в это время музыка по соседству продолжает играть, чтобы состояние напряженности все усиливалось и усиливалось, ибо по знаменитой «теории кризисов» Месмера, всякая нервно обусловленная болезнь должна быть доведена до высшей точки своего развития, чтобы тело могло исцелиться. Те, кто слишком сильно охвачен кризисом, кто кричит, буйствует и корчится в судорогах, быстро уносятся служителями и помощниками Месмера в соседнюю, плотно обитую, наглухо изолированную комнату, в «salle des crises»,¹ чтобы там успокоиться (что, разумеется, дало в сотнях случаев повод глумлению в печати и утверждениям, что нервные дамы получают там успокоение путем в высшей степени физио-

¹ Зал кризисов.

логическим). Поразительнейшие сцены ежедневно разыгрываются в волшебном кабинете Месмера: больные вскакивают, вырываются из цепи, заявляют, что они здоровы, другие бросаются на колени и целуют руки спасителю; некоторые умоляют усилить ток и еще раз их коснуться. Понемногу вера в магию его личности, в его личные чары становятся для его пациентов формой религиозного помешательства, а сам он—святым и исцелителем несчетного числа людей. Как только Месмер показывается на улице, одержимые недугом бросаются к нему, чтобы дотропнуться только до его одежды; княгини и герцогини на коленях просят, чтобы он посетил их; опоздавшие, не получившие доступа к его багету, покупают себе, для личного употребления, так называемые «*petits baquets*», маленькие ушаты, чтобы лечиться магнетизмом по его методу на дому. И в один прекрасный день Париж может созерцать глупейшую картину: по самой середине улицы Бонди сотня человек, веревками привязанных к намагнетизированному Месмером дереву, ждет «кризиса». Никогда ни один врач не переживал такого стремительного и шумного успеха, как Месмер; пять лет подряд парижское общество только и говорит, что о его магически-магнетическом лечении.

Но нет ничего опаснее для наново-возникающей науки, как если она становится модой и предметом светской болтовни. Против своей воли Месмер попадает в двусмысленное положение: в качестве честного врача он хотел дать новое целебное средство для науки, а дает, оказывается, подходящую тему для моды и для всюду поспевающих ее представителей, томящихся праздностью. Заводят споры—за Месмера и против него—с таким же отсутствием внутреннего интереса, как за Пуччини или Глюка, Руссо или Вольтера. Кроме того, столь прятная эпоха, как восемнадцатое столетие, спешит повернуть всякое новшество в сторону эротики: придворные кавалеры жгут от магнетизма, в качестве основного его эффекта, оживления своей упавшей мужской силы, а про дам сплетничают, что они ищут в *salle des crises* натуральнейшей формы охлаждения нервов. Каждый мелкий писака вступает теперь в дискуссию, выпуская глупую, восторженную или пренебрежительную брошюру, анекдоты и памфлеты подбавляют литературного перцу в медицинский спор и в конце кон-

цов месмеромания переносится даже в театр. 16 ноября 1784 года итальянская королевская труппа разыгрывает фарс под названием «Les docteurs modernes»,¹ в котором Раде, стихотворец третьего сорта, высмеивает магнетизм. Но он прогадывает, ибо фанатики месмеризма не допускают даже в театре шуток по адресу своего кумира. И вот представители громких фамилий, слишком гордые, разумеется, для того, чтобы самим утруждать свои уста, посылают в театр лакеев, чтобы те освистали пьесу. Во время представления какой-то королевский государственный советник бросает из ложи в ряды слушателей печатную брошюру в защиту магнетизма, и когда на следующий день неведомый автор пьесы, Раде, направляется в салон герцогини Вильруа, она через своих служителей указывает ему на дверь: она не принимает субъектов, которые осмеливаются «издеваться над новым Сократом наподобие Аристофана». День-отодня сумасшествие нарастает, и чем больше непризванных начинают развлекаться новою салонною игрою, тем фантастичнее и чуднее становятся крайности увлечения; в присутствии принца Прусского и при наличии всех членов магистрата в полном служебном облачении подвергают в Шарантоне магнетизации старую лошадь. В замках и парках возникают магнетические лужайки и гроты, в городах—тайные кружки и ложи, дело доходит до открытых схваток в рукопашную между приверженцами и противниками системы, и даже до дуэлей; короче говоря, вызванная Месмером сила выходит за пределы своей собственной сферы, медицины, и заполняет всю Францию опасным и заразительным флюидом снобизма и истерии—месмероманией.

¹ «Современные доктора».

АКАДЕМИЯ ВМЕШИВАЕТСЯ В ДЕЛО

Перед лицом этой яростно распространяющейся эпидемии не приходится уже рассматривать Месмера как нечто, с научной точки зрения несуществующее. Возможность или невозможность жизненного магнетизма превратилась из предмета городских толков в дело государственное, и ожесточенный спор должен, наконец, получить разрешение с высоты академической кафедры. Интеллектуальные круги Парижа и дворянство почти целиком за Месмера, королева Мария Антуанета, под влиянием принцессы Ламбаль, всецело на его стороне, все ее дворцовые дамы обожают «божественного немца». Лишь один человек во всем Бурбонском дворце смотрит на всю эту магию с упорным недоверием—это король. Абсолютно чуждый неврастения, с обложенными жиром и флегмою нервами, ожора в стиле Рабле, с отличным пищеварением, Людовик Шестнадцатый не в состоянии проявить особого любопытства к вопросам врачевания души; и когда, перед отъездом в Америку, ему представляется Лафайет, благодушный монарх весело посмеивается над ним: «что-то скажет Вашингтон по поводу того, что он пошел в аптекарские ученики к господину Месмеру». Он ведь против всяких беспокойств и тревожений, добрый, толстый король Людовик Шестнадцатый; в силу какого-то внутреннего чутья он ненавидит революции и новшества также и в области духовной. В качестве человека делового и основательного, любящего порядок, он высказывает поэтому пожелание, чтобы внесли, наконец, ясность в эту бесконечную распрю по поводу магнетизма; и в марте 1784 года он подписывает указ на имя Общества врачей и Академии, чтобы они немедленно подвергли официальному рассмотрению магнетизм, как в его полезных, так и вредных проявлениях.

Редко видела Франция состав более внушительный, чем тот, который выделили обе организации по данному вопросу: имена почти всех участников и доныне пользуются мировой известностью. Между четырьмя врачами находится и некий д-р Гильотен, который через семь лет изобретет машину, в секунду излечивающую все земные болезни—гильотину. Среди других имен блистают славою такие, как имя Венъямина Франклина, изобретателя громоотвода, Байльи, астронома и в дальнейшем мэра Парижа, Лавуазье, обновившего химию, и Жюсье, знаменитого ботаника. Но при всей своей учености, эти столь дальновидные в остальном умы не подозревают, что двое из них, астроном Байльи и химик Лавуазье сложат через несколько лет свою голову под машиной своего коллеги Гильотена, с которым они исследуют теперь магнетизм в столь дружеском общении.

Спешка несовместима с достоинством Академии, ее должны заменить методичность и основательность. И вот проходит несколько месяцев, прежде чем ученая коллегия выносит окончательный отзыв. Документ этот честным и добросовестным образом удостоверяет прежде всего бесспорное действие магнетических сеансов. «Некоторые тихи, спокойны и испытывают блаженное состояние, другие кашляют, плюют, чувствуют легкую боль, теплоту по поверхности всего тела, впадают в усиленную потливость; другие охватываются конвульсиями. Конвульсии необычайны по частоте, продолжительности и силе. Как только они начинаются у одного, они проявляются тут же и у других. Комиссия наблюдала и такие, которые продолжались три часа, они сопровождалась выделением мутной, слизистой жидкости, исторгаемой силою такого напряжения. Наблюдаются и следы крови в отдельных случаях. Эти конвульсии характеризуются быстрыми и произвольными движениями всех членов, судорогами в глотке, подергиваниями в области живота (*hypochondre*) и желудка (*épigastre*), блуждающим или застывшим взором, пронзительными криками, подскакиванием, плачем и неистовыми припадками смеха; затем следуют длительные состояния усталости и вялости, разбитости и истощения. Малейший неожиданный шум заставляет их вздрагивать в испуге, и замечено, что изменения в тоне и такте исполняемых

на фортепиано мелодий действуют на больных в том смысле, что более быстрый темп возбуждает их еще больше и усиливает неистовство их нервных припадков. Нет ничего поразительнее зрелища этих конвульсий; тот, кто их не видел, не может составить о них никакого понятия. Удивительно, во всяком случае, с одной стороны, спокойствие одной группы больных и, с другой, возбужденное состояние остальных, удивительно различные, неизменно повторяющиеся промежуточные явления и та симпатия, которая возникает между больными; можно наблюдать, как больные улыбаются друг другу, нежно разговаривают друг с другом—и это умеряет судорожные явления. Все подвластно тому, кто их магнетизирует. Если они даже находятся в полном, повидимому, изнеможении, его взгляд, его голос тотчас же выводят их из этого состояния».

Таким образом, то обстоятельство, что Месмер влияет на своих пациентов внушением или как-либо иначе, установлено официально. Есть что-то такое в данном случае необъяснимое, удостоверяют профессора, и что-то им неизвестное, при всей их учености: «Судя по этому стойкому воздействию, нельзя отрицать наличия некоей силы, которая действует на людей и покоряет их, и носителем которой является магнетизер». Эту последнюю формулировку комиссия, собственно говоря, вплотную подошла к щекотливому пункту: она сразу же подметила, что удивительные эти явления имеют источником человека, особое личное воздействие. Еще один шаг в сторону этого непонятого соотношения между магнетизером и медиумом, и сто лет оказались бы предвосхищенными, проблема продвинута была бы в угол зрения современности. Но этого последнего шага комиссия не делает. Ее задачу, согласно королевскому указу, является установить, существует или нет магнетически-жизненный флюид, то есть новый физический элемент. Поэтому со школьной педантичностью она ставит только два вопроса, А большое и Б большое: во-первых, доказуем ли вообще этот жизненный магнетизм и, во-вторых, полезен ли он как лечебное средство; «ибо,—аргументирует она *more geometrico*,¹—жизненный магнетизм может существовать и вместе с тем не быть

¹ По способу геометрии.

полезным, но ни в коем случае он не может быть полезным, если не существует».

Таким образом, комиссия занята не таинственным контактом между врачом и пациентом, между магнетизером и медиумом, иначе говоря, не существом проблемы, а единственно вопросом о «présence sensible»¹ таинственного флюида и ее доказуемости. Можно его видеть? Нет. Можно обонять? Нет. Можно его взвешивать, трогать, измерять, пробовать на вкус, рассматривать под микроскопом? Нет. И вот комиссия прежде всего устанавливает эту его непознаваемость для органов чувств. «S'il existe en nous et autour de nous, c'est donc d'une manière absolument insensible».² После такого, не слишком трудного утверждения, комиссия переходит к вопросу, доказуемо ли по крайней мере действие этой незримой субстанции. На этот предмет экспериментаторы решают подвергнуть магнетизации прежде всего самих себя. Но, как известно, на людей, скептически настроенных и абсолютно здоровых, внушение не действует ни в какой мере. «Никто из нас ничего не почувствовал и, прежде всего, ничего такого, что могло бы быть названо реакцией на магнетизм; один только ощутил во второй половине дня нервное раздражение, но никто не испытал кризиса». Став, таким образом, на путь недоверия, они с особой предвзятостью приступают к рассмотрению бесспорного факта воздействия на других. Они ставят пациентам ряд ловушек: предлагают, например, одной женщине несколько чашек, из которых только одна намагнетизирована, и, действительно, пациентка ошибается и берет себе другую чашку, ненамагнетизированную. Казалось бы, этим доказано, что действие магнетизма — шарлатанство, «imagination», воображение. Но академики должны согласиться одновременно, что у той же самой пациентки, как только сам магнетизер подносит ей чашку, сразу наступает кризис. Решение задачи опять-таки близко и, собственно говоря, уже найдено: логически им бы следовало теперь установить, что эти явления возникают в силу особого контакта между магнетизером и медиумом, а не благодаря какой-то таинствен-

¹ «Осязаемом наличии».

² «Если он и существует в нас и вокруг нас, то лишь в абсолютно невосприимчивой органами чувств форме».

ной материи. Но, как и сам Месмер, академики обходят вот-вот уже близкую к разрешению проблему личного воздействия через передачу внушением или флюидальным путем и выносят торжественное заключение относительно «*nullité du magnétisme*». ¹ Там, где ничто не ощущается на глаз, на обоняние, на осязание, там ничего и нет, поясняют они, и это замечательное действие покоится исключительно на одном воображении,—что, конечно, является лишь словом, лишь производным от понятия «внушение», которое они просмотрели.

Такое торжественное признание магнетизма несуществующим сводит, разумеется, на-нет и второй вопрос об универсальной полезности магнетического (мы говорим психического) лечения. Ибо действие, для которого Академия не может указать причины, ни в каком случае не должно быть признано перед лицом мира полезным или целебным. И вот лица сведущие (то есть те, которые на этот раз ничего не поняли в существе дела) утверждают, что метод господина Месмера опасен, ибо эти искусственно вызванные кризисы и конвульсии могут стать хроническими. И свое заключение они излагают, наконец, в тезисе, для которого надо запастись дыханием: «После того как члены комиссии признали, что флюид жизненного магнетизма не познается ни одним из наших чувств и не произвел никакого воздействия ни на них самих, ни на больных, которых они при помощи его испытали, после того как они установили, что касания и поглаживания лишь в редких случаях вызывали благотворное изменение в организме и имели своим постоянным следствием опасные потрясения в области воображения, после того как они, с другой стороны, доказали, что и воображение без магнетизма может вызвать судороги, а магнетизм без воображения ничего не в состоянии вызвать, они единогласно постановили, что ничто не доказывает существования магнетически-жизненного флюида и что, таким образом, этот неподдающийся познанию флюид бесполезен, что разительное его действие, наблюдавшееся при публичных сеансах, должно быть частично

¹ «Ничтожности магнетизма».

объяснено прикосновениями, вызываемым этими прикосновениями воображением и тем автоматическим воображением, которое, против нашей воли, побуждает нас переживать явления, действующие на наши чувства. Вместе с тем комиссия обязывается присовокупить, что эти прикосновения, эти непрестанно повторяющиеся призывы к проявлению кризиса могут быть вредными, и что зрелище таких кризисов опасно в силу вложенного в нас природою стремления к подражанию, а потому всякое длительное лечение на глазах у других может иметь вредное последствие».

Этот официальный отзыв от 11 августа 1784 года сопровождается секретным рукописным донесением комиссии на имя короля, в котором в туманных выражениях указывается на опасность для нравственности, вытекающую из раздражения нервов и смешения полов. После такого приговора Академии и равным образом отрицательного и несприятельного отзыва врачебной коллегии, с психическим методом, с лечением путем личного воздействия для ученого мира бесповоротно покончено. Не помогает и то, что несколько месяцев спустя открыты и продемонстрированы, в ряде опытов, с непреложной ясностью, явления сомнамбулизма, гипноза и медиумического воздействия на волю и что они вызвали громадное возбуждение во всем интеллектуальном мире; для ученой Парижской Академии, после того как она однажды в восемнадцатом столетии изложила свое мнение письменно, не существует, вплоть до двадцатого века, никаких гипнотических, сверхчувственных явлений. Когда в 1830 году один французский врач предлагает дать ей новое доказательство, она отклоняет. Она отклоняет даже и в 1840 году, когда Брайд своей «Неврогипнологией» сделал из гипноза всем понятное орудие науки. В каждом селе, в каждом городе Франции, Европы и Америки магнетизеры-любители уже с 1820 года демонстрируют в переполненных залах примеры самого поразительного воздействия; ни один полобразованный или даже на четверть образованный человек не пробует отрицать их. Но Парижская Академия, та самая, что отвергла громоотвод Франклина и противооспенную прививку Дженнера, которая назвала паровое судно Фультона утопией, упорствует

в своем бессмысленном высокомерии, отворачивает голову и утверждает, что ничего не видит и не видела.

И так длится ровно сто лет, пока, наконец, французский врач Шарко не добивается в 1882 году, чтобы пресветлая Академия удостоила официально познакомиться с гипнозом; так долго—битых сто лет—отказывал ошибочный приговор Академии Францу Антону Месмеру в признании, которое, при большей ее справедливости и вдумчивости, могло бы уже в 1784 году обогатить науку.

БОРЬБА СТОРОН

Еще раз — в который раз? — метод психического лечения ниспровергнут академической юстицией. Едва только Медицинское общество публикует свой отрицательный отзыв, как в лагере противников Месмера воцаряется ликование, словно павеки покончено со всяческими видами врачевания через психику. В каждом магазине продаются забавные гравюры на меди, которые изображают «Победу науки» в наглядном даже для неграмотных виде: озаренная ослепительным ореолом, комиссия ученых разворачивает свиток с уничтожающим приговором, и пред лицом этого «семикратно пылающего света» бегут, верхом на метлах, Месмер и его ученики, украшенные каждый ослиной головой и ослиным хвостом. На другой гравюре изображена наука, мечущая молнии в шарлатанов, которые, спотыкаясь о разбитый ушат здоровья, проваливаются в преисподнюю; третья, с подписью «Nos facultés sont en rapport»,¹ изображает Месмера, магнетизирующего длинноухого осла. Брошюры с издевательствами появляются дюжинами, на улицах распевают новую песенку:

Le magnétisme est aux abois,
La Faculté, l'Académie
L'ont condamné tout d'une voix,
Et même couvert d'infamie.
Après ce jugement, bien sage et bien légal,
Si quelque esprit original
Persiste encore dans son délire,
Il sera permis de lui dire:
Crois au magnétisme... animal! ²

¹ «Наши таланты приносят плоды».

² Магнетизм при последнем издыхании, академия и факультет единогласно осудили его и даже покрыли позором. Если после такого отзыва, столь же мудрого, сколь и законного, какой-нибудь чудак вздумает упорствовать в своем безумии, можно будет с полным правом ему сказать: «Верь в воздействие... животное!»

И в продолжение нескольких дней кажется, действительно, что тяжкий удар академической палицы, как некогда в Вене, окончательно переломил теперь, в Париже, хребет Месмеру. Но дело происходит в 1784 году; гроза революции, правда, еще не разразилась, но дух беспокойства и мятежа носится уже в атмосфере, предвещая опасность. Приговор затребован всехристианнейшим королем, торжественно опубликован королевской академией—никто бы при короле-солнце не осмелился пойти наперекор столь уничтожающей опале. Но при слабом Людовике Шестнадцатом королевская печать не гарантирует от глумления и дискуссий; дух революционности давно уже проник в общество и охотно вступает в страстное противоречие с мнением короля. И целый рой негодующих брошюр разлетается по Парижу и Франции, чтобы реабилитировать Месмера. Адвокаты, врачи, коммерсанты, лица из высшего дворянства опубликовывают под своими именами благодарственные отзывы о своих исцелениях, и среди любительской, пустой печатной болтовни можно разыскать в этих памфлетах немало откровенного и смелого. Так Ж. Б. Бонфуа, представитель хирургической коллегии в Лионе, запрашивает энергически, могут ли господа члены Академии предложить лучший способ лечения: «Как поступают при нервных болезнях, этих болезнях, донныне еще совершенно не понятых? Прописывают холодные и горячие ванны, взбудораживающие, освежающие, возбуждающие или успокаивающие средства, и ни одна из этих паллиативных мер не дала до сих пор столь поразительных результатов, как психотерапевтический метод Месмера». В «Doutes d'un provincial»¹ некий аноним обвиняет Академию в том, что она, по закоснелому своему высокомерию, даже близко не подошла к самой проблеме. «Недостаточно, господа, если мысль ваша поднимается выше предрассудков эпохи. Нужно уметь забывать интересы своего сословия ради всеобщего благополучия». Один адвокат пишет пророчески: «Господин Месмер, на основе своих открытий, построил целую систему. Эта система может быть так же плоха, как и все предшествующие, ибо всегда опасно опираться на первичные выводы. Но если, независимо от этой си-

¹ «Сомнения одного провинциала».

стемы, он ясно изложил некоторые смутные идеи, если хоть одна истина обязана ему своим существованием, то он имеет неоспоримое право на человеческое уважение. В этом смысле он будет признан более поздней эпохой, и никакие комиссии и правительства всего мира не в состоянии отнять у него его заслугу».

Но академии и ученые общества не вступают в дискуссию, они решают. Как только они вынесли решение, им благоугодно с надменностью игнорировать всякие возражения. Но в этом, особом случае Академии приходится пережить нечто неприятное и неожиданное — из ее собственных рядов выступает обвинитель, член комиссии, и не из последних, а именно знаменитый ботаник Жюсье. По указу короля он присутствовал при опытах, отнесся к ним с большей добросовестностью и меньшей предвзятостью, чем большинство других, и потому, при окончательном решении вопроса, отказался дать свою подпись под великой хартией опалы. От острого взора ботаника, привыкшего с благоговейным терпением наблюдать мельчайшие и незаметнейшие нити и следы семян, не скрылся слабый пункт расследования, а именно то обстоятельство, что комиссия сражалась с ветряными мельницами теории и потому была мимо цели, вместо того, чтобы, исходя из бесспорного наличия результатов месмеровского лечения, доискиваться возможных его причин. Не интересуясь фантазмагориями Месмера, его магнетизированными деревьями, зеркалами, водою и животными, Жюсье попросту устанавливает тот новый, существенный и поразительный факт, что при этом новом методе на больного действует какая-то сила. И хотя он столь же мало, как и остальные, способен установить осязаемость этого флюида, доступность его для созерцания, он логически правильно допускает возможность такого агента, «который может переноситься от одного человека к другому и часто производит на этого последнего видимое воздействие». Какого рода этот флюид — психического, магнетического или электрического, об этом честный эмпирик не решается допытываться самостоятельно. Возможно, по его словам, что это сама жизненная сила, «*force vitale*», но во всяком случае какая-то сила здесь несомненно налицо, и долгом беспристрастных ученых было исследовать эту силу и ее дей-

стве, а не отрицать предвзято впервые обнаруживающийся феномен при помощи таких расплывчатых и неопределенных понятий, как воображение. Столь неожиданное заступничество со стороны вполне беспристрастного ученого означает для Месмера огромную моральную поддержку. Теперь он сам переходит в наступление и обращается в парламент с жалобой, указывая, что комиссия, при ознакомлении с делом, обратилась только к Делону, вместо того, чтобы опросить его, истинного изобретателя метода, и требует нового, непредубежденного обследования. Но Академия, довольная тем, что отделалась от неприятного казуса, не отвечает ни слова. С того мгновения как она сдала в печать свой приговор, она полагает бесповоротно ликвидированным толчок, который дал науке Месмер.

Но в этом деле Парижской Академии с самого начала как-то не везет. Ибо как раз в тот момент, когда она вышвырнула нежелательный и непризнанный факт впуска за дверь медицины, он возвращается обратно, дверью психологии. Именно 1784 год, в котором, как полагает она, покончено, благодаря ее отзыву, с подозрительно-колдовским способом природного лечения, становится подлинным годом рождения современной психологии; именно в этом году ученик и помощник Месмера Пуиссегюр открывает явление искусственного сомнамбулизма и бросает новый свет на скрытые формы взаимодействия души и тела,

МЕСМЕРИЗМ БЕЗ МЕСМЕРА

Судьба неизменно оказывается богаче выдумкою, чем любой роман. Ни один художник не мог бы изобрести для трагического рока, неумолимо преследовавшего Месмера всю жизнь и долгое время спустя после смерти, символа более иронического, чем тот факт, что этот отчаянный искатель и экспериментатор не сам сделал свое самое решающее открытие, и что система, именуемая месмеризмом, не является ни учением Франца Антона Месмера, ни его изобретением. Он, правда, вызвал к жизни ту силу, которая стала решающей для познания динамики души, но — роковое обстоятельство — он ее не заметил. Он видел ее и вместе с тем просмотрел. А так как по действующему везде и всегда соглашению открытие принадлежит не тому, кто его подготовил, но тому, кто его закрепил и формулировал, то слава досталась не Месмеру, а его верному ученику, графу Максиму де Пюисегюру, доказавшему восприимчивость человеческой психики к гипнозу и бросившему свет на таинственную промежуточную область между сознательным и бессознательным. Ибо в роковом 1784 году, когда Месмер сражается с Академией и учеными обществами за излюбленные свои ветряные мельницы, за магнетический флюид, этот ученик публикует свой чисто деловой, трезвый до конца «Rapport des cures opérées à Bayonne par le magnétisme animal, adressé à M. l'abbé de Poulanzet, conseiller-clerc au parlement de Bordeaux, 1784»,¹ который при помощи бесспорных фактов вносит недвусмысленную ясность в то, чего мста-

¹ «Записка о сеансах лечения жизненным магнетизмом, имевших место в Байонне, адресованная аббату де Пуланзе, советнику парламента в Бордо, 1784 год».

физически-настроенный немец тщетно искал в космосе и в своем мистическом мировом флюиде.

Опыты Пюисегюра пробивают доступ в мир психики с совершенно неожиданной стороны. От самых ранних времен, в средние века так же, как и в древности, наука с неизменным изумлением рассматривала явления лунатизма, сомнамбулизма в человеке как некое исключение из общего порядка. Среди сотен тысяч и миллионов нормальных людей неизменно появляется на свет один такой удивительный любитель ночных прогулок, который, почувствовав во сне лунный свет, с закрытыми глазами встает с постели, с закрытыми глазами, не всматриваясь и не нащупывая, взбирается на крышу по ступенькам и лестницам, пробирается там, с сомкнутыми веками, по головоломным скатам, карнизам и гребням, и потом опять возвращается к своей постели, не сохраняя на другой день ни малейшего представления и воспоминания о своем путешествии в бессознательное. Перед этим очевидным феноменом все становилось втупик, до Пюисегюра. Душевнобольными нельзя было назвать таких людей, ибо в состоянии бодрствования они толково и добросовестно делают свое дело. Смотреть на них как на нормальных тоже было нельзя, — ведь поведение их в сомнамбулическом сне противоречило всем признанным законам природного распорядка; ибо когда такой человек, закрыв глаза, шагает во мраке и все-таки, при совершенно прикрытых ресницами зрачках, не глядя вперед, замечает малейшие неровности, когда он с сомнамбулической уверенностью взбирается по крутизне, которой он никогда не преодолел бы в состоянии бодрствования, кто же ведет его, не давая ему упасть? Кто его поддерживает, кто проливает свет на его разум? Какого рода внутреннее зрение под сомкнутыми ресницами, какое другое неестественное чувство, какое «sens intérieur»¹, какое «second sight»², ведет этого спящего на яву или бодрствующего во сне, как окрыленного ангела, через все препятствия?

Так непрестанно, со времен древности, спрашивали себя вновь и вновь ученые; тысячу, две тысячи лет стоял

¹ «Внутреннее чувство»,

² «Второе зрение».

испытующий ум человека перед одной из тех жизненных загадок, которыми природа время от времени нарушает правильный распорядок вещей, как бы желая посредством такого непостижимого отклонения от своих обычно твердых законов призвать человечество к благоговению перед иррациональным.

И вот внезапно, весьма некстати и нежелательно, один из учеников этого дьявольского Месмера и даже не врач, а простой магнетизер-любитель устанавливает, при помощи неопровержимых опытов, что эти явления сумеречного состояния не единичный промах в творческом плане природы, не случайное отступление в ряду нормальных человеческих типов, вроде ребенка с телячьей головой или шамских близнецов, но органическое групповое явление и — что еще важнее и неприятнее! — что такое сомнамбулическое состояние растворения воли и бессознательного поведения можно вызвать искусственно почти у всех людей в магнетическом (мы говорим: гипнотическом) сне. Граф Пюисегюр, знатный, богатый и согласно моде весьма филантропически настроенный человек, уже давно и со всею страстностью перешел на сторону Месмера. Из дилетантской гуманности и по философскому любопытству он безвозмездно производит в своем поместье в Бюзанси магнетическое лечение по указанию своего патрона. Его больные вовсе не истерические маркизы и аристократы-упадочники, но кавалерийские солдаты, крестьянские парни, грубые, здоровый, не неврастеничный (и поэтому вдвойне важный) материал для опытов. Как-то раз снова к нему обращается целая группа идущих помощи, и граф-филантроп, верный указаниям Месмера, старается вызвать у своих больных по возможности бурные кризисы. Но вдруг он изумляется — более того, пугается. Молодой пастух, по имени Виктор, вместо того, чтобы ответить на магнетические пассы ожидавшимися от него подергиваниями, конвульсиями и судорогами, попросту обнаруживает усталость и мирно засыпает под его поглаживанием. Так как такое поведение противоречит правилу, согласно которому магнетизер должен прежде всего вызвать конвульсии, а не сон, Пюисегюр пытается расшевелить увальня. Но тщетно! Пюисегюр кричит на него — тот не двигается. Он трясет его, но, удивительное дело, этот

крестьянский парень спит совершенно другим сном, не нормальным. И внезапно, когда он вновь отдает ему приказ встать, парень действительно встает и делает несколько шагов, но с закрытыми глазами. Несмотря на сомкнутые веки, он держится совершенно как на яву, как человек, владеющий всеми чувствами, и сон в то же время продолжается. Он среди бела дня впал в сомнамбулизм, начал бродить во сне. Смущенный Пюисегюр пытается говорить с ним, предлагает ему вопросы. И что же, крестьянский парень, в своем состоянии сна, отвечает вполне разумно и ясно на каждый вопрос, и даже более изысканным языком, чем обычно. Пюисегюр, взволнованный этим своеобразным явлением, повторяет опыт. И действительно, ему удается вызвать такое состояние бодрствования во сне, такой сон на яву, при помощи магнетических приемов (правильнее, приемов внушения) не только у молодого пастуха, но и у целого ряда других лиц. Пюисегюр, охваченный, в результате неожиданного открытия, страстным возбуждением, с удвоенным усердием продолжает опыты. Он дает так называемые послегипнотические приказания, то есть велит находящемуся во сне выполнить, после пробуждения, ряд определенных действий. И в самом деле, медиумы, и по возвращении к ним нормального сознания, выполняют, в точном соответствии с приказом, то, что было им внушено в состоянии сна. Теперь Пюисегюру остается только описать в своей брошюре эти удивительные вещи, и Рубикон в направлении современной психологии перейден, явления гипноза зафиксированы впервые.

Само собой разумеется, гипноз не впервые в мире проявился у Пюисегюра, но у него он впервые вошел в сознание. Уже Парацельс сообщает, что в одном картезианском монастыре монахи, лечившие больных, отвлекали их внимание блестящими предметами; в древности следы гипнотических приемов наблюдаются со времен Аполлония Тианского. За пределами человеческого общества, в животном царстве, уже давно известен был завлекающий и влекущий одеревенение взгляд змеи, и даже мифологический символ Медузы — что другое он означает, как не пленение воли силою внушения? Но это насильственное пленение внимания никогда еще не применялось методически, даже и самим Месмером, который практиковал его несчетное

число раз бессознательно, путем поглаживания и фиксации. Правда, нередко ему бросалось в глаза, что у некоторых из его пациентов, под влиянием его взора или поглаживания, тяжелели веки, они начинали зевать, становились вялыми, ресницы их нервно вздрагивали и медленно смыкались; даже случайный свидетель Жюсье описывает в своем сообщении случай, когда один пациент вдруг встает, магнетизирует других пациентов, возвращается с закрытыми глазами и спокойно садится на свое место, не отдавая себе никакого отчета в своих поступках — точь в точь лунатик среди бела дня. Десятки, сотни раз, может быть, наблюдал Месмер за долгие годы своей практики такое оцепенение, такое замыкание в себе и отрешенность от чувствительности. Но так как он искал единственно кризиса, добивался, как средства исцеления, единственно конвульсий, то он упорно не замечал этих удивительных сумеречных состояний. Загипнотизированный идеей своего мирового флюида, этот отмеченный злосчастным роком человек, гипнотизируя, сам глядит только в одну точку и теряет в своей теории, вместо того, чтобы поступить согласно исполненному мудрости изречению Гете: «Существеннее всего понять, что все фактическое уже теория. Не следует искать чего-либо за явлениями, они сами — научная система». Таким образом Месмер упускает коренную мысль своей жизни, и то, что посеял отважный предтеча, достается, как жатва, другому. Решающий феномен «теневого стороны природы», гипнотизм открыт под носом у Месмера его учеником Пюисе-гюром. И, строго говоря, месмеризм назван по Месмеру столь же относительно несправедливо, как Америка по Америго Веспуччи.

Последствие этого одного, на первый взгляд ничтожного наблюдения из лаборатории Месмера выявилось в дальнейшем, как с трудом поддающееся обозрению. В короткий срок пределы наблюдения раздвинулись вовнутрь, открылось как бы третье измерение. Ибо после того, как на опыте этого простого деревенского парня из Бюзанси установлено, что в области человеческого мышления существует между черным и белым, между сном и бодрствованием, между разумом и инстинктом, между волей и насилием над ней, между сознательным и бессознатель-

ным множеством скользящих, неустойчивых, переходящих состояний, положено начало дифференциации в той области, которую мы именуем душой. Указанный выше, сам по себе в высшей степени незначительный эксперимент неопровержимо свидетельствует, что даже самые необычные, на первый взгляд метеорически возникающие в пространствах природы психические явления подчиняются вполне определенным нормам. Сон, доселе воспринимавшийся только как отрицательная категория, как отсутствие бодрствования и потому как черный вакуум, обнаруживает в этих вновь открытых промежуточных степенях сна наяву и бодрствования во сне, как много тайных сил находятся во взаимодействии друг с другом в человеческом мозгу, за пределами сознательного разума, и что как раз через отвлечение контролирующего сознания проступает явственнее жизнь души, — мысль, здесь лишь робко намечаемая, но которая через сто лет получает творческое развитие в психоанализе. Все психические явления приобретают благодаря этому переключению на подсознание совершенно другой смысл; несчетное количество творческих мыслей врывается в дверь, открытую не столько знающей человеческой рукой, сколько случаем; — «благодаря месмеризму мы впервые вынуждены подвергнуть исследованию явления сосредоточенности и рассеянности, усталости, внимания, гипноза, нервных припадков, симуляции, и все они, будучи объединены, образуют современную психологию» (Пьер Жане). Впервые получает человечество возможность логически осмыслить многое, что считалось до сих пор сверхестественным и чудесным.

Это неожиданное расширение внутренней сферы в результате незначительного наблюдения Пюисегюра тотчас же вызывает безмерное воодушевление современников. И не легко воспроизвести то почти жуткое по быстроте своей воздействие, которое оказал на всех образованных людей Европы «месмеризм», как первая стадия познания доселе таинственных явлений. Только что Монгольфье добился владычества над эфиром и наново открыт Лавуазье химический строй элементов; теперь удался первый прорыв в области сверхчувственного; неудивительно, что все поколение проникнуто чрезмерно-смелой надеждой — вот-вот раскроется, наконец, полностью изначальная тайна души.

Поэты и философы, эти вечные геометры в области духа, первыми проникают на новые континенты, едва только открытые, неведомые дотоле берега; смутные предчувствия предсказывают им, как много скрытых кладов можно разыскать на этих глубинах. Уже не в рощах друидов, не в пещерах феи и кухнях ведьм ищут романтики романтического и необычайного, а в этих новых подлунных областях между сном и явью, между волею и вынужденным безволием. Из всех немецких писателей больше всех заворожен этой «теневой стороной природы» самый сильный, самый дальнзоркий, Гейнрих фон-Клейст. Так как его по природе влечет ко всякой бездне, то он всецело отдается радости творчески опускаться в эти глубины и художественно отображать самые головокружительные состояния на границе между сном и явью. Одним взмахом, со свойственной ему порывистостью, проникает он сразу же вплоть до глубинных тайн психопатологии. Никогда не было сумеречное состояние изображено гениальнее, чем в «Маркизе О.», никогда явления сомнамбулизма не воспроизведены столь совершенно, с клинической точки зрения, и вместе с тем дифференцировано, как в «Кетхен фон Гейльброн» и в «Принце Гомбургском». В то время как Гете, тогда уже осторожный, лишь издали, с сдержанным любопытством следит за новыми открытиями, романтическая юность бурно, вплотную к ним подступает. Э. Т. А. Гофман, Тик и Brentano, в философии Шеллинг, Гегель, Фихте со всею страстью примыкают к этому, сулящему переворот учению, Шопенгауэр усматривает в месмеризме решающий аргумент в пользу доказываемого им примата воли над чистым разумом. Во Франции Бальзак в «Луи Ламбере», самой лучшей из своих книг, дает прямо-таки биологию мирообразующей силы воли и жалуется, что не все еще прониклись величию месмеровского открытия — «si importante et si mal appréciée encore».¹ По ту сторону океана Эдгар Аллан По творит, в кристаллической ясности, классическую новеллу гипноза. Мы видим: повсюду, где наука пробивает брешь в мрачной стене вселенской тайны, тотчас же устремляется, как светящийся газ, фантазия поэтов и оживляет вновь открытые области образами и

¹ «Столь значительного и так мало еще оцененного».

явлениями, всегда — и Фрейд тому пример в наши дни — с обновлением психологии возникает и новая психологическая литература. И будь каждое слово, каждая теория, каждая мысль Месмера стократно неверны (что весьма еще сомнительно), то все же он более творчески, чем все ученые и исследователи его эпохи, указал путь новой и давно необходимой науке тем, что приковал взор ближайшего поколения к тайне психики.

Дверь распахнута, свет устремляется в пространство, никогда еще не освещавшееся чьею-либо сознательною волею. Но происходит то, что всегда: чуть только где-либо открывается доступ к новому, как вместе с серьезными исследователями проникает туда же целая свора любопытных, мечтателей, дураков и шарлатанов. Ибо, священным и вместе опасным образом, присуще человечеству заблуждение, — что оно одним порывом и прыжком может перешагнуть границы земного и приобщиться к мировой тайне. Если область познания раздвигается для него хоть на один вершок, то оно в самоуверенном своем недовольстве уже надеется, что в его руках, вместе с этим единичным знанием, и ключ к целому. Так и здесь. Как только открыт факт, что в состоянии искусственного сна загипнотизированный может отвечать на вопросы, начинают верить, что медиум может отвечать на все вопросы. С весьма опасной торопливостью люди, видящие во сне, объявляются ясновидящими, сон на яву отождествляется с пророческим сном. Полагают, что в таком замороженном человеке просыпается другое, более глубокое, так называемое «внутреннее чувство». «В магнетическом ясновидении тот дух инстинкта, который направляет птицу за море, в никогда невиданные страны, который побуждает насекомое к пророческому действию во имя потомства, еще не рожденного, обретает вытнный язык; он дает ответы на наши вопросы». (Шуберт.) Не знающие меры приверженцы месмеризма объявляют дословно, что в состоянии кризиса сомнамбулы могут видеть будущее, их чувства могут обостряться в любом направлении, на любое расстояние. Они могут прорицать и предсказывать, видеть в этом состоянии, благодаря интроспекции (особый род самосозерцания), сквозь свое и чужое тело и безошибочно определять таким способом болезни. Будучи в трансе, они,

никогда не учившись, могут говорить по-латыни, по-еврейски, по-арамейски и по-гречески, называть неведомые им имена, шутя решать труднейшие задачи; брошенные в воду, сомнамбулы не идут будто бы ко дну; в силу дара прорицания они способны читать книги, положенные им, в закрытом и запечатанном виде, на голое тело, при помощи «сердечной ямки»; они могут вполне отчетливо созерцать события, происходящие в других частях света, раскрывать в своих снах преступления, совершенные десятки лет назад, — короче, нет столь нелепого фокуса, который не мог бы быть приписан чудесным способностям медиумов. Отводят сомнамбул в погреба, где по слухам скрыты сокровища, и зарывают их по грудь в землю, чтобы при помощи их медиумического чутья найти золото и серебро. Или ставят их с завязанными глазами посреди аптеки, чтобы они в силу своего «высшего» чувства нашли правильное лекарство для больного, и вот, среди сотен лекарств, они вслепую выбирают единственно благотворное. Самые невероятные вещи приписываются, без всякого колебания, медиумам; все оккультные явления и методы, донныне еще занимающие наш трезвый мир, ясновидение, чтение мыслей, спиритическое вызывание духов, телепатические и телепластические художества — все это имеет началом фанатичный интерес той поры к «теневой стороне природы». Проходит некоторое время, и появляется новое ремесло — профессионального медиума. И так как медиум ценится тем дороже, чем более поразительные откровения от него исходят, то карточные шулеры и симулянты, при помощи трюков и обмана, взвинчивают свои «магнетические» силы, пользуясь случаем, до невероятных пределов. Как раз в месмеровские времена начинаются знаменитые спиритические беседы, по вечерам, в затемненных комнатах, с Юлием Цезарем и апостолами; энергично вызывают и воплощают духов. Все легковверные, все болтуны и люди с извращенной религиозностью, все полупоэты, как Юстинус Кернер, и полуученые, как Эннемозер и Кляге, громоздят в области сна на яву одно чудо за другим; поэтому в высшей степени понятно, что перед лицом их шумливой и часто неуклюжей взвинченности наука сначала недоверчиво пожимает плечами и в конце концов сердито отворачивается. Постепенно, на протяжении

девятнадцатого столетия месмеризм становится констине скомпрометированным. Слишком большой шум вокруг какой-либо мысли всегда делает ее невразумительной, и ничто не оттесняет всякую творческую идею, в ее воздействии, назад, в прошлое, более роковым образом, чем доведение ее до крайности.

ВОЗВРАТ В ЗАБВЕНИЕ

Бедный Месмер! Никто не удручен шумным вторжением названного по его имени месмеризма более, чем он сам, ни в чем неповинный родоначальник этого имени. Там, где он честно старался насадить новый метод врачевания, топчет теперь и бушует вакхический рой ни над чем не задумывающихся некромантов, джемагов и оккультистов, и благодаря злосчастному наименованию «месмеризм» он чувствует себя ответственным за моральную потраву. Напрасно этот без вины виноватый отбивается от непрощенных последователей: «В легкомыслии, в неосторожности тех, кто подражает моему методу, заключается источник множества направленных против меня предубеждений». Но как изобличить извратителей своего собственного учения? С 1785 года «жизненный магнетизм» Месмера застигнут и насмерть сражен месмеризмом, его буйным и незаконным порождением. То, чего не могли добиться соединенными силами врачи, Академия и наука, благополучно свершили его шумные и неистовые последователи: на десятки лет вперед Месмер объявлен ловким фокусником и изобретателем рыночного шарлатанства. Напрасно протестует, напрасно борется два-три года живой человек, Месмер, против недоразумения, именуемого месмеризмом, — заблуждение тысяч людей значит больше, чем правота одного, единственного. Теперь все против него: его враги — потому что он зашел слишком далеко, его друзья — потому что он не участвует в их крайностях, и прежде всего отступает от него столь благожелательное доселе время. Французская революция одним взмахом оттирает в забвение его десятилетний труд. Массовый гипноз, более неистовый, чем конвульсии у бакета, потрясает всю страну; вместо магнетических сеансов Месмера гильотина практикует свои безошибочные стальные сеансы. Теперь

у них, у принцев и герцогинь и аристократических философов, нет больше времени остроумно рассуждать о флюиде; пришел конец сеансам в замках, и сами замки разрушены. Друзей и врагов, королеву и короля, Байльи и Лавуазье сражает та же отточенная секира. Нет, миновала пора философских тревожений по поводу лечебной магии и ее представителя, теперь мир помышляет только о политике и прежде всего о собственной голове. Месмер видит, что его клиника опустела, бакет покинут, с трудом заработанный миллион франков расплылся в ничего не стоящие ассигнации; ему остается только голая, ничем не прикрытая жизнь, да и той, повидимому, угрожает опасность. Вскоре судьба его германских соотечественников, Тренка, Клотца и Адама Люкса, научит его, как слабо держится на туловище во время террора чужеземная голова, и подскажет, что немцу правильнее переменить место жительства. И вот Месмер замыкает свой дом и, в конце обедневший и забытый, бежит в 1792 году из Парижа от Робеспьера.

Nis incipit tragoedia. ¹ В короткий срок лишившись славы и богатства, одинокий и достигший пятидесяти восьми лет, покидает усталый, разочарованный человек арену своих европейских триумфов, не зная, что начать и куда преклонить голову. Мир не нуждается больше в нем, не хочет почему-то его, его, кого еще вчера они встречали как спасителя и осыпали всевозможными почестями и знаками внимания. Не разумнее ли будет ожидать теперь лучших времен на родине, в тиши Боденского озера? Но он вспоминает, что у него есть еще дом в Вене, доставшийся ему после смерти жены, чудесный дом на Загородной улице; там надеется он найти желанный покой в старости и для научных занятий. Пятнадцати лет, полагает он, достаточно, чтобы и самая пылкая ненависть улеглась. Старые врачи, когда-то недруги, давно уже в могиле, Мария Терезия умерла, а за нею и два императора, Иосиф II и Леопольд, — кто вспомнит теперь о злополучном приключении с дивидей Парадиз!

Так верит он, состарившийся человек, что в праве надеяться на покой в Вене. Но у достохвальной придворной

¹ Здесь начинается трагедия.

полиции в Вене хорошая память. Едва прибыв на место, 14 сентября 1793 года, «пользующийся дурной славой врач» доктор Месмер вызывается в полицию, и там его спрашивают о «предшествующем местопребывании». Так как он заявляет, что был только в Констанце и в «тамошней местности», то от фрейбургского магистрата запрашиваются «соответствующие данные» о его «предсудительном образе мыслей»; староавстрийский служилый конь начинает ржать и пускается рысью. От констанцского бургомистра получают, к сожалению, благоприятные сведения, — что Месмер вел себя там «безупречно и жил весьма одиноко» и что никто ничего не заметил «в отношении ошибочно-опасных утверждений». Таким образом, приходится подождать, чтобы потом, как в свое время, после случая с девицей Парадиз, крепче затянуть петлю. Действительно, проходит некоторое время, и затевается вскоре новое дело. В доме Месмера живет, в саду на виллоне, принцесса Гонзаго. В качестве вежливого, благовоспитанного человека, д-р Месмер делает своей квартирантке официальный визит. Так как он вернулся из Франции, то принцесса заводит, конечно, разговор о якобинцах — и в тех же выражениях, которыми пользуются в соответствующих кругах, говоря о русских революционерах. В возмущении своем она трактует — я цитирую дословно, по тайному донесению на французском языке — «ces gueux comme des régicides, des assassins, des voleurs». ¹ И вот Месмер, хотя и сам бежавший от террора и потерявший из-за революции все состояние, находит, в качестве человека мыслящего, такого рода определения для крупного события в истории мировой культуры несколько упрощенными и говорит в том примерно смысле, что люди эти боролись все же, в конце концов, за свободу и лично не являются ворами, они обложили налогами богатых в пользу государства, и что, в конце концов, и император тоже вводит налоги. Бедная принцесса Гонзаго почти лишается чувств. У нее в доме настоящий якобинец! Едва успел Месмер затворить за собой дверь, как она бросается с ужасающей новостью к своему брату, графу Рандони, и к гофрату Штупфелю; тотчас же ока-

¹ «Этих прощальг как царубниц, разбойников, воров».

зывается налицо (мы в старой Австрии) темная личность, именующая себя «кавалером» Десальер, которого полицейский рапорт обозначает, правда, как «некоего» Десальера (полиция могла бы и больше о нем знать). Этот сыщик усматривает великолепный случай заработать несколько банкнот и тотчас же пишет всепокорнейшее донесение в высочайшую канцелярию. Там тот же смертельный ужас у графа Коллорадо: якобинец в добром городе Вене! Как только возвращается с охоты его величество, богохранимый император Франц, ему с осторожностью сообщают страшное известие, что в его резиденции пребывает прѣврженец «французской разнузданности», и его величество тотчас же отдает приказ, чтобы учинено было строгое следствие. И вот 18 ноября несчастного Месмера отводят «избегая всяческой огласки» в особое арестное помещение при полиции.

Но еще раз приходится убедиться, как глупо верить с излишней поспешностью тайным донесениям. Секретное донесение полиции на имя императора хромает, оказывается, на обе ноги, ибо «выясняется из произведенного следствия, что Месмер не признал себя виновным в произнесении указанных, противных государству, речей и что таковые не доказаны установленным законом образом»; и довольно жалостно звучит предложение министра полиции, графа Пергена, в его «всеподданнейшем докладе» насчет того, что Месмера «следовало бы отпустить с настоятельным предостережением и строгим выговором». Что остается императору Францу, как не огласить «высочайшую резолюцию»: «Освободить Месмера из-под ареста, и так как таковой сам заявляет, что намерен в скорейшем времени отбыть отсюда в пределы своего месторождения, то следить за тем, чтобы таковой скорее отбыл и за время своего хотя бы и короткого пребывания не пускался ни в какие подозрительные речи». Но такое решение вопроса не слишком по нутру достохвальной полиции. Уже раньше министр доносил, что арест Месмера «имел последствием немалое возбуждение в ряду его сторонников, коих здесь у него достаточное количество», поэтому бояться, что Месмер подаст официальную жалобу по поводу незаконного с ним поступка. И вот полицейское управление сочиняет, с целью затушевать дело, *cad mandatum*

Excellentissimis¹ следующий документ, который достоин занять место в музее в качестве образца староавстрийского приказного стиля: «В виду того, что освобождение Месмера не может почитаться доказательством его невиновности, ибо он искусным отрицанием произнесенных им, согласно имеющимся показаниям, предосудительных речей отнюдь не очистился в полной мере от тяготеющего над ним подозрения и избегнул, в соответствии с сим, прямого объявления consilii abeundi², лишь поскольку сам настоятельно представил о своем намерении отбыть без задержки, то следует дать знать о том, чтобы печатание не имело места, и что Месмер поступил бы правильно, отказавшись от официального оправдания и тем паче признав мягкость, каковая в обращении с ним проявлена». Таким образом, «печатание», обнародование не состоялось, дело затушевывается и притом так основательно, что в течение ста двадцати лет никто не знал о вторичном изгнании Месмера из Вены. Но факультет в праве быть довольным: теперь навсегда покончено в Австрии с неприятным медиком.

Куда же теперь, старик? Состояние потеряно, на родине, в Констанце, подстерегает императорская полиция, во Франции свирепствует террор, в Вене ждет тюрьма. Война, — непрекращающаяся, безжалостная война всех наций против каждой бьется о границы — и переливается через них. И от этого сумасшедшего мирового грохота ве по себе ему, старому, испытанному исследователю, этому обвинявшему, забытому человеку. Он хочет только покоя и куска хлеба, чтобы продолжать начатое им дело в новых и новых опытах и явить, наконец, человечеству свою излюбленную идею. И вот Месмер спасается в вечное убежище интеллектуальной Европы, в Швейцарию. Он поселяется в одном из небольших кантонов, в Фрауэнфельде, и, чтобы поддержать жизнь, занимается скудной практикой. Десятки лет живет он во мраке, и никто в крохотном кантоне не подозревает, что седоволосый тихий человек, упражняющийся во врачебном искусстве над крестьянами, сыроварами, жнецами и служаками, —

¹ «По поручению превосходительнейшего».

² Совет удалиться.

тот самый доктор Франц Антон Месмер, с которым боролись и которого привлекали на свою сторону императоры и короли, в комнатах которого теснилось дворянство и рыцарство Франции, на которого шли войною все академии и факультеты Европы и чьей системе посвящены сотни печатных трудов и брошюр,—вероятно больше, чем кому-либо другому из современников, включая Руссо и Вольтера. Никто из прежних учеников и последователей не посещает его, и, вероятно, за все эти годы пребывания во мраке никто не узнал о месте его жительства, — так притаился этот одинокий человек в тени небольшой, отдаленной горной деревушки, где он провел, непрестанно работая, трудные годы наполеоновской эпохи. Едва ли во всей мировой истории найдется пример столь стремительного падения с гребня шумной славы в бездну забвения и неизвестности; едва ли в чьей-либо биографии полнейшее исчезновение из мира находится в такой близости к поражающим триумфам, как в этой замечательной и, можно сказать, единственной судьбе, судьбе Франца Антона Месмера.

И ничто не выявляет лучше характер человека, чем испытание золотом успеха и огнем неудачи. Чуждый наглости и хвастовства в период своей безмерной славы, этот стареющий среди полного забвения человек проявляет величественную скромность и полноту стоической мудрости. Не оказывая никакого сопротивления, можно сказать, почти охотно отходит он назад, во мрак, и не делает ни малейшей попытки еще раз обратить на себя внимание. Напрасно двое-трое из оставшихся верными ему друзей зовут его в 1803 году, то есть через десять лет его затворнической жизни, назад в Париж, уже успокоившийся и в ближайшем будущем императорский, с тем, чтобы он снова открыл там клинику, собрал вокруг себя новых учеников. Месмер отклоняет их предложение. Он не хочет больше споров, грызни и разглагольствований; он заронил свою идею в мир, пусть она плывет по течению или потонет. В благородном отречении он отвечает: «Если, несмотря на мои усилия, мне не досталось счастье просветить своих современников относительно их собственных интересов, то я внутренне удовлетворен тем, что я исполнил свой долг в отношении общества». Лишь для самого себя, в тишине и неизвестности, вполне анонимно продолжает он

свои опыты и не спрашивает больше, значат ли они что-либо для шумного или равнодушного мира; будущее, а не это время, — так предчувствует он пророчески, — отдаст дань справедливости его трудам, и лишь после его смерти идеи его начнут жить. Ни тени нетерпения в его письмах, ни следа жалоб на угасшую славу, утраченное богатство — одна лишь тайная уверенность, лежащая в основе всякого великого терпения.

Но лишь слава земная может угаснуть как свеча, живая же мысль не угасает. Брошенная однажды в сердце человечества, она и в самую неблагоприятную эпоху выживает, чтобы потом расцвести неожиданно; ни один порыв не пропадает для вечно любопытствующего духа науки. Революция, наполеоновские войны разбросали во все стороны сторонников Месмера и остановили приток последователей; и, рассуждая поверхностно, можно было думать, что незрелый еще посев растоптан безнадежно поступью военных легионов. Но вопреки мировой сутолоке, в полной тайне, незаметно для самого, забытого всеми Месмера, живет и развивается его первоначальное учение в среде немногих молчаливых приверженцев. Ибо, удивительным образом, именно военное время усиливает у вдумчивых натур потребность искать прибежища от буйства и насилия окружающего мира в области духа; прекраснейшим символом истинного ученого на вечные времена остается Архимед, который, не отвлекаясь ничем, продолжает чертить свои круги, в то время как банда солдат врывается в его дом. Подобно тому как Эйнштейн в разгаре последней мировой войны выводит, не смущаясь озверелостью эпохи, свой, вселенную преобразующий, отвлеченный принцип, так в период, когда наполеоновские войска маршируют по всей Европе и географическая карта ежегодно меняет окраску, когда дюжинами лишаются престолов короли и новые короли создаются дюжинами, несколько скромных врачей размышляют в отдаленнейших провинциях над положениями Месмера и Пюисегюра и развивают их в его духе дальше, как бы укрывшись под сводами своей сосредоточенности. Все они работают, по отдельности, во Франции, в Германии, в Англии, в большинстве ничего друг о друге не знают; никто не знает об исчезнувшем Месмере, и Месмер о них — тоже ничего.

Свободные в своих утверждениях, осторожные в выводах, испытывают они и проверяют описанные Месмером явления, и каким-то подпольным путем, через Страсбург и при помощи писем Лафатера из Швейцарии новый метод проникает дальше. В особенности возрастает интерес в Швабии и в Берлине; знаменитый Гуфеланд, лейб-медик при прусском дворе и член всех ученых комиссий, лично воздействует на короля. И вот, особым королевским указом назначается, наконец, комиссия для повторной проверки магнетизма.

В 1775 году Месмер впервые обратился в Берлинскую Академию, — и мы помним, с каким жалостным результатом. Теперь, почти сорок лет спустя, в 1812 году, когда то же учреждение берется за проверку месмеризма, Месмер, выдвинувший проблему, забыт так основательно, что при слове месмеризм никто уже не думает о Франце Антоне Месмере. Комиссия поражена, когда один из ее сочленов вносит неожиданно, в одном из заседаний, вполне естественное предложение — вызвать в Берлин самого изобретателя магнетизма, Франца Антона Месмера, чтобы он обосновал и разъяснил свой метод. Как, изумляются они. Франц Антон Месмер еще жив? Но почему же не проронит он ни слова, почему не выступит гордо и с триумфом теперь, когда его ждет слава? Никто не может понять, почему великий, всемирно известный человек так скромно и незаметно отошел назад, в забвение. Тотчас же кантонному врачу во Фрауэнфельде посылается настоятельное приглашение — почтить Академию своим посещением. Его ждет аудиенция у короля, внимание всей страны, возможно даже триумфальное восстановление доброго имени после стольких перенесенных несправедливостей. Но Месмер отказывается, — он слишком стар, слишком устал. Он не хочет возвращаться к спорам. И вот в сентябре 1812 года посылается к Месмеру, в качестве королевского эмиссара, профессор Вольфарт с полномочиями просить изобретателя магнетизма, господина д-ра Месмера о сообщении всех данных, которые могут служить к ближайшему установлению, описанию и уяснению этого важного дела, и с тем чтобы содействовать в этой поездке достижению целей комиссии».

Профессор Вольфарт тотчас же уезжает. И по проше-

ствии тридцати лет таинственного молчания мы получаем, наконец, известие об этом исчезнувшем человеке. Вольф-арт сообщает: «Мне пришлось, при первом же личном знакомстве с изобретателем магнетизма, убедиться, что ожидание мое превзойдено. Я застал его в кругу той благотворной деятельности, которой он себя посвятил. В его преклонном возрасте тем более удивительными показались мне широта, ясность и проникновенность его ума, неутомимое и живое рвение, направленное к разъяснению вопроса, его столь же простой, сколь исполненный задуманности и крайне своеобразный благодаря удачным сравнениям доклад, а также изящество его манер и любезное обхождение. Если добавить к этому целую сокровищницу положительных знаний во всех отраслях науки, какие не легко встретить, в их совокупности, у ученого, и благожелательную мягкость сердца, сказывающуюся во всем его существе, в словах, поступках и во всем окружении, если учесть притом могучую, почти чудесную силу воздействия на больных при помощи пронизательного взора или всего только путем спокойного поднятия руки, — и все это еще усиленное обаянием благородной, внушающей почти-тельное чувство фигуры, то вот, в главных чертах, картина того, что я встретил в Месмере как в личности». Без всякой утайки раскрывает Месмер посетителю свой опыт и свои идеи, он предоставляет ему принять участие в лечении больных и передает профессору Вольфарту все свои заметки, чтобы он сохранил их для потомства. Но всякую возможность выдвинуться, привлечь на себя внимание он отклоняет с поистине великолепным спокойствием. «Так как нить моей жизни близится к концу, то для меня нет дела более важного, чем посвятить остаток своих дней исключительно практическому применению того средства, в огромной пользе которого убедили меня мои наблюдения и опыты, с тем чтобы мои последние труды умножили число фактических данных». Таким образом, нам неожиданно досталась зарисовка преклонных лет этого замечательного человека, который прошел все стадии славы, ненависти, богатства, бедности и наконец забвения, с тем чтобы в полном убеждении относительно стойкости и значения своего жизненного труда, спокойно и величественно пойти навстречу смерти.

Его последние годы — годы человека, исполненного мудрости, искущенного и просветившегося духом исследователя. Материальные заботы не гнетут его, так как французское правительство назначило ему пожизненную ренту в возмещение миллиона франков, обесцененного падением государственных бумаг. И вот, независимый и свободный, он может вернуться на родину, к Боденскому озеру, и символически замкнуть круг своего существования. Так живет он наподобие мелкого помещика-дворянина, единственно ради своей склонности, и эта склонность до кончины его все та же: служить науке и исследованию при помощи новых и новых опытов. Сохраняя ясность зрения, точность слуха и живость ума вплоть до последнего мгновения, он применяет свою магнетическую силу ко всем, кто с доверием к нему обращается; часто отправляется он на лошади, в коляске, в дальний путь, чтобы взглянуть на интересного больного и, возможно, помочь ему при посредстве своего метода. В промежутках он производит физические опыты, строит модели и чертит, и никогда не пропускает еженедельного концерта у князя Дальберга. В этом музыкальном кружке все, кто с ним встречается, превозносят исключительную, универсальную эрудицию этого, всегда прямо держащегося, всегда невозмутимого и величественно-спокойного старца, с мягкой улыбкой рассказывающего о своей былой славе и говорящего без всякой злобы и горечи о самых пламенных и яростных своих противниках. 5 марта 1814 года, в восьмидесятилетнем возрасте, почувствовав приближение конца, он просит, чтобы ему сыграли на его любимой стеклянной гармонике. Это все тот же инструмент, на котором пробовал свои силы юный Моцарт в его доме на Загородной улице, тот самый, из которого извлекал в Париже новые и неведомые мелодии Глюк, тот инструмент, что сопровождал его на всех путях и распутиях и теперь проводил в смерть. Его миллионы рассеялись, слана поблекла; от всего шума, от всех распрей и разговоров по поводу его учения престарелому отшельнику ничего не осталось, кроме этого инструмента и любимой его музыки. Так, с непоколебимой верой в то, что он возвращается к гармонии, в мировую сущность, уходит как истинный мудрец в смерть тот, кого ненависть представила нам

шарлатаном и пустословом, и его завещание трогательно свидетельствует о стремлении к полной безвестности; он хочет, чтобы его похоронили, как хоронят других, без всякой пышности. Это последнее желание выполнено. Ни в одной газете нет известия о его кончине. Как человека, никому неведомого, предали земле на чудесном кладбище в Мерсбурге, где покоится и Дросте-Гюльсгоф, старца, слава которого гремела когда-то в мире и которого труды, намечающие пути в будущее, лишь в наше время становятся доступными пониманию. Друзья сооружают ему символический памятник в форме мраморного треугольника с мистическими знаками, солнечными часами и буссолью, которые должны аллегорически изображать движение во времени и пространстве.

Но такова уж судьба всего выдающегося — вечно возбуждаеь ненависть в людях: злые руки измазывают грязью и разрушают солнечные часы и буссоль, эти непонятные им знаки на могиле Месмера, — так же, как поступают невежественные писаки и исследователи с его именем. Годы проходят, пока снова, в недавнем времени, ставят на место, в пристойном виде, камень над его могилой; и вновь проходят годы, прежде чем более просвещенное потомство вспоминает, наконец, о его заглохшем имени и о роковой судьбе великого немецкого врача-предтечи.

ПРЕЕМНИКИ

Всегда возникает трагедия духа, когда изобретение гениальнее чем изобретатель, когда мысль, которую художник или исследователь хотят схватить, им не по силам и они вынуждены выпустить ее из рук в полуобработанной форме. Так было и с Месмером. Он ухватился за одну из важнейших проблем нового времени, не будучи в силах овладеть ею; он задал миру вопрос, и сам безнадежно мучился с ответом. Но избрав ошибочный путь, он все же оказался предтечей, пролагателем пути и пособником в достижении цели, ибо непреложный факт: все современные психотерапевтические методы и добрая часть психологических проблем имеют прямым начинателем этого человека, Франца Антона Месмера, который первый воочию доказал силу внушения, путем несколько примитивных, правда, и обходных практических приемов, но все-таки доказал, вопреки усмешкам, глумлению и презрительному невниманию чисто-механистической науки. Это одно возвышает его жизнь до подвига, его судьбу — до исторического события.

Месмер был первым образованным врачом нового времени, который выявил и в дальнейшем непрестанно вызывал вновь к жизни то воздействие, которое благотворным образом передается от лица, владеющего даром внушения, от его близости, речи, разговоров и приказаний нервной системе больных; он только не мог разъяснить его и видел еще в этой непонятной ему душевной механике средневековую магию. Ему (как и другим его современникам) недостает решающего понятия о внушении, о той психически-целебной передаче силы, которая совершается или воздействием воли на расстоянии, или через излучение некоего внутреннего флюида (по этому вопросу мнения и сейчас еще расходятся). Его ученики уже ближе подходят к проблеме, каждый по-своему: образуются две школы, так называемые

флюидистическая и анимистическая. Дёлез, представитель флюидистической теории, остается при мнении Месмера об излучении материальной нервной материи, особого вещества; подобно тому как спириты верят в телекинез и некоторые исследователи — в учение о силе «од», он полагает, что, действительно, возможно органическое выделение нашего телесного «личного» вещества. Анимистический последователь Месмера, Барбарен отрицает в свою очередь всякую передачу материи от магнетизера к магнетизируемому и видит только чисто психическое внедрение воли в чужое сознание. Поэтому он вовсе не нуждается в подсобной гипотезе Месмера о неподдающемся постижению флюиде. «Croyez et veuillez!»¹ вот и вся его волшебная формула — построение, которое в дальнейшем попросту перенимают Christian Science, Mind Cure² и Куэ. Но его психологическая теория все более и более проникается мыслью, что внушение — один из самых решающих факторов при всяком психическом взаимодействии. И этот процесс давления на волю, изнасилование воли, короче, процесс гипноза представляет, наконец, в 1843 года Брайд в своей «Невро-гипнологии» на экспериментальной основе и совершенно непреложно. Уже одному немецкому магнетизеру, Вингольту, бросилось в 1818 году в глаза, что его медиум засыпал скорее, когда на нем самом был скюртук с блестящими стеклянными пуговицами. Но этот не получивший образования наблюдатель не уловил тогда решающей связи, а именно, что благодаря такому отвлечению зрения при помощи блестящего предмета скорее наступает усталость внешнего чувства, а с нею и внутренняя податливость сознания. И вот Брайд впервые вводит в практику технический прием — сначала утомляет взор медиума при помощи небольших блестящих хрустальных шариков и лишь потом приступает к пассам; этим путем гипноз введен, наконец, в состав столь недоверчивой до сих пор науки, как действие техническое, чуждое всякой таинственности. Впервые решаются теперь во Франции университетские профессора применить в аудиториях — правда, по началу только к душевнобольным — опороченный и заклепанный гипнотизм: Шарко—

¹ «Верьте и желайте».

² Лечение духом.

в Сальпетриере, в Париже, Бергейм на факультете в Нанси. 13 февраля 1882 года Месмер удостоивается в Париже реабилитации (правда, при этом ни одним словом не вспоминают о несправедливо обойденном человеке): внушение, прежде именовавшееся месмеризмом, признается научно-обоснованным врачом тем факультетом, который сто лет держал его в опале. Теперь, после того как пробита дорога, психотерапия, столь долго теснимая, шагает от успеха к успеху. В качестве ученика Шарко поступает в Сальпетриер молодой врач-невропатолог Зигмунд Фрейд и знакомится там с гипнозом; он становится для Фрейда мостом, который тот впоследствии сожмет за собою, как только вступит в область психоанализа; и он, следовательно, в третьей ступени наследования, пожнет плоды брошенного Месмером как будто и в скудную землю посева. Столь же творчески действует месмеризм на религиозные и мистические движения Mind Cure и самовнушения. Никогда не могла бы Мери Бекер-Эдди обосновать свою Christian Science без знакомства с «veuillez et stouez», без терапии убеждения Квимби, который, в свою очередь, получил толчок от ученика Месмера Пуайена. Немыслим был бы спиритизм без впервые примененной Месмером цепи, без понятия транса и связанного с ним ясновидения, немыслима и Блаватская с ее теософским цехом. Все оккультные науки, все телепатические, телекинетические опыты, ясновидящие, вещающие во сне — все в конечном счете ведут свое начало от «магнетической» лаборатории Месмера. Совершенно новый род науки возникает из опроченного убеждения этого забытого человека — о том, что путем воздействия внушением можно подвинуть душевные силы больного на такие свершения, которые ни в какой мере недоступны средствам школьной медицины, — человека, честного в своих намерениях, правого в своих предчувствиях и лишь ошибшегося в попытке объяснить то важное, что он сам совершил.

Но может быть — мы стали осторожными в эпоху, когда одно открытие обгоняет другое, когда вчерашние теории блекнут за одну ночь и внезапно обновляются другие, насчитывающие века существования, — может быть, ошибаются даже и те, которые еще сегодня высокомерно именуют фантазией спорную идею Месмера о допускающем пере-

дачу, текущем от человека к человеку личном флюиде, ибо очень возможно, что последующий час мировой истории неожиданно превратит ее в истину. Мы, чьего слуха в ту же секунду, без провода и без мембраны, достигает слово, произнесенное в Гонолулу или в Калькутте, мы, которые знаем, что эфир пронизан невидимыми течениями и волнами, и охотно верим, что несчетное число таких силовых станций бесполезно и неведомо для нас работает во вселенной, мы поистине не столь смелы, чтобы предвзято отвергать теорию, согласно которой от живых покровов и возбужденных нервов исходят одаренные силою токи, подобные тем, которые Месмер недостаточно точно назвал «магнетическими», отрицать, что в отношениях человека к человеку действует может быть все же принцип, сходный с «жизненным магнетизмом». Ибо почему бы телу человеческому, близость которого возвращает угасшему жемчугу блеск и сияние жизненной силы, не развивать, действительно, в своем окружении ореола теплоты или излучений, действующих на нервы возбуждающе или успокаивающе? Почему бы, в самом деле, не возникать между телами и душами тайным течением и противотечением, не возникать между индивидуумом и индивидуумом притяжению и отталкиванию, симпатии и антипатии? Кто в этой области дерзнет на смелое «да» или дерзкое «нет»? Может быть уже завтра физика, работающая с все более и более тонкими измерительными приборами, докажет, что то, что мы сегодня воспринимаем просто как напор душевной силы, есть все же нечто вещественное, есть доступная созерцанию тепловая волна, нечто от электричества или от химии, энергия, допускающая взвешивание и измерение, и что нам придется вполне серьезно считаться с тем, над чем отцы наши улыбались, как над дурачеством. Возможно, возможно таким образом, что мысли Месмера о творчески-излучающейся жизненной силе суждено еще вернуться в мир, ибо что такое наука, как не непрестанное претворение в действительность древних грез человечества? Всякое новое изобретение раскрывает и подтверждает только чаяния одного человека, во все времена действию предшествовала мысль. Но история, слишком торопливая, чтобы быть справедливой, служит только успеху. Она превозносит только свершение, только победоносный конец, а не отважную, негодованием

и неблагодарностью отмеченную попытку. Только завершившего венчает она, а не начавшего; только победителя озаряет своим светом, а борца ввергает во тьму; так было и с Месмером, первым в ряду новых психологов, который бескорыстно подчинился вечному жребию пришедших слишком рано. Ибо все еще выполняется древнейший и варварский закон человечества — когда-то в крови, а нынче в духе — неумолимый закон, во все времена требовавший, чтобы первенцы приносились в жертву.

МЕРИ БЕКЕР-ЭДДИ

Oh the marvel of my life!
What would be thought of it,
if it was known in a millionth
of its detail? But this cannot
be now. It will take centuries
for this.

О чудо моей жизни! Что бы
подумали о ней, если бы знали
хоть миллионную долю ее по-
дробностей? Но сейчас этого
знать нельзя. Для этого пона-
добятся века.

*Мери Бекер-Эдди в письме
на имя мистрис Стетсон
(1893 г.).*

ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ

Наиболее таинственный миг у человека — осознание личной своей идеи, наиболее таинственный у человечества — зарождение религии. Мгновения, когда одна, единственная идея шумно переливается в сотни, тысячи и сотни тысяч, когда одна такая случайная искра разом вздымает к небу пламя от земли, как при степном пожаре, такие мгновения раскрываются неизменно как поистине мистические, великолепнейшие в истории духа. Но большей частью исходная точка таких религиозных течений в дальнейшем теряется. Она занесена прахом забвения, и как отдельный человек редко может вспомнить впоследствии решающие мгновения своей внутренней жизни, так и человечеству редко известны исходные мгновения его страстных верооущений.

Поэтому для тех, кто любит психологию масс и отдельных личностей, большое счастье, что мы имеем, наконец, возможность в непосредственной близости, шаг за шагом, проследить возникновение, развитие и распространение одного из мощных движений в области веры. Ибо *Christian Science*¹ возникла вплотную у порога нашего столетия, в атмосфере электрического света и асфальтовых дорог, в ярко-освещенную эпоху, не признающую уже никакой частной жизни и никаких тайн и с безжалостной точностью отмечающую, при помощи осведомительного аппарата журналистики, всякое движение. Говоря об этом новом, религиозном методе врачевания, мы впервые можем, день за днем, проследить кривую его развития, по договорам, процессам, чековым книжкам, банковским счетам, закладным и фотографическим снимкам, впервые можем подвергнуть проработке в психологической лаборатории чудо или элементы чудесного в массовом внушении. И то обстоятель-

¹ Христианская наука.

ство, что в истории Мери Бекер-Эдди невероятная сила широкого, можно сказать мирового воздействия исходит из младенческой в философском отношении и до жути простой идеи, что здесь действительно песчинка интеллекта приводит в движение лавины, именно это ненормальное соотношение делает чудо мирового ее успеха еще более чудесным. Если в наши дни другие великие движения в области веры — изначально-христианский анархизм Толстого или непротivление Ганди — имеют на мильон людей связующее или возбуждающее влияние, то мы можем все-таки постигнуть этот процесс переливания в тысячи чужих душ, а то, что постижимо непосредственно умом, не производит, в конечном счете, впечатления чудесного. У этих гигантов мысли сила исходит от силы, мощное действие — от мощного побуждения. Толстой, этот великолепный ум, этот гений художественного созидания, дал, собственно говоря, только свое живое слово, свою образующую силу неоформленной, присущей русскому народу идее борьбы с авторитетом государства; Ганди, в конце концов, всего только формулировал наново-активно изначальную пассивность своей расы и ее религий; оба строили на основе издавна-существующих воззрений, обоих несло течением времени. Про обоих можно сказать, что не они выразили мысль, но мысль, прирожденный гений их нации выразились в них; и поэтому не чудом, но скорее абсолютной противоположностью чуду, то есть строго логическим и закономерным актом является то, что учение их, однажды формулированное, захватило мильоны. Но кто такая Мери Бекер-Эдди? Какая-то женщина, какая то, ни прекрасная, ни увлекательная, не вполне правдивая, не вполне умная, притом еще полу- или на четверть образованная, изолированная анонимная личность без какого-либо унаследованного положения, без денег, без друзей, без связей. Она не опирается ни на какую группу, ни на какую секту; в руках у нее только перо, а в мозгу, в высшей степени посредственном, одна мысль, одна единственная. С первого же мгновения все против нее: наука, религия, школа, университеты и, мало того, природный житейский разум, «common sense»; для ее абстрактного учения ни одна страна не кажется с первого взгляда столь неблагоприятной, как ее родина, Америка, самая деловитая, самая крепкая нервами и наименее склон-

ная к мистике нация. Всем этим преградам ей нечего противопоставить, кроме своей твердой, упрямой, почти до глупости упрямой веры в эту самую веру, и единственно благодаря этой маниакальной одержимости она совершает невероятное. Успех ее абсолютно нелогичен. Но ведь как раз неправдоподобное и является наиболее явным симптомом чудесного.

У ней, у этой туголобой американки, нет ничего, кроме одной единственной и к тому же весьма спорной мысли, но она только ею и занята, у ней это одна только исходная точка. И за нее она держится, крепко упершись ногами в землю, недвижно, непоколебимо, глухая ко всяким доводам; и своим ничтожным рычагом выворачивает землю из устоев. В двадцать лет она из метафизической путаницы создает новую систему лечения, целую науку, в которую уверовали и которой посвятили себе миллионы приверженцев, с особыми университетами, журналами, преподавателями и учебниками, создает церкви с гигантским мраморным собором, целый сонм проповедников и жрецов, и для себя самой — личное состояние в три миллиона долларов. Но сверх всего этого она, именно благодаря крайнему заострению своей идеи, дает толчок всей современной психологии и обеспечивает себе свою, отдельную страницу в истории этой науки. По силе действия, по быстрому успеху, по числу последователей эта полубразованная, полунинтеллигентная, только наполовину здоровая и с двусмысленным характером, старая женщина превзошла всех вождей и мыслителей нашего времени; никогда еще в близкую нам эпоху не исходило от одного, единственного человека среднего масштаба столько интеллектуального и религиозного беспокойства, как от поразительной личности этой американки, дочери фермера, «the most daring and masculine, and masterful woman, that has appeared on earth in centuries», ¹ как выражается о ней, в негодовании, ее соотечественник Марк Твен.

Фантастическая жизнь Мери Бекер-Эдди описана дважды, причем налицо полное противоречие в обоих случаях. Существует официальная биография, одобренная церковью,

¹ «Самая дерзкая, мужеподобная и властная женщина из всех, какие появлялись на земле на протяжении веков».

освященная духовным авторитетом руководителей «Christian Science»; ее «pastor emeritus», то есть сама Мери Бекер-Эдди собственноручной надписью рекомендовала ее общине верующих — слишком верующих; казалось бы, биография эта, составленная мисс Сибил Вильбер, должна быть, в таком случае, безусловно правдивой; на самом деле она является образцом византийской разукрашенности. В этой биографии, которая, для ободрения и укрепления и без того уже крепких верою, написана Сибил Вильбер «в стиле Евангелия от Марка» — я цитирую дословно — изобретательница Christian Science является в ореоле святой и в алорозовом озарении (поэтому в настоящем очерке я каждый раз именую ее для краткости алорозовой биографией). Исполненная божественной благодати, одаренная сверхземной мудростью, посланница небес, воплотившая в себе все совершенства, Мери Бекер-Эдди в незапятнанной чистоте предстает нашему недостойному взору. Все, что она делает, благо, все добродетели, упоминаемые в молитвеннике, ей приписываются, характер ее расцветает в семи цветах радуги как благодатный, женственный, христоролюбивый, материнский, любвеобильный, скромный и сотканный из кротости; все ее противники, наоборот, оказываются тупыми, низкими, завистливыми, порочными, пораженными слепотою людьми. Короче, нет ангела ее чище. Со слезою в растроганном взоре любитесь благочестивая ученица созданным ею образом святой, в котором тщательно заретушированы все черты земного (а следовательно, и характерного для нее). И вот, на это приторное отображение решительно замахивается составительница другой биографии, мисс Мильмайн, вооружившись суковатой дубиной документов; она орудует при помощи черного цвета столь же последовательно, как первая при помощи розового. У нее великая изобретательница оказывается самой обыкновенной плагиаторшей, выкрадшей всю свою теорию из письменного стола ничего не подозревавшего предшественника, патологической лгуней, злобной истеричкой, расчетливой спекулянткой, отъявленной мергерой. С удивительным усердием чисто репортерского свойства притянуты к делу все свидетельства, которые могут резко подчеркнуть черты ее лицемерия, лживости, пронырливости и грубой деловитости, а также выявить то смешное

и бессмысленное, что заключается в ее учении. Само собою разумеется, биография эта общиною Christian Science столь же яростно преследуется, сколь страстно превозносится другая, алорозовая. И каким-то необычайно таинственным образом все ее экземпляры исчезли из продажи (также как пропала с витрин у большинства книготорговцев другая, недавно вышедшая биография, написанная Франком А. Дэкинзом).

И вот евангелие и памфлет, цветà алорозовый и густо-черный оказываются в резкой оппозиции друг другу. Но странно: для беспристрастного наблюдателя действие обеих книг в данном психологическом случае удивительным образом взаимозаменяется. Как раз биография мисс Мильмайн, решившейся во что бы то ни стало представить Мари Беккер-Эдди в смешном виде, придает ей в наших глазах психологический интерес; и именно алорозовая биография, с ее плоским, не знающим меры обожествлением, делает эту безусловно интересную женщину смешной. Ибо обаяние этой сложной души и заключается единственно в смешении противоположных предрасположений, в неподражаемой переплетенности духовной наивности и практического финансового смысла, в небывалом доселе сочетании истерии и расчета. Так же, как уголь и селитра, вещества совершенно различные, будучи смешаны в правильном соотношении, дают порох и развивают громадную взрывчатую силу, так и здесь, благодаря небывалому смешению дарований мистических и коммерческих, истерических и психологических, возникает невероятная напряженность; и может быть Америка, со всеми своими Фордами и Линкольнами, Вашингтонами и Эдисонами не создавала еще типа личности, который так наглядно выражал бы сочетание американского идеализма и американского делового смысла, как Мари Беккер-Эдди. Правда, я согласен, — в каррикатурном искажении, с оттенком духовного донкихотства. Но также как Дон Кихот в мечтательной своей одержимости, в нелепом своем невежестве, вопреки всему, представил миру идеализм испанских идалго более выпукло, чем все, даже серьезно задуманные рыцарские романы его поры, так и эта героически-нелепо выступающая во имя абсурдной идеи женщина дает нам об американской романтике лучшее понятие, чем официально-академический идеализм какого-ни-

будь Вильяма Джемса. Во всяком Дон Кихоте, вооружившемся во имя абсолютного, есть — мы давно это знаем — нечто от неумного, от свихнувшегося, и за ним неизменно плетется на добром своем осле вечный Санчо-Панса, вульгарный человеческий рассудок. Но так же, как рыцарь Ламавский открыл в сожженной солнцем кастильской равнине волшебный шлем Мамбрина и остров Баратарю, так и эта крепко скроенная, глухая к школьной выучке женщина из Массачузетса открыла-таки среди небоскребов и фабрик, в самом центре мира цифр, биржевых курсов, банков, трестов и расчетов, царство Утопии. И тот, кто вновь и опять научает мир новому безумию, тот обогатил человечество.

СОРОК ПОГИБШИХ ЛЕТ

Маленький одноэтажный, неоштукатуренный деревянный дом в Боу, поблизости от Конкорда; его собственноручно построили Бекеры, фермеры средней руки, ни богатые, ни бедные, англосаксонцы родом, вот уже более ста лет осевшие в Нью-Гемпшайре. Отец, Марк Бекер — крижистый крестьянин, суровый, крайне благочестивый и крайне упрямый, с крепкими кулаками и крепким черепом; «you could not more move him than you could move old Kearsarge», говорят о нем соседи, т. е. его столь же трудно сдвинуть с места, как и старую гору Кирсердж, там в равнине. Это каменное упорство, эту непоколебимую ярость воли унаследовала от него и его дочь Мери, седьмой по счету ребенок (родившаяся 16 июля 1821 года); но она не унаследовала его крепкого здоровья, счастливого равновесия. Беспокойной, слабенькой, бледной, нервной девочкой растет она, чувствительная ко всему, чересчур уж чувствительная. Если кто-нибудь вскрикнет, она сразу же вздрагивает; всякое резкое слово волнует ее свыше всякой меры; она даже не в состоянии справиться с курсом нормальной окружной школы, так как не выносит возни и шума, поднимаемых соседскими детьми. Поэтому хрупкую девочку оставляют дома, позволяют ей учиться, чему она сама хочет, а это — можно себе представить — не слишком много на отдаленной американской ферме, за много миль от деревень и городов. Красотой маленькая Мери не отличается, хотя в круглых больших зрачках вспыхивают порой серо-стальные, странно-тревожные искры, и резко очерченный, крепкий рот энергично замыкает узкое лицо. Но отличаться — этого она как раз и хочет, об этом прежде всего и думает этот особенный, своевольно-нервный ребенок. Повсюду и всегда она хочет отличаться, казаться другою, чем все; эта преобладающая черта ее характера

обнаруживается очень рано. С самого начала она добивается, чтобы на нее смотрели, как на нечто «высшее», особенное; и для этой цели не может придумать на первых порах ничего лучшего, чем разыгрывать жеманность. Она придает себе «superior air»,¹ изобретает для себя особенную походку, употребляет в разговоре бессмысленные иностранные слова, тайно выуженные в лексиконе и храбро пускаемые в дело; в одежде, манерах и обращении она старается отойти от слишком «обычного» окружения. Но у американских фермеров не слишком много времени и охоты замечать такого рода выдумки у ребенка: никто не удивляется маленькой Мери и не восторгается ею. И вполне естественно, что эта встречающая преграду воля к проявлению своей личности (воля, как мы потом увидим, одна из сильнейших на протяжении столетия) ищет более грубых средств, чтобы дать себя заметить. Всякое устремление, встречающее внешний отпор, обращается вовнутрь и в первую очередь давит на нервы и вносит в них расстройство. Еще до наступления зрелости с маленькой Мери нередко приключались конвульсии, судороги и необыкновенные припадки. И так как она замечает вскоре, что дома проявляют к ней при этих припадках особенную нежность и внимание, то нервы ее — сознательно или бессознательно, здесь трудно указать границу — все чаще разыгрывают такие истерические «fits».² С ней случаются — или она симулирует (еще раз, кто в состоянии точно отличить явление действительной истерии от истерии разыгранной?) — припадки страха и отчаянные галлюцинации; она ни с того ни с сего издает пронзительные крики и падает как мертвая. Родители начинают уже подозревать эпилепсию у этого странного ребенка, но приглашенный врач с сомнением качает головой. Он не слишком серьезно смотрит на дело; «hysteria mingled with bad temper»,³ гласит его слегка насмешливый диагноз. И так как эти припадки часто повторяются, не становясь отнюдь опасными, и, что весьма подозрительно, наступают именно в тех случаях, когда Мери хочет настоять на своем

¹ «Вид превосходства».

² «Припадки».

³ «Смесь истерии и дурного характера».

желании или противится чужому, то даже се клинически-несведущий отец проникается постепенно недоверием. Однажды, когда она, после предварительных волнений, падает опять без чувств, он оставляет ее спокойно лежать, не обращая на нее никакого внимания, и берется за свою работу; вернувшись вечером домой, он видит, что она, встав без чьей-либо посторонней помощи, спокойно сидит в своей комнате и читает книгу.

Во всяком случае, одного достигает она эту игрою нервов (или правильнее, игрою на своих нервах), и как раз того, чего она больше всего хотела: добивается особого положения в доме. Ей не приходится вместе с сестрами мыть посуду, стирать, шить, доить коров, не приходится вместе с братьями выходить на работу в поле; она уже с ранних пор освободилась от «обыкновенного», будничного, пошлого женского труда. И то, что удается пятнадцатилетней девушке у родителей, то проводит эта женщина везде и по отношению ко всем. Никогда, даже в годы горчайших лишений и ужаснейшей нужды, не соглашается Мери Бекер выполнять обыкновенную женскую работу по хозяйству. С самого начала, в согласии с тайно присущим ей желанием, умеет она сознательно добиваться иного, более возвышенного образа жизни. Из всех болезней истерия без сомнения самая, так сказать, сообразительная, наиболее связанная с внутренним личным устремлением; в нападении и защите она всегда обладает способностью выявлять линию самых тайных желаний; поэтому никакой силе на земле не суждено в дальнейшем добиться от Мери Бекер того, чего ее властная воля втайне не хочет. В то время как сестры изводятся в хлеву и на поле, эта маленькая американская Бовари читает книги и заставляет ухаживать за собою и жалеть себя. Она держится спокойно, пока не идут наперекор ее воле; но если пробуют принудить ее к чему-нибудь неприятному, то она тотчас же пускает в ход свои «fits», свои «tantrums» и начинает игру на нервах. Уже под родительским кровом эта властная, эгоцентрическая натура, не желающая применяться к чему бы то ни было, является не очень приятным домочадцем. И вполне закономерным образом ее деспотическая воля и в дальнейшем будет вызывать непрестанно и повсюду напряженные состояния,

конфликты и кризисы, ибо Мери Бекер не выносит ничего, что бы было на одном с ней уровне; она признает только подчинение своему чудовищно приподнятому «я», для которого вся вселенная едва ли достаточно просторна.

Неприятной и опасной сожительницей остается она и дальше, эта кроткая на вид, тихая на вид Мери Бекер. И потому ее brave родители смотрят как на двойной праздник на Рождество 1843 года, когда Вашингтон Глоуер, коротко именуемый Ваш, симпатичный молодой коммерсант, уводит их двадцатидвухлетнюю дочь из дома к алтарю. После венчания молодые уезжают в Южные Штаты, где у Глоуера свое предприятие, и за этот короткий период брака по страстной любви с осанистым, веселым Вашем, ничего не слышно о галлюцинациях и истерических припадках. Письма Мери говорят неизменно о полнейшем счастье и дышат здоровьем; так же, как было и с бесчисленным количеством ее товарок по судьбе, соительство с сильным молодым мужчиной поставило на место ее шаткие нервы. Но счастливое и здоровое время длится для нее недолго, ровным счетом полтора года; уже в 1844 году желтая лихорадка в девять дней уносит Ваша Глоуера, в Южной Каролине. Мери Бекер-Глоуер остается в ужасном положении. Небольшая сумма, принесенная ею в качестве приданого, прожита; беременная на последнем месяце и в полном отчаянии стоит она в Вильмингтоне перед гробом мужа и не знает, что делать. К счастью товарищи мужа по масонству собирают кое-как два-три десятка долларов, так что можно по крайней мере отправить вдову обратно в Нью-Йорк. Там ее встречает брат, и вскоре после того она производит на свет в родительском доме ребенка.

Жизнь никогда не баловала Мери Бекер. В двадцатитрехлетнем возрасте волна впервые отбрасывает ее назад, к месту отплытия; после каждой попытки к самостоятельной жизни ей суждено находить прибежище в семье; до пятидесятилетнего возраста Мери Бекер ест чужой, подаренный ей или выпрошенный кусок хлеба, спит в чужой постели, сидит за чужим столом. Как раз ей, столь сильной волею, без сознания, однако, своего волеустремления, столь безумно гордой, без малейшего, однако, права на эту гордость и без заслуг, как раз ей приходится, с тай-

ным чувством своей исключительности, быть постоянно в тягость людям равнодушным и, по ее убеждению, ниже ее стоящим. Сначала ей дает приют отец, потом она переселяется к сестре своей Эбигейль; там она остается целых девять лет, в качестве гостя все более и более неприятного и тягостного. Ибо с тех пор как умер Ваш Глоуер, нервы молодой вдовы опять разыгрываются и, являясь непрощенной нахлебницей, она своей раздражительностью терроризирует весь дом. Никто не решается возражать ей, чтобы не вызвать «fits»; двери должны быть тщательно закрыты, все в доме должно ходить на цыпочках, чтобы не потревожить «больную». Порою она блуждает с застывшим взором по комнатам, как сомнамбула, порою по целым дням остается в постели, в состоянии полной неподвижности, утверждая, что не может ни стоять, ни ходить, что всякое движение причиняет ей боль. Своего собственного ребенка она поспешно сбывает из дому; эта черствая душа не желает думать о чем-нибудь постороннем, будь это даже ее собственная плоть и кровь; ее беспокойное «я» неспособно заняться чем-либо, кроме самого себя. Вся семья должна внимательно ей прислуживать, каждый должен поспевать за ее неожиданными желаниями; как «Негр с Нарцисса» в известном романе Конрада, она угнетает семью одним уж своим пассивным, свисходительным присутствием, своим неслышным рассказыванием по комнате, своими претензиями на деликатное к себе отношение. В конце концов она придумывает для себя особую манию. Она открывает, что ее нервы только тогда могут быть в покое, когда ее будут раскачивать в гамаке. Само собою понятно — все ведь делается, чтобы она только оставила в покое — устраивается такая подвесная софа, и уличным мальчишкам города Тильтона улыбается отныне заработок особого рода: за несколько пенни в час раскачивать Мери Бекер-Глоуер. Это, в спокойном пересказе, звучит, вероятно, шуткою, но на деле становится страшно серьезным. Чем более она жалуется, тем хуже ее самочувствие, так как в результате душевной неудовлетворенности и физическое состояние Мери Бекер явно становится за эти девять лет все более и более внушающим опасения. Ее слабость, ее усталость принимают безусловно патологические формы; в конце концов она уже не может

одна спуститься по лестнице, мускулы ослабели, и врач подозревает паралич нервов спинного мозга. Во всяком случае, в 1850 году Мери Бекер-Глоуер представляет из себя полностью нежизнеспособное существо, хронически - больную, калеку. Сколько в этих неоспоримых явлениях парализованности заключается у молодой вдовы действительного телесного страдания и сколько сознательной симуляции и воображения? Требуется много смелости, чтобы решить это определенно, ибо истерия, гениальнейшая в мире патологии комедиантка, способна при помощи самых достоверных симптомов являть вид болезни в той же мере, как сама болезнь. Она играет с болезнью, но эта игра часто против ее воли переходит в действительность; и истерик, который по началу хотел всего только внушить другим веру в свою болезнь, принужден в конце концов сам в нее уверовать. Поэтому надо отказаться от мысли пытаться различить в столь запутанном случае, на расстоянии пятидесяти лет, были ли эти каталептические состояния Мери Бекер действительно параличными, или являлись только бегством в болезнь. Подозрительным остается, во всяком случае, то, что она в некоторых случаях умеет неожиданно стать госпожей над своими недугами, при помощи воли; один эпизод из последующих ее параличных периодов дает основание подозревать многое. Как-то однажды она снова лежит неподвижно в постели, беспомощная, бессильная калека, и вдруг слышит, как ее муж (позднейший) зовет снизу на помощь. Он с кем-то поссорился, и, повидимому, ему угрожает серьезная опасность. И что же, параличная одним прыжком соскакивает с постели и бежит вниз по лестнице, чтобы заступиться за мужа. Такие случаи (этот — не единственный в ее жизни) дают основание думать, что Мери Бекер и раньше могла преодолевать грубейшие явления своей парализованности с помощью воли, но вероятно не хочет — или что-то в ней не хочет. Вероятно, глубоко под сферой сознания ее эгоцентрической инстинкт постигает, что в состоянии явного здоровья от нее, нахлебницы, тотчас же потребуют услуг по хозяйству, деятельного участия в работе. Но она не хочет ни в каком случае работать с другими, на других, рядом с другими, и чтобы сохранить свою независимость она, ошестинившись всеми своими наэлектризован-

ными иглами, зарывается в болезнь; без сомнения, как во многих случаях, истерия является здесь прикрытием глубокого заложённого инстинкта — бегством в болезнь. И никому не дано прорваться через это нервное прикрытие ее сокровеннейшего «я»; эта железная воля скорее даст разрушить себе тело, чем подчинится чужому желанию.

Но какая огромная сила психического воздействия уже тогда была заложена в это немощное, хрупкое тело, тому дает разительный пример в 1853 году эта удивительная женщина. В то время, на тридцать втором году ее жизни и на девятом году вдовства, объявляется в Тильтоне странствующий зубной врач, «доктор» собственного своего факультета, Даниэль Паттерсон, образец красавца с пышной бородой из дамских врачей. Своею преувеличенно-столичною эlegantностью — на нем всегда черный, наглухо застегнутый сюртук и тщательно проглаженный цилиндр — этот степной ловелас без труда завоевывает в высшей степени избалованные женские сердца в Тильтоне. Но — изумительная вещь! — он не замечает красивых, добродетельных, богатых: его очаровывает единственно прикованная к постели, бледная, болезненная, нервная женщина, калека в параличе. Ибо если Мери Бекер хочет быть чем-либо, она тотчас же может этим и стать, в том числе и очаровательной; и от ее страдальчески улыбчивой кротости исходит такая прелесть, что она неотторжимо пленяет этого широкоплечего, твердого мужчину. Уже 21 июня 1853 года он предлагает ей руку.

Сватались ли когда-либо к женщине в таком состоянии? Жизненная сила невесты Даниэля Паттерсона в ту пору настолько сломлена, что она не в состоянии даже пройти несколько шагов через улицу, к церкви. Со всею решительностью длинный как жердь жених поднимает параличную с дивана и спускается с ней по лестнице. Перед домовым подъездом ее погружают в карету, и она возвращается уже в свою комнату, как мистрисс Паттерсон, на руках своего мужа. Но бремя, которое тот с такой легкостью возложил на свои плечи, долгие годы давит своей тяжестью на его жизнь. Доктору Паттерсону не требуется много времени, чтобы открыть, с каким неподходящим характером, с какою тягостною супругою он связался:

при всяком переезде приходится погружать в карету вечную пациентку, а вместе с нею и неизбежную софу-качалку; в хозяйстве она проявляет себя столь непригодной, что Паттерсон, при скудном своем доходе, вынужден взять домоправительницу. Героиня своих собственных грез «погружается меж тем в книги», как с восхищением выражается алорозовая биография, иначе говоря, лежит в неврастеническом изнеможении на оттоманке или в постели и читает романы; вместо того чтобы взять к себе в дом сына от первого брака, который духовно погибает где-то на Западе у необразованных людей, она занимается оккультизмом и пописывает в газетах; иной раз она сочиняет для провинциальных журналов статьи и стихи. Ибо и в новом супружестве в ней не пробуждается еще ее сущность. В латаргическом своем бессилии она, со свойственным ей смутным тщеславием, мечтает и грезит о чем-то великом, о чем-то значительном; и так долгие годы одно из гениальнейших дарований столетия ждет, в полной праздности и бездеятельности и все же в тайном сознании своей призванности, какого-то решающего слова, какой-то предназначенной ей роли. Но на долгие годы — почти на десять лет — ей остается все та же однообразная роль неизлечимо больной, достойной сожаления, обреченной всеми врачами и друзьями на безнадежное состояние, «непонятой» женщины. Очень скоро и добрый Паттерсон замечает то, что многие знали до него, а после него — все: что долго не проживешь сколько-нибудь сносно с этим деспотом, с этой болезненно-падкой на преклонение женщиной. Все неуютнее становится ему дома и в супружестве. Сначала он затягивает сверх условленного срока свои деловые поездки; потом разразившаяся в 1863 году гражданская война дает ему желанный повод совершенно уклониться от супружеской жизни. Он выступает в поход в качестве врача северной армии, но попадает в первом же сражении в плен и интернируется до конца войны. Мери Бекер-Паттерсон остается столь же одинокой и беспомощной, как и двадцать лет назад, по смерти Глоуэра. Еще раз потерпевшее крушение судно прибывает к старому берегу, еще раз попадает она в дом к сестре. Теперь, на сороковом году, судьба ее окончательно погребена, по видимому, в бедности и захолустьи, с жизнью покончено.

Ибо Мери Бекер уже сорок лет, и она все еще не знает, для чего и для кого она живет. Первый муж под землю, второй за тысячу миль, в плену, ее собственный ребенок где-то у чужих людей, она все еще кормится из милости за чужим столом, никого не любя и не зная ничьей любви, самое ненужное существо между Атлантическим и Тихим океанами. Напрасно она пытается чем-нибудь заняться. Она преподает в школах, но ее нервы не выдерживают регулярной работы; она читает книги и пишет статейки для захудалых провинциальных журналов; но глубокий ее инстинкт знает в точности, что такое бумагомарание не разрешает еще нужнейшего, главнейшего вопроса ее жизни. Так бродит она бесцельно и тоскливо по дому сестры, и огромные, демонические силы этой загадочной женщины пребывают наглухо замурованными и незримыми где-то в глубине. И чем более она сознает бессмысленность своего внешнего положения, чем более ясным становится женщине в сорок один год, что с женским счастьем покончено, тем более бродит и ходит в ее теле приглушенная и перенапряженная, никогда еще не высвобождавшаяся жизненная сила. Все более бурно разражаются нервные припадки, все болезненнее действуют конвульсии и судороги, все более стойкими становятся параличные состояния. Теперь она в свои самые легкие дни не может сделать полмили пешком без того чтобы не устать. Все более и более бледная, слабая, измученная и неподвижная, лежит она в постели, бессильное подобие человека, хронически больная, себе самой опротивевшая и в тягость другим. Врачи отказались от борьбы с ее нервами; без всякого результата обращалась она к самым проблематическим средствам, к месмеризму и спиритизму, лечилась травами и всякими другими способами; сестра делает последнюю ставку и посылает ее в Нью-Гемпшайр, в водолечебницу. Но тамошний курс только ухудшает ее состояние, вместо того чтобы улучшить. После двух сеансов она вообще уж не может сделать шага; с ужасом сознает она, что навсегда погибла, никто, никакой врач не в состоянии, значит, ее спасти! Чудо должно случиться, воплощенное чудо, чтобы сделать ее, параличную, духовно и физически разрушенную женщину, опять живым человеком.

И вот, на сорок первом году своей все еще бесполезной жизни, ждет Мери Бекер, со всем пылом отчаяния, всеми силами фанатического своего сердца этого чуда, этого чудесного избавителя.

КВИМБИ

О чудесах и об одном подлинном чудодее ходят, с некоторых пор, действительно, смутные слухи и толки в Нью-Гемпшайре: какой - то врач, Пинеас Панкхерст Квимби, совершает, будто бы, чудесные и небывалые исцеления, и притом каким - то новым и таинственным способом. Этот целитель не применяет ни массажа, ни лекарств, ни магнетизма, ни электричества, и все-таки он, в тех случаях, когда другие врачи с их средствами бессильны, шутя достигает цели. Слух превращается в разговоры, разговоры в уверенность. И вот проходит немного времени, и со всех концов страны устремляются пациенты к этому чародею-доктору, в Портленд.

Этот сказочный доктор Квимби, нужно с самого начала сказать, вовсе не доктор, не ученый латинист и не дипломированный медик, а всего только бывший часовщик из Бельфаста, сын бедного кузнеца. В качестве усердного, неглупого, дельного ремесленника он терпеливо изготовил бог весть сколько часов, как вдруг является в 1838 году в Бельфаст, в одну из своих гастрольных поездок, некий д-р Пуайен и впервые открыто демонстрирует там опыты гипнотизма. Этот французский врач, ученик Месмера (повсюду в мире мы встречаемся со следами этого необыкновенного человека), вызвал возбуждение во всей Америке своими гипнотическими сеансами, и непреходящее отражение любопытства того времени к «теневой стороне природы» находим мы в волнующих рассказах Аллана Эдгара По. Ибо почва Америки, с первого взгляда трезвая и сухая, становится именно в силу своей невозделанности великолепным посевом для всякого рода сверхчувственных исканий. Здесь ученые академии и королевские общества, в высокомерии своем, не объявляют, как в скептической Европе месмеровской поры, простым «воображением»

даже самые очевидные явления передачи посредством внушения, и наивно-оптимистический ум американцев, которым ничто не представляется наперед невозможным, с любопытством обращается к этим волнующим и новым для них вопросам. Громадная спиритуалистическая (и вскоре после того спиритическая) волна бежит следом за докладами французского месмериста; во всех городах и селах сеансы его посещаются и подвергаются живейшему обсуждению. И скромный часовщик Квимби принадлежит также к числу полностью замороженных. Он посещает каждую лекцию, не может насытиться чарами гипноза; охваченный любознательностью, он следует за доктором Пуайеном из одного места в другое, пока наконец этот широкоплечий симпатичный человек со своим твердым и умным взглядом американца не обращает на себя, среди прочих слушателей, особого внимания доктора Пуайена. Он подвергает его исследованию и сразу же открывает в нем бесспорное гипнотическое дарование, в активной форме. Он часто пользуется им, чтобы усыплять медиумов, и Квимби с изумлением убеждается при этих случаях в своей, дотоле ему неизвестной способности к передаче воли. Энергичный ремесленник решительно порывает с часовым делом и обращает свою способность к внушению в ремесло. В одном пятнадцатилетнем немце, Люциусе Бюргмайере, он открывает идеального медиума; оба объединяются, — он в качестве активного магнетизера, Бюргмайер в качестве чутко реагирующего объекта внушения. И с этих пор новый доктор разъезжает со своим Бюргмайером по стране, как какой-нибудь прорицатель с обезьяною или попугаем, и практикует вместе с ним в деревнях и городах особый вид врачевания — терапию гипнотического ясновидения.

Этот новый метод часовщика Квимби основан по началу на давно отвергнутом заблуждении ранней поры месмеризма — о присущей будто бы сомнамбулам способности к интроспекции, к прозрению своего внутреннего мира. Как известно, сразу же после открытия сна на яву возникло мнение, что всякий загипнотизированный может отвечать, в состоянии ясновидения, на все, о чем его спрашивают, о будущем и о прошлом, о видимом и невидимом; почему бы ему в этом случае не постигать не-

зримо существующей в человеке болезни и не устанавливать возможных средств к ее излечению? Вместо клинического диагноза, обычно предшествующего всякому лечению, уверенный в своей медиумической силе Квимби вводит диагноз ясновидения. Его метод, собственно говоря, очень прост. Сначала он усыпляет перед публикою своего Люциуса Бюргмайера. Как только тот впадает в транс, к нему подводят больного, и в своем медиумическом сне Бюргмайер с закрытыми глазами прорицает о данной болезни и прописывает, в том же сне, правильное лечение. Пусть этот род диагностики кажется нам слегка забавным и менее надежным, чем исследование крови и рентгеновские снимки, но нельзя, во всяком случае, отрицать, что на многих больных действует удивительным образом факт определения их страдания и способа его лечения сновидцем, как бы с того света. Повсюду во множестве находятся пациенты, и компания Квимби и Бюргмайер делает великолепные дела.

Теперь, по изобретении столь блестящего трюка, bravому «доктору» оставалось только идти тем же путем и дальше заниматься медицинским ремеслом на паях со своим искусным медиумом. Но этот Квимби, необразованный, правда, и необремененный, подобно представителю науки, чувством ответственности, по природе своей отнюдь не шарлатан, а честный и добросовестно ищущий человек, с любопытством ко всему непонятному. Для него недостаточно загребать и дальше доллары при помощи этого затейливого средства; старый часовщик, ученый механик в нем не дают ему покоя, пока он не докопается наконец, где же собственно главная, скрытая пружина этих ошеломляющих исцелений. Случай, наконец, приходит ему на помощь. Как-то, в состоянии транса, Бюргмайер опять прописывает пациенту лекарство, но бедняга-больной не располагает средствами для его приобретения; и вот Квимби прописывает лекарство более дешевое, чем то, что пророчески указал Бюргмайер. И что же, действие его столь же благотворно. Тогда у Квимби впервые является творческое подозрение, что вовсе не транс и не гипнотическое прорицание, не пилюли и не жидкости вызывают выздоровление, но единственно вера больного в эти пилюли и жидкости, что только внушением или самовнушением достигается

чудо исцеления; короче, он делает то же открытие, что и Месмер в свое время с магнитом. Точно так же, как и тот, он в виде опыта выключает для начала промежуточное звено; он отказывается от гипноза, как тот от металлического магнита. Он разрывает договор со своим медиумом Бюргмайером, оставляет в стороне магию сонного ясновидения и основывает свой метод исключительно на сознательном воздействии внушением. Его лечебный метод, так называемое Mind Cure ¹ (переделанное в дальнейшем Мери Бекер в Christian Science и выдаваемое ею за свое собственное, богом внушенное открытие), в основе очень прост. Квимби на опыте собственных сеансов ясновидения пришел к мысли, что многие болезни покоятся на воображении и легче всего устранить недомогание, разрушив у больного веру в его болезнь. Природа сама должна помогать себе, и врачеватель души требуется лишь для того, чтобы укрепить ее в деле самопомощи. Поэтому Квимби лечит отныне своих пациентов не обычными в практике приемами борьбы с болезнью при помощи медицинских средств, но тем, что психически выключает представление о болезни, т. е. попросту говоря, «заговаривает» болезнь у пациента. В печатном проспекте Квимби дословно значится: «Ввиду того, что мои приемы отличаются от всех других медицинских приемов, я подчеркиваю, что не прописываю никаких лекарств и не лечу извне, а присаживаюсь к пациенту, объясняю ему, какого я мнения насчет его болезни, и в этом моем объяснении и заключается лечение. Когда мне удастся изменить ошибочную установку, то тем самым я изменяю и флюид его физической конституции и восстанавливаю истину; мой метод — истина». Наивный и все же вдумчивый человек вполне сознает, конечно, что этим своим методом он переступил границу науки и проник в область религиозного воздействия. «Вы спрашиваете меня,—пишет он,—входит ли мой метод в состав какойнибудь определенной науки. На это я отвечаю: нет! Он входит в состав мудрости, которая выше самого человека, которая возведена восемнадцать веков назад. С тех пор она никогда не имела места в сердце человеческом, но она существует в мире, и только

¹ «Лечение духом».

мир об этом не знает». Таким образом Квимби еще до Christian Science формулировал свое учение ссылкой на Иисуса, как первого «healer», первого врачевателя душ, правда, с той разницей (этого не замечают проникнутые враждебным чувством критики Мери Бекер), что Квимби практиковал метод индивидуального воздействия, основанный на симпатической силе его внушающей личности, между тем как Мери Бекер с гораздо большей смелостью и безрассудностью возводит отрицание болезни и первенство веры перед страданием в систему, претендующую на истолкование и улучшение всего мира.

Новый метод Шинеаса Квимби, во многих случаях чудодейственный по своим последствиям, не заключает в себе, однако, ничего чудесного. Благодушный, седоволосый человек со взглядом, внушающим доверие и вместе твердым, садится напротив больного, крепко зажимает его колени между своими, поглаживает и потирает ему слегка влажными пальцами голову (последний след магнетически-гипнотической установки в целях концентрации внимания больного), и потом предлагает подробно рассказать о болезни и настоятельнейшим образом разубеждает пациента относительно нее. Он не исследует симптомов научно, но попросту вытесняет их путем отрицания, он не выключает болевого ощущения с помощью тех или иных средств из организма, но путем внушения устраняет его из области чувства. Слишком уж просто, слишком уж примитивно, скажут, пожалуй, про такое лечение путем голого утверждения, — оно дешево стоит. Очень уж удобно отрицать болезнь вместо того чтобы лечить ее. Но в действительности между методом часовщика 1860 года и получившим высокоавторитетное научное признание методом аптекаря Куэ 1920 года всего лишь один шаг расстояния. И успех этого неведомого Квимби не уступит успеху его знаменитого последователя: тысячи пациентов домогаются его «Mind Cure», в конце концов он вынужден ввести лечение на расстоянии, так называемые «absent treatments» при помощи писем и инструкций, так как его кабинет не справляется больше с наплывом пациентов и слава о всеисцеляющем докторе начинает распространяться по всему округу.

И до супругов Паттерсон в их деревушке, в Нью-Гемпшайре дошла, еще несколько лет назад, весть об этой

удивительной «Science of Health» экс-часовщика Квимби, и в 1861 году, вплотную перед отъездом в Южные Штаты «доктор» (или, вернее, тоже не доктор), Паттерсон пишет 14 октября чудодейственному врачу, не придет ли он как-нибудь в Конкорд. «Моя жена вот уже много лет калека, в результате паралича спинных нервов; она может пребывать только в полусидячем положении, и нам бы хотелось испытать в этом случае вашу чудесную силу». Но огромная практика не дает возможности чародею совершать такие путешествия, он вежливо отклоняет приглашение. Мери Бекер, однако, с отчаянием цепляется за эту последнюю надежду на выздоровление. Годом позже, когда Паттерсон уже в плену, в Южной Армии, прикованная к постели больная шлет к Квимби еще более фанатический, настоятельный призыв S. O. S.¹ — прибыть и «спасти» ее. Она (та самая, которая впоследствии изъясляла имя Квимби из всех своих сочинений) пишет дословно: «Я должна прежде всего лично увидеть Вас! Я чувствую полное доверие к Вашей философии, в той форме, как она изложена в Ваших проспектах. Можете Вы, хотите Вы меня спасти? Мне придется умереть, если Вы не можете меня спасти. Моя болезнь хроническая, я не могу уж повернуться сама и не выношу ничего прикосновения, кроме мужа. Я теперь добыча ужаснейших мук, пожалуйста помогите мне! Простите мне все ошибки в этом письме, я пишу в постели и без всяких приспособлений». И опять Квимби не может приехать, и в третий раз пишет она ему в отчаянии, на этот раз из водолечебницы, спрашивая, можно ли ей, по его мнению, решиться на поездку к нему. «Предположите, что у меня достаточно доверия, чтобы поехать к Вам, полагаете ли Вы, что я могу доехать и не погибнуть окончательно в результате этой поездки? Я в таком возбуждении, что надеюсь прибыть к Вам еще живою. Но вопрос, — достаточной ли будет Ваша помощь, чтобы снова поставить меня на ноги?» В ответ на этот потрясающий призыв Квимби предлагает ей решиться на путешествие без колебаний.

Теперь недостает еще одного — денег на поездку. Эбигейль, обычно на все готовая, не чувствует ни малейшего доверия к этому подозрительному доктору, который лечит

¹ Условный сигнал бедствия. \

без всяких средств и приемов, единственно «by mind», то есть духом. Она в конец устала от вечных фантазий сестры. Она строго объявляет, что ни пенни не истратит на такое явное шарлатанство. Но когда Мэри Бекер, эта упрямая голова, чего-нибудь хочет, она разрушит и размечет всякую преграду. Она сама набирает в долг горсточку денег, доллар за долларом, у друзей, у знакомых, у чужих. Наконец-то спасительная сумма собрана, наконец то может она, в конце октября 1862 года, купить билет и поехать в Портленд. Об этом путешествии известно только одно: совершенно изможденная и разбитая она прибывает в чужой город. Логически естественно было бы теперь повременить с врачебным освидетельствованием. Но эта неистовая женщина не дает себе отдыха; необъятную энергию развивает она, со свойственным ей фанатизмом, когда воля ее действительно к чему-либо направлена. Прямо с вокзала, усталая, в полном изнеможении, в дорожной пыли тащится она тотчас же в International Hotel, где устроился для лечения д-р Квимби, и действительно, сил ее хватает только до первой площадки лестницы. Дальше ей, парализованной, не подняться. И вот ее берут на руки и поддерживают служители и другие случайные помощники. Они, ступенька за ступенькой, волочат и тащат вверх бледную, истощенную, дрожащую от возбуждения, бедно одетую женщину. Двери распахиваются, беспомощное тело «талкивается»; она без сил опускается в кресло, калека, изломанные, истерзанные остатки человека. И с мольбою обращается ее испуганный взор к кроткому седому человеку, который присаживается к ней, поглаживает ей руки и виски и тихо начинает ее утешать.

И через неделю — о чудо! — эта самая Мэри Бекер, от которой, как от калеки, отступались, пожимая плечи, все врачи, совершенно здорова. Ей свободно и легко повинуются мускулы, суставы, члены. Она опять может ходить и бегать, она, легко прыгая, взбирается по ста десяти ступеням городской башни Портленда, говорит, расспрашивает, ликует, восторгается, пламенеет, — сияющая, помолодевшая, почти красивая женщина, дрожащая от жажды деятельности и полная новой энергии, энергии, не имеющей себе равной даже в отечестве ее, в Америке, энергии, которая вскоре завоеует и покорит себе миллионы людей.

ПСИХОЛОГИЯ ЧУДА

Как падает с неба, в ясный день, молния? Как могло случиться такое чудо, являющееся насмешкой над всеми правилами врачебной науки, над здравым смыслом? Прежде всего, полагаю я, в силу полнейшей готовности Мери Бекер к чуду. Как молния не произвольно вспыхивает в тучах, но предполагает особую заряженность и напряженность атмосферы, так и чудо, чтобы совершиться, требует определенного предрасположения, некоего нервно и религиозно воспаленного душевного состояния; никогда не случается с человеком чуда, без того чтобы он внутренне не ждал его давно и страстно. Мы знаем и учили когда-то, что «чудо — веры лучшее дитя», но и этот вид рождения в духе требует полноты, как рождение от отца и матери; если вера — отец, то отчаяние, несомненно, мать чуда; лишь путем сочетания безгранично уповающей надежды с полнейшей безысходностью обретет чудо здесь, на земле, свой образ. А Мери Бекер близка в то время, в тот октябрьский день 1862 года, к последнему пределу отчаяния: Пинеас Квимби — ее последняя ставка, два-три доллара в кармане — ее последние деньги. Она знает, что если и в этом случае лечение не удастся, то для нее уж нет больше надежды. Никто не даст ей денег для новых попыток; безнадежно парализованной, нежеланной людям, обузе своей семьи и себе самой отвратительной, ей придется отхворать и погибнуть. Если он ее не спасет, то уж не спасет никто. Поэтому она воодушевлена теперь прямо-таки демоническим доверием отчаяния, сильнейшею из сил; одним порывом извлекает она из своего истерзанного тела ту элементарную душевную мощь, которую Месмер назвал волею к здоровью. Короче, она выздоравливает потому, что ее инстинкт усматривает в данном случае последнюю на земле возможность выздороветь; чудо свершается, потому что должно свершиться.

И потом: ради этой попытки вызвано, наконец, наружу, в чистойей форме, глубочайшее душевное предрасположение Мери Бекер. С самой ранней юности эта дочь фермера-американца ждала, как и сестра ее у Ибсена, «чудесного». Она всегда мечтала, что с нею и через нее произойдет что-то необычайное; все ее погибшие годы были залогом, сладостным предвкушением этого таинственного мига. С пятнадцатого года своей жизни она готовилась к воплощению безумной своей мечты о том, что судьба обещает ей нечто особенное. И вот она у порога испытания. Если она приковывает хромоу обратно, то сестра осмеет ее, от нее потребуют обратно деньги, и жизнь ее бесповоротно погибла. Но если она излечится, то с ней совершилось чудо, «чудесное», и (ее мечта с детства!) ей будут дивиться. Все захочет видеть ее, говорить с ней; наконец-то, наконец мир заинтересуется ею, и впервые не из сожаления, как до сих пор, но с почтительным восхищением, — ибо она преодолела свою болезнь магическим, сверхестественным образом. Поэтому из многих тысяч одержимых недугами во всей Америке, обращавшихся в течение двадцати лет к чародею-доктору Квимби, никто не был, может быть, в такой степени предрасположен, на путях душевных, к выздоровлению, как Мери Бекер.

Здесь сливаются, таким образом, в одно целое добросовестная воля к излечению со стороны врача и страстная, титаническая воля к выздоровлению со стороны пациента. Поэтому выздоровление, собственно, совершилось при первой же встрече. Уже то, как окидывает ее умиротворяющим взором серых своих глаз этот спокойный, серьезный, приветливый человек, уже это успокаивает ее. И успокаивает ее прикосновение его прохладной руки, магнетически проводящей по ее лбу, и прежде всего успокаивает, что он дает ей говорить о своей болезни, что она его интересуется. Ибо интереса, его-то она и жаждет, эта «непонятая» больная. Годами она привыкла к тому, что все окружающие прячут судорожную зевоту, когда она рассказывает о своих недугах; и вот впервые перед нею человек, который всерьез принимает ее страдания, и ее честолюбию льстит, что именно ее хотят излечить духовным методом, через душу, что наконец-то,

наконец, кто-то ищет у нее, всеми пренебрегаемой, душевных и духовных сил. С верою вслушивается она в объяснения Квимби, она впивает его слова, спрашивает и дает себя спрашивать. И за страстным интересом к этому новому, к этому духовному методу она забывает свою собственную болезнь. Тело ее забывает о том, что оно парализовано или должно создавать видимость парализованности, ее судорожное состояние разрезается, кровь, более алая, быстро течет по жилам, лихорадочное возбуждение передается истощенным органам, повышая их жизненность. Но и добрый Квимби в праве изумиться. Привыкший к тому, что его пациенты, в большинстве тяжеловесные рабочие и ремесленники, не мудрствуя, подчиняются его внушению с открытыми устами и открытой душой и, получив облегчение, тотчас же кладут на стол свои два-три доллара, не интересуясь больше ни им, ни его методом, он неожиданно видит перед собою женщину, особую, литературную женщину, «authoress», которая всеми порами жадно впивает его слова; видит, наконец, не тупую, а страстно-любопытную пациентку, которая не только хочет мигом выздороветь, но и понять, почему и как она выздоравливает. Это сильно льстит самолюбию бравого часовщика, который много лет серьезно, честно и в полном одиночестве отстаивает свою «науку», который до сих пор не встречал никого, кто бы поговорил с ним как следует по поводу его сумбурных, особенных мыслей. И вот каким-то попутным ветром занесло к нему в дом эту женщину, которая тотчас же всю свою вновь обретенную жизненную силу претворяет в духовный интерес; она заставляет его рассказывать о себе и объяснять все, его метод, его приемы; она просит позволения заглянуть в его заметки, его записки, его рукописи, в которых он довольно беспомощным образом нацарапал свои смутные теории. Но для нее эти записки становятся откровением; она копирует (очень важная подробность!) в отдельности, страницу за страницей, в особенности тетрадку «Вопросов и ответов», которая содержит квинтэссенцию теории и практики Квимби; она спрашивает, спорит, вытягивает из добродушного Квимби все, что он может сказать. Со свойственным ей неистовством она впивается в его предположения и мысли и извлекает из них для себя дикое,

фанатическое воодушевление. И именно эта воодушевленность Мэри Бекер новыми методами лечения создает ей, собственно, новое здоровье. Впервые эта эгоцентрическая натура, которая ни в чем и ни в ком не принимала самоотверженного участия, эротика которой вытеснена доведенным до крайности чувством своего «я», материнский инстинкт которой подавлен перенапряжением личной воли, — впервые познает Мэри Бекер истинную страсть, духовную взволнованность. А элементарная страсть всегда оказывается лучшим предохранительным клапаном при неврозах. Ибо только потому, что до сих пор Мэри Бекер не умела занять свои нервы на прямых и светлых путях, только поэтому нервы занимались ею так зловредно. Но теперь она впервые чувствует такую сосредоточенность своей дотоле рассеянной и подавленной страсти, что у ней нет времени думать о чем-либо другом, нет, следовательно, времени для болезни, — а как только у нее не стало времени для болезни, болезнь исчезла. Теперь ее подавленная жизненная сила, прорвавшись на свободу, может претвориться в творческую деятельность; Мэри Бекер нашла, наконец, на сорок первом году, свою задачу. С октября 1862 года эта изломанная, исковерканная жизнь впервые обретает смысл и направление.

Благоговеиный восторг сразу же охватывает воскресшего Лазаря, восставшую от смерти; с того мгновения, как жизнь получила смысл, прекрасным представляется ей земное существование. И отныне этот смысл в том, чтобы рассказывать о себе и о новом учении. Возвратившись домой, она, уже другая, стоит лицом к лицу со старым своим миром: она стала интересной, наконец-то ею занимаются. Все глядят на нее с изумлением, вся деревня только и говорит что о ее чудесном выздоровлении. «Для всех, кто смотрит на меня и кто знал меня раньше, я живой памятник вашей мощи, — пишет она, ликуя, своему спасителю. — Я пью, ем, радуюсь и чувствую себя как вышедшая из тюрьмы». Но этой не-знающей меры женщине недостаточно, что сестры, тетки, родственники и все соседи дивятся ей, как чуду, — нет, весть должна обойти всю страну; весь мир, все человечество должно знать о чуде из Портленда! Она ни о чем больше не может думать, ни о чем говорить. Она набрасывается на улице

на знакомых и на незнакомых со своими патетическими рассказами, читает доклады о «*sicte principles*»¹ нового спасителя и в своей провинциальной горе-газетке «*Portland Courier*» помещает восторженное описание своего «воскресения». Все методы, сообщает она, оказались действительными, магнетизм, холодные души, электричество, все врачи от нее отказались, потому что не познали еще истинного, гениального, нового принципа лечения. «Те, кто лечил меня, думали, что может быть болезнь, зависящая от «*mind*», от духа. И мне не приходилось быть умнее, чем они. Но теперь я впервые могу понять в целом принцип, лежащий в основе деятельности д-ра Квимби, и по мере того как я познаю эту истину, здоровье мое все улучшается. Истина, которую он вселяет в больного, излечивает его без его ведома, и тело, исполнившееся света, освобождается от недуга». В своем напыщенном, брызжущем фанатическим экстазом воодушевлении она, не колеблясь, сравнивает нового спасителя, Квимби, с Христом: «Христос излечивал больных, но не зельями и не лекарствами. Квимби так говорит, как до него ни один человек не говорил и не исцелял со времен Христа, — так разве он и истина не едино? И разве не сам Христос жив в нем? Квимби отвалил камень от гроба заблуждения, дабы истина могла восстать, — но мы знаем, что свет во тьме светит и тьма не может объять его».

Такого рода благочестивые сравнения, обращенные по адресу старого часовщика, кажутся все же слегка богухульными конкурирующей горе-газетке «*Portland Advertiser*», и она немедленно подсыпает соли в вспененные этим фанатическим духом волны. Уже люди начинают втайне качать головой по поводу ее нелепых вдохновений. Но глумление и насмешка, сомнение и неверие, все эти препоны со стороны насторожившегося рассудка не имеют отныне власти над ошьяненной душой Мери Бекер. Квимби, Квимби, Квимби и исцеление духом — это на долгие годы остается единственной ее мыслью, единственным словом. Никакую плотиною разума не преградить теперь этого потока. Камень скатился и станет лавиной.

¹ «Принципы лечения».

ПАВЕЛ СРЕДИ ЯЗЫЧНИКОВ

Самый сильный человек это человек единой мысли. Ибо всю накопленную им мощь, силу воздействия, волю, интеллектуальность, нервное напряжение обращает он в одном единственном направлении и создает таким образом напор, которому редко может противиться мир. Мери Бекер одна из таких типичных мономанок на протяжении всей истории культуры: она владеет с 1862 года одной единственной мыслью, или скорее мысль владеет ей. Она не смотрит ни направо, ни налево, она идет только вперед, вперед, вперед в одном единственном направлении. И она остановится не прежде, чем эта идея деления духом завоюет ее страну, весь мир.

Правда, то, что она хочет провести, чего она в первую очередь хочет добиться, это и ей самой неясно в ее тогдашнем начальном воодушевлении. У ней нет еще системы, нет учения, — это оформится лишь потом, — у ней только фанатическое чувство благодарности, подсказывающее, что на ее долю выпало возвестить миру апостольскую миссию Квимби. Но и этой первоначальной установки, этой целостной сосредоточенности воли достаточно, чтобы физически и духовно преобразить беспокойную, не покидающую постели, подверженную конвульсиям женщину. Походка ее становится твердой, нервы напрягаются силою целеустремленности, в упавшей духом неврастеничке пробуждается неудержимо-властная натура и вместе с нею — множество действительных дарований. В короткий срок сентиментальный синий чулок превратился в энергичную, искусную писательницу, усталая страстотерпица — в увлекательного оратора, вечно-жалующаяся больная — в страстную проповедницу здоровья. И чем большей мощи она теперь достигает, тем большей мощи и деятельности будет, в ненасытности своей, добиваться эта женщина, на пятом

и шестом десятке более живая, жизнеспособная и деловитая, чем в двадцать и в тридцать лет.

Этим изумительным превращением не слишком, повидимому, восхищен для начала один человек, именно вернувшийся наконец из плена д-р Патгерсон. Уже раньше ему не легко было жить под одной крышей с нервной, капризной, всегда требующей внимания и не покидающей постели истеричкой, но, попривыкнув, он переносил еще это благодушно; теперь, однако, он в испуге отступает от выздоровевшей, от проникшейся внезапным самосознанием, от фанатической пророчицы и прорицательницы. Он согласен уж лучше платить двести долларов в год на ее содержание и отказаться от дальнейшей совместной жизни; после довольно бурных объяснений он навсегда освобождается от брачного сожительства путем развода. Алорозова биография накидывает, разумеется, на шкотливый эпизод некий покров, она объясняет это расхождение в кислосладком тоне душеспасительной хрестоматии: «Было нелегкой задачей надежнее руководить ее красивым неразвитым мужем, помышлявшим о кастрюлях, о свете и соблазнах чувственного мира и мало поддававшимся обаянию духовности и света». Но странно, этой «духовности», этого «света», исходящего от «mother»¹ Мери, не чувствует как будто и преданная вот уже несколько лет Эбигейль. И она не в силах выносить более властной, повелительной манеры внезапно выздоровевшей сестры; дело доходит до бурных столкновений, в результате которых Мери Бекер вынуждена искать себе пристанища где-либо в другом месте. С этого дня обе сестры больше уж никогда не встречались; и с семейством своим неживчивая Мери порвала последнюю связь.

И вот в пятьдесят лет Мери Бекер снова одинока; первого мужа она похоронила, второй ее бросил, ребенок где-то за много миль на чужбине. Она одна на свете, у ней нет денег, призвания, работы; что удивительного, если она доходит до ужасающей бедности. Часто она не в силах внести полтора доллара недельной платы за свою скверную комнату в пансионе; годами она не может купить себе платья, новой шляпы, перчаток. Приходится

¹ «Мать».

наскребывать крохотную сумму цент за центом. Еще многие годы, вплоть до того, как ей на долю выпадет величайший в девятнадцатом столетии успех среди женщин, будет эта непреклонная вительница во имя безрассудства опускаться до последних унижений, до крайней степени нужды.

Так как и теперь еще Мери Бекер с тем же надменным упорством отклоняет всякую возможность работы по хозяйству, «пошлой» работы, то единственным ее спасением от голодной смерти является пристроиться к кому-нибудь, скажем более неприкрыто: блюдолизничать. В эти годы крайней нужды она жила не иначе, как умственной работой, и только ради своей идеи. И ничто не свидетельствует неопровержимо о ее психологическом гении и о присущей ей громадной мощи внушения, как то, что, несмотря на все это, она за все время «тернистого пути» (так именуется эти годы скитаний в официальном евангелии) всегда находит доброхотных кормильцев, приглашающих эту бесприютную к себе в дом. Это почти всегда люди белые, бедные достатком и духом, которые из трогательной любви к «высшему» воспринимают общение с этой удивительной пророчицей как отличие и оплачивают это общение столом и домом. Повсюду в мире, в каждом городе, в каждой деревне земного нашего шара имеется такая (очень симпатичная) разновидность людей со смутно-религиозным мироощущением, которых среди их трудовых будней или наряду с ними до самой глубины души захватывает и занимает тайна земного нашего существования, людей, склонных к вере, но недостаточно сильных, для того чтобы создать себе веру. Этот род людей, обычно чистосердечных и трогательных, но слегка слабых, бессознательно требующих себе посредника, который бы направлял их и руководил ими, повсюду и всегда дает лучшую почву для всяких новых религиозных сект и учений. Кто бы они ни были, оккультисты, антропософы, спириты, последователи Christian Science, толкователи библии или толстовцы, всех их объединяет единая метафизическая воля, смутное влечение к «высшему смыслу» жизни; все они поэтому становятся благодарными и покорными учениками тех, кто творчески или шарлатански культивирует в них мистическую, религиозную силу. Такие люди

повсюду вновь и вновь появляются, и в степях равнин и в маусардах крупных городов, в засыпанных снегом деревушках Швейцарии, и в русских селах, и американский народ, с виду реалистически настроенный, как раз особенно богат такими религиозными прослойками, ибо протестантски-твердая вера, в непрестанном своем обновлении, дает там все новые и новые ответвления в форме различных сект. В гигантских городах Америки или рассеянные по бесчисленным ее округам, живут и сейчас еще тысячи и сотни тысяч тех, для которых библия все еще является самой важной и единственной книгой, а истолкование ее — существеннейшей задачей жизни.

У таких религиозно-мистических натур находит себе всякий раз прибежище Мери Бекер в годы своей бедности. Временами это сапожник, которому, после механической, угнетающей дух фабричной работы хочется услышать что-нибудь «высшее» или потолковать с кем-нибудь о библейских текстах, временами это старая, высохшая женщина, которую мысль о смерти бросает в озноб и для которой всякая весть о бессмертии означает уже утешение. Для этих незамысловатых, попавших в окружение глухоты людей встреча с Мери Бекер становится событием. С почтительным непониманием внемлют они ей, когда она за скудным вечерним столом повествует им о чудесных исцелениях. Почтительным изумлением провожают они ее, когда она исчезает потом в своей комнатке на чердаке, чтобы при мерцании керосиновой лампочки всю ночь работать над своей таинственной «Библией». Разве так уж это много — предоставить этой вестнице духа, нигде в земном этом мире не имеющей родины, постель под самой крышей, стол для ее работы, тарелку, чтобы она не мучилась голодом. Подобно благочестивым нищенствующим монахам средневековья, подобно русским богомольцам, скитается Мери Бекер в те годы от одного дома к другому; но никогда эта женщина, демонически одержимая мыслью о себе, не чувствует себя смущенной или кому-либо обязанной этим гостеприимством, никогда не приходит ей в голову, что она принимает милостыню. Никто в эти годы бедности не видал ее со склоненной головой, никто хотя бы на миг не наблюдал в ней чувства приниженности.

Но она нигде не может надолго удержаться. Повсюду, у бедных и у богатых, в мансарде или впоследствии в мраморном ее дворце, в нужде и в богатстве, в кругу семьи, у друзей и у чужих, повсюду, по истечении короткого срока, исполняется трагический закон ее жизни — чрезмерная напряженность ее воли рушит всякое общение с другими. Ее властная повадка, ее деспотическое своеволие неизбежно приводят к ссорам. Столкновения с окружающим миром — ее рок, неуживчивость в отношениях с людьми — неустранимое следствие непреклонной уверенности в своей правоте; и вот какой-то демон гонит ее от одного двора к другому, от города к городу все дальше, дальше — дальше! Свешая свою Одиссею по морям всяческих бедствий, она находит на время прибежище у некоего Хайрама Крафта из Линна, днем занимающегося в качестве первоклассного мастера починкою сапог и каблуков, а вечера посвящающего, по примеру Якова Беме и Ганса Сакса, размышлениям и метафизике. Она уже успела воодушевить его своим божественным учением настолько, что он намерен бросить сапожное ремесло и помещает в газетах пространное объявление о том, что он, д-р Хайрам Крафт, умеет лечить по новому способу все болезни и готов возратить деньги всякому, кто не добьется у него результатов. Но почтенная супруга будущего доктора, которой попрежнему приходится скоблить плиту, варить обед, шить и чистить обувь, в то время как метафизически-настроенная гостья высокомерно отказывается от всякого участия в работе, проникается подозрением, что эта тощая старая женщина намерена оттягать у ней мужа при помощи дьявольских своих дурачеств. И она неожиданно ударяет кулаком по столу и заявляет: «Вы или я!» И на следующий день Мери Бекер опять без крова, на улице. То, что происходит в дальнейшем, невероятно даже для романа. Мери Бекер, неожиданно изгнанная, не знает никого, кто бы ее принял к себе. Снять комнату в пансионе ей не по силам, с семьею она разошлась, настоящих друзей она никогда не умела приобрести. И вот, со смелостью отчаяния, она направляется прямоком на некую виллу, где живет Сара Вентворт, старая женщина, известная во всем округе, как отъявленная психопатка и спиритка. Она стучится в дверь. Сара Вент-

ворт отворяет самолично и спрашивает, что ей угодно. Мери Бекер заявляет, что дух повелел ей притти сюда, ибо здесь чистый, гармоничный дом, «a nice harmonious house». Может ли настоящая спиритка выгнать обратно на улицу человека, которого прислал дух? И Сара Вентворт говорит просто: «Glory to God! Come right in!»¹ и предоставляет совершенно чужой женщине приют на ночь. Но Мери Бекер остается не на одну ночь, она остается на много дней и недель, она овладевает старой женщиной посредством своей пламенной речи, пылкого своего темперамента. Напрасно и здесь пытается супруг выжить пришелицу, ему не справиться (да и кто мог бы!) с волею Мери Бекер, пока, наконец, много месяцев спустя, не приходит на помощь сын. Вернувшись в Эмсбери, он видит, что родительский дом превратился в спиритический Бэдлам и что отец в отчаянии. Сразу же кровь бросается ему в голову, он не разводит особенных церемоний и попросту грубо объявляет Мери Бекер, чтобы она убиралась к чорту. Та сначала противится, ибо чувствует, что давно уже стала в доме хозяйкой положения. Но молодой Вентворт крепкий, отнюдь не спиритуалистически настроенный парень, он не слишком много обращает внимания на ее страстные протесты, швыряет попросту ее вещи в чемодан, взваливает его на плечи и выбрасывает на улицу, — и вот Мери Бекер снова одна, под проливным дождем, ночью, без пристанища. Вымокшая, заходит она к другой спиритке, к портнихе Саре Бэглеи; там она находит ненадолго приют, потом опять все то же и то же. Ни в одной семье, где ей удастся найти пристанище, она не может удержаться сколько-нибудь долго, повсюду оказываются супруг или сын, вышвыривающие чрезмерно-властную гостью. И это хождение по мукам, от одного дома к другому, от одной двери к другой, длится круглых четыре года. Сколько унижений претерпела Мери Бекер за эти четыре года, об этом умалчивает ее автобиография, так же, как и официозная страпня на эту тему — и крайне неумно! Ибо как раз высокая выдержка Мери Бекер в ужасающе бедственных обстоятельствах и сообщает ей человеческое величие. И ничто

¹ «Слава господу! Войдите!».

более победным образом не свидетельствует о твердости ее характера, о ее непреклонной, бешеной решимости, чем это святое неистовство, делающее ее совершенно нечувствительной к грубым попрекам и выпадам людей. Все ее существо до такой степени полно и переполнено одною, своею идеей, что у нее не остается времени и места для чего-либо другого. Травимая всячески, терзаемая денежными заботами, она ни на один день не перестает думать и обдумывать все одну и ту же мысль. С одной улыбки в другую перетаскивает она в смешном, мешанском сакволяже пожелтевшие уже и расплзающиеся листы своей рукописи; днями и ночами пишет, переделывает и вносит улучшения в каждую страницу, с тою галлюцинирующею одержимостью, которая должна внушать безусловно уважение как раз художникам и людям мысли. Сотни раз читала она и посвяляла выдержки из этой рукописи сапожникам, слесарям, рабочим и старым женщинам, в неизменной надежде, что вот, наконец, мысль ее понята, ее вероучение постигается другими. Но она никого не находит, кто бы ее действительно понимал. Постепенно это тягостное состояние беременности невыносимую мыслью переходит в муку. Плод, она чувствует это, созрел и стремится наружу, и все же, несмотря на страшные судороги и напряжение, она не может вытолкнуть его в мир. Ибо, втайне постигая глубочайшее свойство своей природы, она знает, что ей самой отказано в искусстве целебного воздействия. Чтобы быть врачомателем, «healer», практиком, требуется спокойствие, превосходство, терпение, та целостная, всегда благожелательная, всегда теплоизлучающая сила, которую она сама испытала когда-то в лице своего целителя Квимби. Но сама она, человек беспокойный rag excellence, успокаивать не может. Она может только возбуждать, только воспалять, только взывать духовно, но не сдерживать лихорадочный пыл, не умерять действительные страдания. Значит, надо найти другого, свидетеля, посредника, помощника, мужское начало, чтобы претворить ее духовное учение в действительность. И вот этого человека, в которого она могла бы вдохнуть жаркое дыхание своей веры, чтобы сам он потом спокойно и хладнокровно проводил ее предписания, такого человека она страстно ищет,

долгие годы. Но тщетно! Тяжеловесный увалень, сапожник Хайрам Крафт, которому она с трудом вбила в тупые мозги свою идею, предпочел остаться при своей глупой жене; другие, которым она пыталась передать свою силу, Сара Бэглей и мистрисс Кросби, проявили вялость чувства и ни тени священной убежденности и, следовательно, дара убеждения. Ни в одном таком пролетарском или меланком низшего пошиба доме она не нашла посредника. И вот она обращается к более широкой аудитории и помещает в спиритическом журнале «Banner of light»,¹ рядом со всякими темными хиромантами, ясновидящими, сектантами, астрологами и гадалками, первое свое открытое объявление -- о том, что она за «рау», то есть за плату, готова поделиться со всяким желающим великой тайной искусства лечить через психику. Приводим здесь, в точном соответствии с оригиналом, этот исторический призыв, этот первый трубный звук донные незакончившейся войны:

ANY PERSON desiring to learn how to teach the sick, can receive from the undersigned instruction that will enable them to commence healing on a principle of science with a success far beyond any of the present modes. No medicine, electricity, physiology or hygiene required for unparalleled success in the most difficult cases. No pay is required unless the skill is obtained.

Address Mrs. MARY B. GLOVER

Amesbury, Mass. Box 61. 2

¹ «Хоругвь света».

² Желающие узнать, как следует лечить больных, могут получить от нижеподписавшейся указания, которые дадут им возможность начать лечение на научных началах, с успехом, далеко выходящим за пределы современных способов. Не требуется ни медицины, ни электричества, ни физиологии или гигиены для несравненного успеха в самых трудных случаях. Плата вносится после усвоения курса.

Адрес: миссис Мери В. Гловер, Эмсбери, Масс.,
почтов. ящик 61.

Но никто, повидимому, не отозвался. И опять бесполезно проходит год, проходят два года этой все еще бесплодной жизни.

Наконец, на пятидесятом году существования, удается ей найти человека. Правда, он жалостно молод еще, этот евангелист Иоанн, ему всего двадцать один год; по профессии он рабочий картонажной фабрики, и зовут его Ричард Кеннеди. Ее целям более соответствовал бы, собственно, человек покрепче, постарше, повнушительнее. Но три четверти жизни прошли уже зря, нет больше времени ждать и разбираться. И так как взрослые не слушают ее, так как все они слишком уже умно, осторожно и расчетливо высмеивают ее смелые проекты, то она ставит последнюю ставку на этого мальчика. Два года назад она познакомилась с ним в доме мистрис Вентворт, и скромный мальчуган бросился ей в глаза тем, что он единственный из всех благоговейно слушал, когда она рассказывала о своем учении (а ведь она только об этом и может говорить днем и ночью). Может быть этот невзрачный паренек понимал столь же мало, как и другие, когда фанатически настроенная женщина горячо и страстно толковала о «mind» и «materia», но все-таки, он хоть слушал почтительно, и она была счастлива: вот молодой человек, первый, который уверовал в нее и в ее учение. И вот теперь, когда ему двадцать один год, а ей пятьдесят, она неожиданно делает ему предложение заняться практическим врачеванием на основе ее непреложного метода. Скромный картонажник, понятно, не отказывается. Для него это не риск — скинуть фабричную блузу и без всяких академических премудростей превратиться во врача по всем болезням; наоборот, он чувствует себя в высшей степени польщенным. Прежде чем пуститься в дорогу, на завоевание мира, эта странная пара успевает заключить договор, деловой и обстоятельный: Мери Бекер обязуется ознакомить Ричарда Кеннеди со своей «Science», своей наукой, а он, с своей стороны, обязуется содержать ее в это время и передавать ей половину всех доходов от практики. Таким образом, лист гербовой бумаги, обуславливающий пятьдесят процентов против пятидесяти, является первым историческим документом Christian Science. И с этого мгновения метафизическое и материальное

начала, Христос и доллар, пребывают в истории этого американского метода врачевания неразрывно связанными.

Потом они упаковывают небольшой чемодан — в нем помещается все их имущество — и наскребывают деньги на первый месяц предстоящей жизни. Как велик был основной капитал этого лечебного предприятия, в точности неизвестно, может быть двадцать долларов, может быть тридцать или пятьдесят, во всяком случае немного. С этим минимумом они перебираются в соседний городок Линн — седая женщина и неоперившийся юнец. И положено начало одной из замечательнейших авантур в области духа, одному из самых захватывающих движений нового времени.

ЗАРИСОВКА

Теперь, когда после нескончаемого периода прозябания в фермерских хижинах и в мансардах городов Мери Бекер выступает, наконец, в озарении света, бросим беглый взгляд на ее наружность. Высокая и тощая, жесткая и костистая фигура, вызывающая строгими своими, мужскими линиями воспоминание о другой женщине нашего века, со столь же могучей волею, — о Козиме Вагнер. Движения неистовы: нетерпеливо-стремительная походка, нервно вскинутые руки и повелительно поднятая в споре голова, словно она в шлеме и с мечом. Женского во всей этой словно из американской стали выкованной фигуре только пышные каштановые волосы, расходящиеся поверх гладкого лба двумя темными волнистыми прядями и ниспадающие, в мягких завитках, до плеч; в остальном ни одной черты нежности или тепла. Эту сознательную волю к мужскому, к монашескому, подчеркивает в особенности одежда. Пуритански-строго застегнутая у самого горла, с немногочисленными складками по-пасторски, эта напоминающая рясу мантия скрывает, за неумолимой своею чернотой или за безразлично-серым цветом, все женские формы, и в качестве единственного украшения угрожающе выделяется, как бы ополчаясь на все чувственное, большой золотой крест. Трудно представить себе женщину столь строгой осанки тающею от любви или по-матерински играющею с ребенком, трудно вообразить, чтобы эти странно-округлые, глубокие серые глаза могли осветиться веселостью или подернуться дымкой мечтательности. Все в этой царски-надменной и в то же время гувернантски-строгой фигуре свидетельствует об устремлении, деспотической воле, напоре, о накопившейся, сдержанной, концентрированной энергии. Даже на фотографическом снимке каждый чувствует все-таки, как на него устремлен,

с угрожающею силою, внушающе-властный взор этой американки.

Столь уверенной в себе, столь величественной является (или созидает себя) Мери Бекер, когда смотрит на объектив фотографического аппарата, когда говорит перед людьми, когда чувствует, что за ней следят. Какою она была в действительности, наедине с собою, в комнате, об этом мы можем только догадываться по отдельным, частного характера, сообщениям. Ибо за этой стальной маскою, за этим гладким, упрямым лбом трепещут, лихорадочно вибрируя, до ужаса напряженные и перенапряженные нервы; та самая проповедница, что в гигантских аудиториях так завлекающе вселяет в тысячи больных и отчаявшихся веру в здоровье и новую жизненную силу, сотрясается, за закрытой дверью своей комнаты, от новых и новых конвульсий, одержимая припадками неврастенического страха. Железная воля держится в данном случае на тончайших нервных волокнах. Уже самое легкое потрясение грозит опасностью этому непомерно чувствительному организму. Малейшее гипнотическое воздействие сковывает ее энергию, ничтожной дозы морфия достаточно, чтобы ее усыпить, и эта святая и героиня является игралищем ужасающих демонических сил: ночью ее домашние нередко просыпаются от пронзительных призывов на помощь, и им приходится успокаивать больную при помощи всевозможных тайных средств. С нею то-и-дело случаются удивительные припадки. Тогда она с блуждающим взором бродит по комнате и мучительное ее мистическое напряжение, которого никто не понимает, — и менее всего она сама, — разряжается дикими криками и судорогами. Типично для нее и для многих врачевателей души: волшебница, принесшая исцеление тысячам, никогда не могла до конца излечить себя самое.

Но патологическая сторона ее природы выдает себя только за закрытыми дверьми, во время тайных сборищ. Только вернейшие ее соратники знают, какую трагической ценой платила она годами за свою стальную выдержку, за наружную свою непреклонность и непоколебимость. Ибо в тот миг, когда она выступает публично, ее разрозненные силы одним порывом собираются воедино; всякий раз, когда дело идет о ее основном даре, о ее безмерной

воде к власти над другими, пламенная энергия, исходящая от духа, устремляется в ее мускулы и нервы, подобно тому, как электрический ток устремляется в угольную нить лампы, и заряжает все ее существо завораживающим светом. В миг, когда она сознает, что ей надо взять верх над людьми, она берет верх над собой и обретает силу превосходства; внушающее воздействие ее внешности, также как и ее интеллектуальность, ораторское искусство, писательство, философия — не дар природы, а порождение воли, триумф творческой энергии духа. Всякий раз, когда она хочет поставить на своем, она опрокидывает для своего организма законы природы; так же властно противится она и «сhronology», неумолимым обычно земным срокам. В пятьдесят лет она действует как в тридцать, в пятьдесят шесть добывает себе третьего мужа, и даже в возрасте прабабки ни один смертный не видел ее дряхлой, кроме ее личного секретаря. Никогда не допустит она, в своей гордости, чтобы обнаружили ее слабость; мир должен созерцать ее в ореоле неуязвимой мощи. Как-то однажды лежит она, в восьмидесятилетнем возрасте, в постели, терзаемая конвульсиями, беззубая, бессильная старуха, с ввалившимися от бессонницы щеками, с нервами, трепещущими от постоянных припадков страха; ей докладывают, что прибыли паломники со всей Америки, с единственной целью ее приветствовать. И тотчас же призыв ее самоощущения властно поднимает тело. Трясущаяся от старости женщина дает надеть на себя дорогое платье, как на пружинную куклу, и раскрасить свои щеки кармином; потом ее ведут, толкают ее, на ревматических ногах, шаг за шагом, в направлении к балкону. Осторожно, как нечто бьющееся, волокут и втаскивают эту рассыпающуюся мумию в открытую дверь. Но едва она оказывается снаружи, на балконе, поверх благочестивой толпы, почтительно обнажающей головы, она гордо выпрямляется, речь пламенно и плавно льется с увядших уст, руки, только что цеплявшиеся за железную решетку, чтобы удержать равновесие, взмывают, как дикие птицы, ввысь; надломленное тело напрягается при звуках собственной речи, и вихрь силы пронизывает царственно-откинувшуюся фигуру. Снизу смотрят на нее, с жаром в очах, люди, их бросает в трепет это стихийно прорывающееся пламя красноречия.

И потом далеко по всей стране разносят они весть о юношеской свежести, о воочию лицезренной ими мощи этой бесспорной владычицы над болезнью и смертью; а между тем за балконной дверью снова и с трудом волокут назад, на одр болезни, эту дряхлую, запыхавшуюся старушку. Так, силою страстного духовного напряжения, вводит Мери Бекер-Эдди не только современников, но и самое природу в обман относительно своего возраста, относительно своих слабостей и недугов; неизменно, в решающий час она создает для окружающего мира картину той истины, к которой она в глубине своей души влечется. Не случайно поэтому именно эта, столь непоколебимая в столь шатком теле душа измыслила вероучение, в силу которого воля одного человека должна быть сильнее болезни и смерти, не случайно апостольская весть о всемогуществе воли пришла из той страны, которая только сто лет назад расчистила под пашню свои леса и превратила дикие пустыни в метрополию. И если бы потребовалось в одной картине выразить эту стальную, прямолинейную, смеющуюся над словом «невозможно» американскую энергию, я не знаю для нее лучшего символа, чем высокозакинутая голова и полные великолепной решимости, вызывающе глядящие в незримое глаза этой самой неженственной из женщин.

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ

Великая, героически-затейливая борьба с наукою начинается как идиллия, как забавный мещанский фарс.

В Лице, в том самом захолустном, будничном городке сапожных подмастерьев, где Мери Бекер пыталась в свое время сделать из честного починщика чужих каблуков Хайрама Крафта доктора новой врачебной науки, живет скромная, приятного нрава учительница, мисс Сюзи Мэгоун. Она сняла дом для своей частной школы; в первом этаже будут помещаться классы, второй она хотела бы сдать от себя. И вот однажды вечером, в 1870 году, является некий молодой человек; он похож с виду на мальчика, да и как же иначе: Ричарду Кеннеди не больше двадцати одного года. Он вежливо кланяется и спрашивает (с некоторой неуверенностью в голосе), не сдаст ли она эти пять комнат врачу. «Охотно», отвечает мисс Мэгоун; он вероятно ищет помещение для лечебницы своего отца? Тут лицо юного картонажника заливается краской: нет, он сам доктор, и пять комнат нужны ему для его практики, потому что с ним будет жить и одна пожилая дама, «пишущая книгу». Мисс Мэгоун смотрит по началу на юнца с некоторым изумлением. Но Линн, в конце концов, в Америке, а Америка не знает нашего академически-бюрократического предубеждения против молодости. Там смотрят человеку в глаза, а так как у этого молодого человека открытый и ясный взгляд и, кроме того, он с виду добропорядочен и приличен, она соглашается. Через несколько дней новые жильцы въезжают. Много багажа не приходится им втаскивать по лестнице, — всего-на-всего две дешевых кровати, стол, два-три стула и еще какой-то хлам. И что у них не так-то уж густо с деньгами, доказывает наглядно то обстоятельство, что юный медик берет сразу же за черную работу, собственноручно оклеи-

вает комнаты обоями, метет их и чистит. Но потом—историческая дата, июль 1870 года! — конец прибывает к дереву перед домом дощечку: «Д-р Кеннеди». И тем кладется начало практике Christian Science.

Прибить к дереву дощечку и назвать себя доктором, это еще не являлось чем-либо особенным в тогдашней Америке, не возражавшей, по свободомыслию, против такого способа соискания ученых степеней. Удивительным является лишь дальнейшее следствие этого решительного шага, а именно, что в первую же неделю появляются у этого только что устроившегося «доктора» пациенты. И еще удивительнее: они, повидимому, довольны его искусством, так как на второй неделе клиенты еще многочисленнее, а на третьей их еще больше. В конце июля совершается первое чудо «Christian Science»: незадолго перед тем выкупившийся из яйца «доктор» Кеннеди в состоянии точно и аккуратно выплатить из своих доходов свою долю. И чудо из чудес: кривая успеха с каждой неделей идет вверх. В августе пациентам приходится уже занять очередь в передней, а в сентябре одна из классных комнат мисс Мэгоун временно отводится под приемную. Как будто при помощи какого-нибудь лассо новый метод компании Кеннеди и Бекер оттащил к себе всех больных города Линна от остальных врачей; десятки пациентов что ни день добавляются «новых приемов» лечения. Правда, нам, знакомым с практикою д-ра Квимби, метод доктора Кеннеди не кажется столь уж новым, ибо он до мельчайших подробностей повторяет испытанный уже курс лечения внушением бравого часовщика из Портленда. Так же, как и тот, присаживается доктор по картонажному делу Кеннеди к своим пациентам, трет им слегка влажными пальцами виски и отхватывает затем всю метафизическую премудрость, которую вбила ему в голову его покровительница: «что человек божественного происхождения, и так как бог не хочет зла, то поэтому не может быть в действительности никакого зла, никаких страданий и болезней. Это лишь рассудочное представление, заблуждение, от которого надлежит освободиться».

С маниакальным упорством, которое вколотила ему Мери Бекер, он твердит, твердит и твердит свои тексты больным с такой безусловной убежденностью, словно у него

безграничная власть над их страданиями. И уверенность этого симпатичного, с ясными глазами человека, внушающего доверие своей простотой, передается, действительно, большинству пациентов, принося им облегчение. Простолюдины, сапожники, мелкие служащие, обращающиеся к нему, чувствуют в скором времени, что избавились от страданий, и—к чему отрицать или извращать вещи ясные?—целый ряд давно отвергнутых врачами женщин, болеющих туберкулезом, мужчин в параличе, обязаны этому «метафизическому лечению» моментальным облегчением; некоторые утверждают даже, что совершенно выздоровели. И вот очень быстро по восьмидесяти или ста улицам Линна распространяется молва, что этот как снег на голову свалившийся доктор Кеннеди действительно парень хоть куда, он не мучит вас инструментами, порошками и дородными микстурами, а если иногда и не помогает, то по крайней мере и не приносит вреда. Один большой советует другому испытать хоть раз самоновейший, «ментальный» метод. И вскоре неспровержимые результаты налицо. В течение нескольких недель новая наука одержала в Линне полную победу, все знают и все превозносят доктора Кеннеди, как малого дельного.

Но знают пока и превозносят только Кеннеди. О том, что неподалеку, в соседней комнате, сидит еще крепкая, не совсем старая женщина, от которой, собственно, исходит этот поток воли, о том, что единственно ее напряженная энергия управляет, как куклой, этим юным медиком, что каждое его слово внушено ею, каждое движение его продиктовано и рассчитано, об этом никто пока не знает в Линне. Ибо в первые недели Мери Бекер пребывает полностью невидимой. Целые дни сидит она, как сова, тихо и незаметно в своей комнате и пишет, пишет свою таинственную книгу, свою «библию». Никогда она не входит в приемный кабинет своего Голема, редко обменивается словом с сожителем; иногда лишь узкая, молчаливая тень скользит, к изумлению больных, из одной комнаты в другую. Но воля к утверждению своей личности слишком сильна в Мери Бекер, чтобы долго оставаться на заднем плане; она ничего не хочет и не может делить с другими, и менее всего успех. С изумлением, с трепетом видит эта женщина, годами терпевшая насмешки, глумле-

ние, издевательства, что практическая применимость ее метода доказана на примере чужих людей, и невыразимым экстазом наполняет ее нежданное счастье: тот камень, который она случайно подняла на своем трагическом пути,— действительно магнит, «*riegge philosophale*»,¹ обладающий магической силой притягивать души и облегчать страдания. В ней, вероятно, вспыхнуло в ту минуту нечто от неистойвой радости, от восторженного изумления конструктора, который, размышляя теоретически, набросал за письменным столом эскиз машины и видит через много лет, как она впервые правильно и творчески функционирует, нечто от блаженного состояния драматурга, в миг, когда начертанные им образы воспроизводятся неожиданно людьми и действуют на людей; в эти часы, возможно, озарило ее смущенную душу первое предчувствие тех неизмеримых возможностей, которые заключались в этом начале. Во всяком случае с этого первого намеса на успех Мери Бекер не выносит более мрака. Неужели, действительно, доверить эту великую тайну одному единственному, какому-то Кеннеди, неужели ее «открытию» суждено ограничиться рамками Линна? Нет, вновь обретенная тайна веры, посредством которой Христос излечивал прокаженных и воскресил Лазаря, столь божественный метод должен быть возведен всему человечеству, как некое Евангелие! Экстатически познает Мери Бекер свое новое, истинное призвание: учить и возвещать! И тотчас же она решает искать апостолов, учеников, которые с одного конца мира в другой пронесли бы ее учение об «отрицании болезни», как Павел — весть о Христе.

Несомненно, этот первый порыв Мери Бекер был благороден и чист; но хотя и убежденная всем сердцем в своей правоте не меньше, чем любой пророк Самарии и Иерусалима, она остается, как и была, американкою, дочерью делового века. Счастливая и сгорая нетерпением наконец-то передать миру свою спасительную «тайну», она, со своим практическим смыслом, ни минуты не думает о том, чтобы передать эту благодетельную премудрость бесплатно; наоборот, с первого же момента она старается нотариально оформить положение и расценить по отноше-

¹ «Философский камень».

нию к насквозь материалистическому миру свое потрясающее открытие в долларах и с такими гарантиями патентного свойства, как если бы речь шла о новом запале для гранат или гидравлическом тормозе. С самого начала в метафизике Мери Бекер имеется налицо удивительный провал: наше тело, наши чувства, все это она с презрением отвергает, как призрачное и преходящее; ассигнации же охотно приемлет как реальность. С первого же часа она смотрит на свой неземной дар, как на отличное средство сколотить, проповедуя нереальность зла, добрый и всегда полезительный куш денег. Прежде всего она велит отпечатать для себя карточки делового, так сказать, свойства:

Mrs. M. GLOVER

*Teacher of Moral Science*¹

«Moral Science» — ибо спасительного, решающего слова «Christian Science» она тогда, в 1870 году, еще не нашла. Она не решается еще раздвинуть горизонт до пределов небесного, религиозного, она еще честным и добросовестным образом верит, что ее учение — всего только новая система лечения силами природы, усовершенствованный метод Квимби. Она предполагает в то время подготовить исключительно врачей, практикующих по ее «ментальной» системе, и это на первых порах должно быть проведено на полуторамесячных курсах, «ускоренных», сказали бы мы. В качестве гонорара за ее «initiation», ее наставничество в изучении нового метода, она устанавливает для начала единовременный взнос в сто долларов (в дальнейшем повышающийся до трехсот), правда, возлагая притом, весьма предусмотрительно и деловито, обязательство отчислять в ее пользу десять процентов от всех доходов. Мы видим как в первые же минуты первого ее успеха в этой неделовитой женщине проснулся, наряду с напряженностью жизненной энергии, мощный дух неутолимой предприимчивости.

¹ «Мистрис М. Гловер, наставница в Моральной науке».

Учеников ей не приходится долго ждать. Кое-кто из вылеченных Кеннеди пациентов — башмачников, трактирщиков и фермеров, две-три праздные женщины соблазняются перспективою. Не рискнуть ли в самом деле, думают эти бывалые, brave люди, сотнею долларов, чтобы в шесть недель выучиться докторскому ремеслу у этой мистрис Бекер-Глоуер, придумавшей все так подходяще, в то время как другие, эти простаки - врачи, по пять лет болтаются в университетах и бог весть как мучатся? Не так-то уж трудно ее докторство, если ему научился этот неоперившийся птенец, этот картонажник, которому всего только двадцать один год и который загребает теперь по тысяче долларов в месяц. И образования, подготовки эта Сивилла тоже, по благородству своему, не требует, латыни и разных там других выдумок; почему бы не выбрать этот удобнейший из всех университетов? Кандидат из более осторожных, прежде чем рискнуть ста долларами, осведомляется на всякий случай у профессорши, не требуется ли все-таки для студента знать кое-что из анатомии. На это Мери Бекер отвечает весьма решительно и гордо: нет, ни в коем случае, это скорее было бы неприятствием, так как анатомия относится к «Knowledge» (земной науке), а «Science», ментальная наука — к богу, и миссия ее как раз в том, чтобы разрушить Knowledge при помощи Science. Этого достаточно, чтобы успокоить даже самых нерешительных, и вскоре дюжина таких узколобых, широкоплечих сапожных подмастерьев усаживается на метафизическую школьную скамью. Поистине, Мери Бекер-Глоуер не затрудняет им прохождения Science: двенадцать лекций и потом копирование и затверживание наизусть рукописи: «Вопросы и ответы», которая — Мери Бекер впоследствии будет отчаянно от этого отпираться — в существенной своей части представляет из себя список с принадлежащего Квимби экземпляра. Закончив последнюю лекцию, она именует brave башмачников или лавочных сидельцев «докторами» и тем самым отпускает их на волю; ученая степень получена, еще несколько человек могут прибить к дереву дощечку с докторским титулом и храбро взяться за лечение.

Что там ни говори, а эти курсы и ускоренные выпуски Мери Бекер отзываются фарсом и чем-то смехотворным.

Но здесь мы сталкиваемся с основной чертой в характере этой удивительной женщины: она совершенно лишена чувства смешного. Она исполнена такого самоуважения, до такой степени забронирована и замкнута в своей убежденности, что никакой довод рассудка не доходит до ее мозгов и нервов. Ее захватная логика сильнее, чем логика всего мира. То, что она говорит, истина, что другие говорят — ложь. То, что она делает, безупречно, то, что об этом думают другие — не имеет значения; словно танк, забронированный вплоть до последней щели, продвигается она, в своей самоодушевленности, вперед, через все провололочные заграждения действительности. Именно из этой недоступности доводам разума проистекает ее фанатическая, несравненная мощь в деле увлекательной проповеди самых невероятных вещей, и, по мере успеха, она перерастает в самовластие и деспотизм. С того момента, как Мери Бекер достигает у больших успеха при помощи своего метода, с момента, когда она начинает наблюдать, с высоты своей кафедры, сияющие, возбужденные, пламенные взоры преданных своих учеников, с этого момента кровь так бурно приливает ей к сердцу и к вискам, что она в продолжение всей своей дальнейшей жизни глуха ко всяким доводам.

Это новое для нее чувство в несколько недель совершенно преобразует все ее существо, вплоть до мельчайших клеточек. На протяжении ряда лет бесполезным, забытым грузом лежала она в самом нижнем помещении трюма, и вот теперь стоит наверху, на капитанском мостике, держа руку на колесе рулевого управления; с этого момента шаткость и порывистость уступают место властности. Впервые она, столь невыносимо долго бесплодная, познала самое опасное из опьянений: власть над людьми. Наконец-то кольцо льдов вокруг нее оттаяло, наконец-то бедность выпустила ее из своих цепких когтей: в первый раз за свои пятьдесят лет она живет не на чужие, а на свои собственные, заработанные деньги. Наконец-то она может выбросить рваные, штопаные, чадом нищеты пропитанные тряпки и облечь свое тело, приобретшее повелительную осанку, в черное шелковое платье. Отныне эта так долго отвергаемая жизнью женщина навсегда пронизана электрическою энергиею самосознания. И та, кто

в двадцать лет была уже стара, становится в пятьдесят лет молодою.

Но — таинственное возмездие! Столь внезапный прилив новой жизненной силы, столь бурная напряженность и омоложение связаны и с особого рода опасностями. Ибо эта пятидесятилетняя пророчица, наставница, проповедница осталась в глубине своего существа женщиною, или, правильнее, она только теперь ею стала. Происходит нечто неожиданное. Этот юный, мало значащий Кеннеди, ее ученик, с поразительной быстротой содействовал успеху ее метода. Как healer, он исполнил все, чего могла требовать учительница от ученика, и даже превзошел все ожидания: два года работали они вместе в великолепном содружестве, и текущий счет в банке свидетельствует о деловитости, честности и неутомимом усердии этого «practitioner».

Но странно, этот личный успех Кеннеди, вместо того чтобы осчастливить ее, начинает вызывать в ней инстинктивное раздражение против компаньона. Какое-то чувство, в котором эта пуритански-суровая женщина никогда, конечно, не даст себе полного отчета, все чаще и чаще нарастает в ней в его присутствии, и понемногу ее чувственная установка по отношению к нему окрашивается (защитная окраска — нам это сразу же психологически понятно!) в тайную враждебность. По существу дела она ничего бы не могла против него возразить. Этот милый молодой человек держится по отношению к ней неизменно вежливо, признательно, участливо, почтительно и покорно, он выполнил все ожидания — по крайней мере те, которые она с полным сознанием возложила на этого красивого, симпатичного юношу; но кажется, ее подсознание, кровный физиологический инстинкт стареющей женщины ожидали от него, вне контроля собственной ее неослабной воли, еще чего-то другого. Конечно, он с нею вежлив, мил и любезен, но не более того; и затем он точно так же вежлив, мил и любезен с другими женщинами. И что-то такое (что именно, — в этом никогда не признается ее пуританское чувство) проникается к нему неприязнью в этой пятидесятилетней женщине, которая над дверью своей комнаты начертала библейские слова: «Thou shalt have no other Gods before me». ¹

¹ «Да не будет у тебя других богов, кроме меня».

Чего-то нет все-таки, чего она от него ожидала, и ясно, чего именно: женщина, плотская женщина в ней требует такого же признания, как наставница, хотя она не осмеливается ни себе самой, ни ему дать понять о таком желании. Но скрытые и подавленные чувства проявляют себя по большей части в других симптомах. И так как не слишком умный Кеннеди все еще не понимает или не хочет понимать, то тайное напряжение прорывается внезапно в виде пополюющего эротиче­ского чувства — ничем не прикрытой, дикой ненависти. Однажды, когда они спокойно играют как-то вечером в карты втроем с замужней уже Сюзии Мэгоун и Кеннеди выигрывает, скрытое напряжение дает вспышку (даже и в карточной игре ее самовластная натура не терпит, чтобы кто-нибудь другой брал верх). С Мери Бекер-Глоуер происходит припадок истерики: она швыряет карты на стол, заявляет, что Кеннеди сплутовал, и при свидетелях называет его мошенником и шарлатаном.

Бравый Кеннеди, отнюдь не истерик, поступает как человек спокойный и рассудительный. Он тотчас же направляется в их общую квартиру, достает из письменного стола договор, разрывает его на части, бросает клочья в огонь и заявляет, что с совместной их деятельностью навсегда покончено. Мери Бекер впадает в истерический транс и без чувств валится на пол. Но «доктор» Кеннеди, он, кому, по слезливому свидетельству алорозовой биографии, она «разъяснила физически-недосыгаемые понятия истины с большей глубиной и проникновенностью, чем другому какому-либо ученику», этот brave Кеннеди кое-чему научился как будто из практической медицины. Он принимает обморок не слишком трагически и спокойно оставляет истеричку на полу. На следующий день он хладнокровно подсчитывает итоги своих обязательств, вручает ей шесть тысяч долларов, как причитающуюся ей за два года долю в совместном лечебном предприятии, берет шляпу и открывает свою собственную практику.

Этот резкий разрыв с Кеннеди является, может быть, важнейшим душевным движением Мери Бекер-Глоуер на протяжении всей ее жизни. Это не первая ее размова со случайным партнером и не последняя, — такие бурные, кончающиеся разлукой сдены являются, можно сказать, неизбежным следствием ее деспотического характера и

проходят через всю ее жизнь. Ни с кем из своих близких — ни с мужем, ни с сыном, ни с пасынком, ни с сестрой, ни с друзьями — не могла расстаться эта безнадежно-своевольная женщина иначе, чем поссорившись на жизнь и смерть. Но здесь ей нанесена рана в область наиболее глубокую и темную — в область ее женственности. И как могуче должно было быть запоздалое чувство стареющей женщины к этому ученику, узнаем мы только впоследствии, только теперь, по той кричащей, неистовствующей, судорожно-задыхающейся, смертной, до безумия доведенной ненависти, которую она, как истая истеричка, постепенно возводит до пределов чего-то метафизического, до кульминационной точки своей мировой системы. То, что Кеннеди, это ничтожество, выуженное ею с картонажной фабрики, может совершенно спокойно жить без нее, что он продолжает свою практику, ею же вбитую ему в голову, за несколько улиц от нее, без ее помощи и с выдающимся успехом, эта мысль взвинчивает ее гордость почти до сумасшествия. В дьявольском отчаянии она непрестанно, стиснув зубы, думает и думает о том, как бы уничтожить предателя и отторгнуть от бывшего компаньона свою «Science». Чтобы сорвать с него маску, она должна как-нибудь доказать своим приверженцам, что этот изменник в области чувства изменил вместе с тем и «истине», что его метод ложен, «mental malpractice». ¹ Но логически это неприемлемо — очернить ни с того, ни с сего метод Кеннеди как «malpractice», ибо у бравого Кеннеди никогда не было и тени собственной идеи, он ни на йоту не отступает от ее инструкций, но, наоборот, ведет свою практику точка в точку так, как напела ему Мери Бекер-Глоуер. Назвать его шарлатаном значит опорочить свой собственный метод. Но если Мери Бекер чего-нибудь хочет, то она пробьет стену головою. Чтобы иметь право назвать безумно ненавистного ей Кеннеди обманщиком, «malpractitioner», она согласна лучше опровергнуть свой способ в одном из решающих пунктов; и неожиданно она запрещает то, что до сих пор предписывала всем своим ученикам в качестве неременной первоначальной стадии воздействия — поглаживание висков увлажненными пальцами и

¹ «Духовно зловреден».

пожимание колен, то есть физико-гипнотическую подготовку внушения верою. Отныне тот, кто коснется тела пациента, совершает, согласно этой неожиданно изданной папской булле, не только ошибку в отношении «Science», но и прямое преступление. И так как ничего не подозревающий Кеннеди энергично продолжает орудовать по старому методу, то на него налагается запрещение. Мери Бекер открыто клеймит его как преступника против науки, как «духовного Нерона», как «месмериста». Но ей недостаточно этого акта личной мести; внезапно, под влиянием болезненно взвинченной и накалившейся ярости против отступника, мирное понятие «месмеризм» принимает в ее глазах демонический характер: в безудержном своем раздражении эта женщина приписывает бравому Кеннеди — в середине девятнадцатого века — сатанинские влияния. Она обвиняет его в том, что он при помощи своего месмеризма парализует ее целительную силу, что он, оперируя черной магией, напускает на людей болезни и отравляет их посредством таинственных телепатических токов. Поистине невероятно для 1878 года, — но эта, мощью волевого воздействия одаренная истеричка собирает своих учеников, заставляет их взяться за руки и образовать круг, чтобы отвратить от нее зловредные месмерические излучения нового «Нерона».

Безумие, скажут некоторые, неправдоподобно или, вообще, придумано. Но по счастью эта, личной ненависти посвященная (и впоследствии, как слишком неуместная, опущенная) глава «Демонология», в которой она обличает «malicious animal magnetism»,¹ черным по белому напечатана во втором издании ее книги — три печатных листа столь бешено-суеверной чепухи, какая едва ли предавалась тиснению со времен «Молота ведьм» и псевдокаббалистических сочинений. Мы видим, что и в области чувства, также как в области веры, эта женщина утрачивает перспективу, как только дело доходит до ее «я». Когда она хочет добиться своего, — а она всегда и везде хочет добиться своего, — она теряет всякое чувство справедливости и меры. Процесс за процессом возбуждает она против отступника; то ищет с него невыплаченных по дого-

¹ «Зловредный жизненный магнетизм».

вору сумм, то оклеветывает его перед студентами; в конце концов она своей бредовой идеей так настраивает своего сына, простоватого сельского рабочего, что тот отправляется к Кеннеди на квартиру и грозит испуганному лекарю револьвером, если он не перестанет оказывать «зловредное месмерическое влияние» на его мать. Жалобы становятся все бессмысленнее: то он направил на нее особые смертные лучи, парализующие ее силы, то отравил Аза Эдди «месмерическим мышьяком», то сделал невозможным проживание в ее квартире при помощи магнетической дьявольщины; — словно цена с уст эпилептика, безудержно срываются с ее судорогою сведенных губ такого рода бредовые бессмыслицы. Во всяком случае этот разрыв с первым ее и самым любимым учеником внес на долгие годы расстройство в интимнейшую сферу чувствительности женщины, переживающей климактерический период, и вплоть до смерти она подпадала, время от времени, все той же мании преследования — будто Кеннеди тревожит ее и подавляет, и грозит ей при помощи телепатических и магнетических приемов. Так, вопреки ее поразительной продуктивности в области мысли, вопреки гениальному, в деловом и тактическом смысле, дару организации, в личной ее жизни до конца преобладает тон невероятной напряженности и болезненного, до предела доведенного раздражения. Но созданная ею система, целиком основанная на противоречии с логикой, была бы неосуществима на началах полного равновесия духовных и душевных сил. Как у Жан-Жака Руссо и множества других, универсальная система, направленная к оздоровлению всего человечества, порождена болезнью одного единственного человека.

Но такие трагические столкновения никогда не действуют на ее боевую мощь подавляюще или разрушающе; наоборот, к ней применимы слова Ницше: «То, что меня не губит, сообщает мне еще большую силу». Вражда и сопротивление удваивают волевую мощь этой женщины. И как раз этот кризис с Кеннеди становится как бы судорогою, в которой рождается собственное ее учение. Ибо запрещая отныне категорически всякое ослабляющее волю прикосновение к больному, она сразу же и творчески разрывает всякую связь между своим методом и методом

своих предшественников месмеровского толка; теперь только Christian Science становится, в чистом виде, «лечением духом». Теперь чудо достигается только словом и верою. Последний мост, ведущий к логике, последняя связь с прежними системами разрушены. Лишь теперь вступает Мери Бекер, своим твердым шагом моноэнки, в неприступную доселе область, в область бессмысленного.

УЧЕНИЕ МЕРИ БЕКЕР-ЭДДИ

В 1875 году становятся, наконец, зримыми те, десятки лет длившиеся во мраке усилия, которые достались на долю этой безвестно-живущей и слишком долго пребывающей в тени женщине. В этом году Мери Бекер-Эдди (в то время еще Мери Бекер-Глоуер) выпускает ту «бесмертную» книгу, которая объединяет в одну систему ее теологию, философию и медицину, то есть научные дисциплины трех факультетов, ту книгу «Science and Health»,¹ которая и сейчас еще является для сотен тысяч и миллионов людей самой важной после библии.

Отделяться от этой, во многих отношениях своеобразной и отличной от других книги и объявлять ее, как это часто водится, с сердитою, презрительной или сострадательной усмешкой, попросту чепухою — не годится. Все, что имеет следствием воздействие в мировом масштабе на миллионы людей, важно по меньшей мере в психологическом отношении, и уже самая техника возникновения этого библейского труда свидетельствует о необычайной решимости духа, о редком в наши дни героизме замысла. Стоит только вспомнить: с 1867 года гонимая из одного дома, от одного стола к другому женщина таскает повсюду, вместе со скудным своим скарбом, и свою рукопись. В ее скверном чемоданчике нет второго платья на смену, золотые часы с цепочкою — все ее имущество, не считая этих нескольких листов бумаги, давно уже стертых и загрязнившихся во время чтений и от периодически возобновляемых переработок. По началу эта знаменитая рукопись представляла собою не что иное, как точный список с «Вопросов и ответов» Квимби, дополненный ею и снабженный предисловием. Но понемногу предисловие пере-

¹ «Наука и здоровье».

растает последующий текст, ее добавки становятся с каждым разом самостоятельнее и пространнее, ибо не единожды, но два, три, четыре и пять раз перерабатывает начисто эта одержимая свое фантастическое руководство по врачеванию душ. Никогда она не приходит к концу своего труда. И десять, двадцать, тридцать лет спустя после появления книги будет она вносить в нее улучшения и изменения; никогда не даст ей эта книга покоя, никогда она не оставит в покое книгу. В 1867 году, приступая к работе, она, в качестве истой дилетантки, едва справляется с орфографией, еще менее — с языком, и менее всего — с тою огромною проблемою, на которую она отважилась; как сомнамбула, с закрытыми глазами, в каком-то таинственном сне, взбирается она на высочайшие башни, на головокружательнейшие гребни философской проблематики. В начале она не знает, куда собственно, ведут ее ее труд, ее дорога, не подозревает и тех трудностей, которые ждут ее. Никто ее не подбадривает, никто не предостерегает. У нее нет, в доступном ей кругу, ни одного образованного человека, ни одного специалиста, с которым она могла бы посоветоваться; и как ей надеяться, что найдется издатель для такого сумбурного нагромождения мыслей! Но с той великолепной одержимостью, которая совершенно несвойственна профессионалам и которая отличает только идущих своим, особым путем, она все пишет и пишет в неистовом экстазе пророческого своего самоощущения. И то, что должно было стать, по первоначальному замыслу, лишь орнаментацией рукописи Квимби, преобразуется постепенно в вихревую туманность, из напряженного мрака которой возникает, наконец, мерцающая звезда единой мысли.

Наконец, в 1874 году рукопись готова к печати. Нежданный успех у учеников и пациентов внушил ей бодрость. Пусть теперь эта новая весть, это благословенное учение дойдет до всех, проникнет в мир! Но ни один издатель не думает, разумеется, о том, чтобы рискнуть деньгами ради этого двусмысленного порождения врачебной науки и религиозной мистики. Приходится, значит, обратиться к собственному карману. Но в собственный карман — мы это увидим из дальнейшего — Мери Бекер начисто отказывается залезать даже в те времена, когда он полон и переполнен. Ей, однако, знакома уже ее сила —

внушать свою волю другим людям, она уже научилась претворять фанатическую веру в себя и в свою миссию — в покорность, в слепую, пламенную готовность к жертве. Тотчас же два студента заявляют о согласии своем дать на это дело, в виде аванса, три тысячи долларов. Благодаря их своевременной помощи выходит в 1875 году в издательстве «Christian Science Publishing Company»,¹ в Бостоне, под заглавием «Science and Health», книга книг, это второе, по мнению ее приверженцев, Евангелие христианства.

Это первое издание — четыреста пятьдесят шесть страниц убористой печати, в зеленом коленкоровом переплете, автор — тогда еще Мери Бекер-Глоуер, принадлежит в настоящее время к rarissimis² в книжной торговле: во всей Европе существует, вероятно, один только экземпляр его, который составительница принесла в дар философскому факультету Гейдельбергского университета, этому высшему, в глазах каждого американца, трибуналу in rebus philosophicis.³ Но как раз этот недоступный, первый вариант, тот единственный, который ею самою составлен и не выправлен чужою рукою, кажется мне единственно пригодным для психологической оценки ее образа, ибо ни одно из последующих четырехсот или пятисот изданий не достигает уже близости к первичной, варварской прелести оригинала. В последующих изданиях немало самых отчаянных выпадов против здравого смысла, грубейших исторических и философских промахов изъято по совету образованных доброжелателей; кроме того один бывший священник, Виггинс взял на себя не легкий труд расчесать дикие заросли ее языка под корректную английскую речь. Постепенно и исподволь смягчены были самые крупные несуразности, в особенности злостные выпады против врачей. Но то, что выиграла эта книга в разумности, потеряла она в отношении пламенности и великолепной ее, чисто личной угловатости; постепенно, в позднейших изданиях пантера, яростно вцепляющаяся в науку, превратилась в дикую, можно даже сказать в домашнюю кошку, кото-

¹ Издательство «Христианская Наука».

² Редчайшим.

³ В делах философских.

рая благодушно уживается с другими домашними друзьями современного общества — с государственной моралью, с просвещением, с церковной верою; как и всякая религия, всякое евангелие, и эта новейшая, последняя религия, Christian Science, в интересах более успешного уловления душ, отошла от истоков, омещанилась и исказилась.

Но как раз в первичной своей, начальной форме «Science and Health» принадлежит к замечательнейшим произведениям частной теологии, к тем метеоритическим книгам, которые, вне какой бы то ни было зависимости от окружающего, словно из чуждых миров устремляются в самое средоточие эпохи. В этом кодексе, одновременно гениальном и нелепом в силу его неистовой и слепой целеодержимости, беспредельно смешном по ребяческой нелогичности и все же поражающем маниакальною мощью прямолинейности, есть, безусловно, нечто от средневековья, от религиозного фанатизма таких самобытных представителей теологии, как Агриппа Неттесгеймский и Яков Беме. Элементы шарлатанства и творчества сменяются в причудливой игре мысли, самые противоположные влияния бурлят, стекаясь и растекаясь, астральная мистика Сведенборга переплетается с дешевой популярных знаний, приобретаемых из брошюрок в десять пенни; рядом с библейским текстом приводятся вырезки из нью-йоркских газет; ослепительные образы чередуются с смехотворными и ребяческими утверждениями. Но бесспорно одно: в этом бурлении есть неизменный жар — все кипит и дергается и клокочет от взволнованности душевной, изумительнейшие пузыри выскакивают по поверхности, и если долго всматриваться в этот непрестанно кипящий в круговороте струи раскаленный котел, то глаза начинают слипаться от жара. Теряешь трезвый рассудок, кажется, что ты в фаустовской «кухне ведьм» и слышишь как и он, «бормотание сотни тысяч глупцов»; но этот вихрящийся хаос обращается неизбежно вокруг одной и той же точки; неутомимо и непрестанно вколачивает Мери Бекер-Эдди вам в голову одну и ту же, единственную свою мысль, пока, наконец, не сдашься, не столько убежденный, сколько оглушенный. Уже как голый энергетический акт, как достижение совершенно необразованной, неученой, нелогичной женщины представляется поистине великолепным то,

как она пламенным хлыстом своей одержимости вновь и вновь подгоняет, как волчок, свою бессмысленную идею и заставляет вращаться вокруг этой идеи солнце, луну и звезды, всю вселенную.

В чем же, собственно, эта новая, неслыханная идея, эта божественная, эта «divine» Science, которую она первая «rendered to human apprehension», которую Мери Беккер первая приблизила к нашему ограниченному земному пониманию? В чем по существу то мировое открытие, которое алорозовая биография, не задумываясь, ставит в один уровень с законами Ньютона и Архимеда? Одна только мысль, одна, единственная, лучше всего выражающаяся в ее формулировке: «Unity of God and unreality of evil», что должно значить: есть только бог, и так как бог благо, то зла быть не может. В соответствии с этим никакие болезни невозможны, и мнимое их наличие есть всего только неправильная сигнализация со стороны наших чувств, «error»¹ человечества. «God is the only life and this life is truth and love and that divine truth casts out supposed error and heals the sick». (Бог есть единая жизнь, и эта жизнь есть любовь и истина, и эта божественная истина побеждает всякое заблуждение и излечивает болезнь.) Значит болезни, старость, недомогания могут лишь постольку угнетать человека, поскольку он, в ослеплении своем, дает веру этой нелепой мысли о болезни и старости, поскольку он сам создает себе мнимую картину их наличия. На самом же деле (великая истина Science!) бог никогда не посылает человеку болезни: «God never made a man sick». Болезни, следовательно, только заблуждение человечества; против этого опасного и заражительного заблуждения, а не против болезней, вовсе невозможных, и ополчается истинное, новое искусство врачевания.

Посредством такого ошеломляющего отрицания Мери Бекер в один момент порвала связь со всеми своими предшественниками, как в философии, так и в медицине, и даже в теологии (ибо разве сам господь в библии не поражает Иова проказой?). Ее непосредственные предтечи, Месмер и Квимби, как смело и настойчиво ни провозгла-

¹ «Заблуждение».

шали они возможности врачевания, вытекающие из внушения, считались все же с болезнью, как с фактом, как с неоспоримой данностью. Болезнь была для них налицо, была у человека, и вот возникала задача устранить ее, преодолеть, «overcome» ощущение боли, а иной раз и самое страдание. При помощи ли магнетического гипноза или мысленного внушения, они честно пытались помочь больному в тяжелейшем его кризисе, «to help through», но, воздействуя через психику, все время сознавали, что перед ними действительная болезнь, страдающее человеческое тело. А Мери Бекер одним гигантским шагом переступает через эту исходную точку, она бесповоротно прорывает с миром здравого смысла и опрокидывает воззрения своих предшественников, ставя попросту дело вверх ногами. Никоем образом, утверждает она, дух не может действовать на материю, «matter cannot reply to spirit», так как, — логическое сальтомортале! — никакой материи нет. Мы, люди, не материя, а божественная субстанция, «man is not matter, he is the composed idea of God». У нас нет тела, оно нам только снится, и земное наше существование всего только «dream of life in matter», сон о существовании в материальных пределах. Поэтому нельзя лечить болезни способами медицины, ибо их нет; по новому евангелию Мери Бекер-Эдди всякая земная наука, всякое «knowledge»,¹ медицина, физика, фармакология — ни на что не нужная бессмыслица и заблуждение. Мы спокойно можем взорвать динамитом на воздух наши совершенно лишние больницы и университеты: к чему все эти дорогие затеи в борьбе с заблуждением, с самовнушением человечества! Только Science может помочь человеку, просвещая его относительно «ego», доказывая ему, что болезнь, старость и смерть вообще не существуют. Как только больной уразумел и воспринял эту «truth», эту никогда не слыханную новую истину, боль, опухоль, воспаление и слабость и без того ведь исчезают. «When the sick are made to realize the lie of personal sense, the body is healed». Наш бедный земной, слишком научно воспитанный, к сожалению, разум вначале смущен несколько этим «holy discovery», этим священным, недостигаемо-

¹ «Знание».

глубоким открытием Мери Бекер-Эдди. Что же, нам простительно поддаваться чувству изумления. Вот уже три тысячи лет, знаем мы, все мудрецы, все философы Востока и Запада, богословы всяческих религий страстно и без устали раздумывают над этой проблемой из проблем — о связи между душой и телом. Мы знаем, что самые светлые умы добивались хотя бы слабого освещения этой изначальной тайны, в бесконечных догадках, с непомерной затратой страстно напрягаемых умственных сил, и что же, в 1875 году эта решительная и скорая на философию женщина одним взмахом, одним головоломным прыжком за пределы здравого смысла разрешает вопрос психофизического соотношения, диктаторски заявляя: «Soul is not in the body», душа вообще не имеет ничего общего с телом. Как просто, как трогательно-просто! Колумбово яйцо найдено, конечная и изначальная проблема всяческой философии разрешена — jubilemus! ¹ — и притом с такою дивной простотой, путем кастрирования действительности. Прделана радикальная коновальская операция над мыслью, устраняющая всякое телесное страдание тем, что объявляет тело попросту несуществующим — система, столь же, примерно, надежная и безошибочная, как если бы зубную боль пытались устранить, отхватывая больному голову.

«Никакого состояния болезни нет» — выставить столь безумно-смелое утверждение не так уж, в конце концов, трудно. Но как доказать правильность этой сумасбродной мысли? Очень просто, отвечает Мери Бекер-Эдди, прислушайтесь только, настроившись чуть-чуть религиозно, ведь это же ужасно просто: бог сотворил человека по своему образу и подобию, а бог, как вам известно, есть благое начало. Следовательно, человек может быть только божественным, а так как все, что от бога, благо, то как могут найти себе пристанище в этом отображении божьем такие виды зла, как болезнь, слабость, смерть и старчество? Самое большое, это человек может вообразить себе, может, пожалуй, представить при помощи лживых своих чувств, что тело его болит, что оно слабеет и старится, но так как он способен на такие представления лишь при помощи чувств, которым не дано непосредственно познавать бога, то мнение его «егго», ошибка, и эта ошибоч-

¹ Возрадуемся!

ная вера обуславливает его страдания, «suffering is self imposed a belief and not truth». Сам бог никогда ведь не бодеет, как же может недомогать его образ и подобие, живое зеркало божеской его благости? Нет, люди сами у себя крадут свое здоровье, благодаря неверию в божественное свое начало. Быть больным, поэтому, не только «егго», заблуждение мысли, но и даже, в известном смысле, «преступление», ибо тут налицо сомнение в боге, своего рода кощунство; таким путем приписывают всеблагому возможность зла, а бог никогда не причинит зла, «God cannot be the father of eggo». И вот неистовое колесо ее логики катится в дикой стремительности дальше: душа это mind, и mind это бог, и бог это spirit, и spirit это опять-таки truth, и truth опять-таки бог, и бог опять-таки благо, и так как, значит, есть только благо, то зла нет, нет смерти, и прегрешения. Мы видим, что техника аргументации Мери Бекер основана исключительно на круговращении, неизменно одно абстрактное понятие сопоставляется с другим, и значения слов с такою факирскою быстротою и с такой настойчивостью пускаются по кругу, что, как в рулетке, их нельзя отличить одно от другого. И эта путаница понятий мелькает на пятистах страницах «Science and Health» в таком множестве искусных перестановок и повторений, что начинает кружиться голова и перестаешь, ошеломленный, противиться.

Я преувеличиваю? Может быть я злонамеренно привношу в ее систему нелогичность, которой нет в существе ее построения? Ну, так я дословно приведу для примера знаменитейшее ее положение, так называемый «бессмертный тезис» Мери Бекер-Эдди, за «присвоение» которого она подала на одного из своих учеников официальную жалобу. Это бессмертное положение гласит: «Нет ни жизни, ни истины, ни разумения, ни существа в материи. Все — безграничный дух (mind) и безграничное его откровение, ибо бог это все во всем. Дух это бессмертная истина, материя — смертное заблуждение. Дух это подлинное и вечное, материя — неподлинное и преходящее. Дух это господь, и человек — его образ и подобие, следовательно, человек не материален, а духовен». Понятно это? Нет. Тем лучше. Ибо как раз этого «credo quia absurdum»¹

¹ «Верую, ибо нет в этом смысла».

требует Мери Бекер от нас, от человечества. Как раз того, чтобы мы оставили в стороне проклятый свой, высокомерный земной рассудок. Вся наша велепая «Knowledge», наша высокославная наука, двинула ли она вселенную хоть на шаг вперед? Нет, вся медицина, начиная от Асклепия, Гиппократы и Галена создала ровным счетом нуль. «Physiology has not improved mankind»,¹ диагностика и терапия ни на что не годны, к дьяволу их! «Physiology has never explained soul and had better done not to explain body». Медицинская наука не дает никаких объяснений душевным явлениям, и даже телесным. Поэтому, по мнению Мери Бекер, врачи, эти «manufactures of disease», эти фабриканты болезней, как она насмешливо их именуется, не только бесполезные, ненужные люди, нет, они, наоборот, вредители человечества, так как (весьма сложный оборот!), претендуя лечить болезни, в то время как на самом деле никаких болезней нет, они зловредно увековечивают прилипчивое, пагубное заблуждение, «еггог» — будто бы существуют какие-то болезни. И — еще один оборот! — имея перед глазами всегдашнее напоминание о болезни в лице этих, по профессии существующих целителей болезней, люди начинают верить, что могут заболеть, и благодаря ложной этой вере чувствуют себя, действительно, больными. Таким образом (еще раз — какой изумительно-смелый оборот!) врачи, фактом своего существования, вызывают, собственно говоря, болезни, вместо того чтобы лечить их: «Doctors fasten disease». В первой, начальной и чисто-личной фазе Christian Science Мери Бекер-Эдди отвергает всех врачей, даже хирургов, как ни на что ненужных вредителей человеческого общества, и решительно объявляет им войну; лишь впоследствии, наученная кое-какими неудачами и тягостными судебными процессами, она умеряет свою строгость и допускает привлечение этих распространителей болезней в таких, хирургического характера случаях, как перелом ноги, удаление зубов и тяжелые роды. В первый же и решающий период она признает только одного врача и только один, его метод, признает Христа, «the most scientific man of

¹ «Физиология не сделала человечество лучше».

whom we have any record», ¹ его, чудесного целителя, который излечивал кровоточащих и прокаженных без порошков, лекарств, пинцетов и без хирургического вмешательства, его, «который никогда не описывал болезней и только лечил их», его, который поднял расслабленного с одра болезни одним только словом: «Встань и иди!» Его методом было лечение без диагноза и терапии, единственно лишь верою. С тех пор восемнадцать столетий осмелили и отвергли это простейшее и самое естественное лечение, пока, наконец, она, Мери Бекер-Эдди, не сделала его вновь доступным пониманию и благоговейному признанию человечества. И потому-то и дает она своей науке горделивое наименование «Christian Science», что признает своим извечным повелителем и наставником только Христа и единственным исцеляющим средством — бога. Чем больше воплотит в себе ученик ее, «healer», от этого христова метода, чем меньше думает он о земной науке, тем более совершенной явится его целебная мощь. «To by Christ-like is to triumph over sickness and death». Достаточно, чтобы врачеватель внушил больному, как глубочайшее убеждение, основную мысль Christian Science о том, что не только его лично-индивидуальной болезни, но и болезни вообще не существует в силу богоподобия человека, — это и есть начало и конец всей его работы. Удастся ему передать свою убежденность подлинно-убедительно, тогда эта вера, подобно наркотическому средству, сразу же сделает тело больного нечувствительным ко всем страданиям и болям, внушение разрушит вместе с образом страдания и все его симптомы; «not to admit disease, is to conquer it» — «отрицать болезнь значит преодолеть ее». Врачеватель, значит, ни в каком случае не должен наподобие врача исследовать симптомы и сколько-нибудь серьезно ими заниматься; наоборот, его единственная задача не видеть их, принимать их не всерьез, а как плод заблуждения, и добиться от пациента, чтобы и он точно так же не видел больше их и в них не верил. И тогда сразу, без всякого исследования, без всякого вмешательства, устранены туберкулез и сифилис, рак желудка и перелом ноги, золотуха и бело-

¹ «Самого ученого из людей, согласно имеющимся свидетельствам».

кровие, все эти мнимые явления, порожденные заблуждением человеческим—и все это единственно благодаря духовному наркозу Christian Science, этому непогрешимому универсальному средству, этому «great curative principle».¹

Едва оправившись от страшного удара дубиной,—от вести об отсутствии у нас тела, о лживости наших чувств, об ошибочности нашего представления о болезни, старости и смерти,—поверженный в прах разум понемногу и робко приподнимается и начинает тереть воспаленные глаза. Как, спрашиваем мы, болезней нет? Все это «сггог» и «bad habit», дурная привычка, и все-таки в каждый миг миллионы людей лежат в больницах и лазаретах, потрлсаемые лихорадкой, разъедаемые гноем, корчась от боли, глухие, слепые, измученные, расслабленные! И вот уж тысячи лет какая-то наивная наука, в глупом своем усердии, старается при помощи микроскопов, химического анализа и самых смелых операций облегчить и распознать эти вовсе несуществующие страдания, в то время как простой веры в их призрачность достаточно для моментального исцеления? Значит совершенно зря одурачивают миллион людей операциями, всяческими курсами и медикаментами, в то время как все эти ужасы, будь то воспаление селезенки или желчные камни, спинная сухотка или кровоточивость, шутя можно уничтожить при помощи нового «principle»? Могут ли эти титанические нагромождения страданий, эта к небу вопиющая боль несчетного множества людей быть всего только плодом ослепления и ошибки? «Да,—отвечает она,—все еще есть ужасающее множество мнимо-больных, но только потому, что человечество все еще не прониклось истиною христианской науки, и потому, что опаснейшая из всех болезней, вера в болезнь, превращает, в качестве непреходящей заразы, все новых и новых людей в страдание и смерть». Ни одна из эпидемий не является, будто бы, столь роковою, как «сггог» о болезни и смерти, ибо всякий человек, мнящий себя больным и жалующийся на свое страдание, заражает другого этим роковым представлением, и мука передается, таким образом, от поколения к поколению. «Но (я цитирую дословно), подобно тому как оспе поставлены были

¹ «Великому принципу врачевания»

постепенно границы путем прививок, можно объявить войну и этому «злу», этой «дурной привычке» считаться с мнимыми болезнями и предстоящей якобы смертью». Стоит только привить всему человечеству сыворотку веры Christian Science, и пора недомоганий миновала, так как чем меньше будет на свете глуцов, верящих в свою болезнь, тем меньше будет возникать на земле болезней. Но до тех пор, пока большинство держится еще этого пагубного заблуждения, человечество будет находиться под непрерывной угрозой болезни и смерти.

Еще раз изумляешься—как, значит нет и смерти? «Нет,— решительно отвечает Мери Бекер-Эдди,— у нас нет никакого доказательства этого». Ведь верят же, аргументирует она, при получении телеграммы о смерти друга, в то, что он действительно умер, но эта телеграмма, это известие могут быть ошибочными. Так как наши чувства приводят только к «еггю», к заблуждению, то частное наше мнение об отмирании тела не является достоверным доказательством этого. И на самом деле, до сих пор еще церковь Christian Science никогда не говорит о мертвых, а только о «так называемых мертвых», «so called dead», и по ее представлению умерший не умер, а только отошел от нас за пределы, где он был доступен восприятию наших чувств, «our opinions and recognitions». Также точно нет у нас и поныне никакого доказательства того,—вещает далее Мери Бекер с неумолимой последовательностью,— что пища и питье действительно необходимы для поддержания жизни; и никакие сострадательные улыбки физиологов не поколеблют ее упорства. Если подвести ее к покойнику, чтобы убедить в тленности жизни, то она будет утверждать, что видит всего только «going out of belief», что очевидно этот индивидуум недостаточно сильно верил в невозможность смерти. Действительно, вера в нашу духовную мощь слишком еще слаба, к сожалению, в наши дни, для того чтобы вытравить во всем человечестве это «эпидемическое» заблуждение о наличии болезней и возможности смерти. Но с течением столетий дух человеческий, при помощи все более и более страстного приятия Christian Science, при помощи огромного напряжения заложенной в него веры, приобретет невообразимую пока еще власть над нашей плотью: «When immortality is better under-

stood, there will follow an exercise of capacity unknown to mortals. Тогда только угаснет в человечестве эта пагубная мысль о болезни и смерти и будет восстановлено на земле божественное начало.

Этим столь же смелым, сколь и искусным поворотом в сторону утопического Мери Бекер незаметно приоткрывает дверь, через которую может выскользнуть, в некоторых неудобных случаях, из пределов своей теории: как и все религии, ее система скромно отодвигает свой идеал от настоящего к будущему, к царствию небесному. Бессмыслица, правда, мы сознаем это, но в этой бессмыслице есть безусловно свой метод, и ее кричащая нелогичность преподносится с такою логической твердолобостью, что в результате получается своего рода система.

Правда, система, которая в истории философии едва ли удостоится иного места, чем в кабинете курьезов, но которая конструктивно показала себя как нельзя более приспособленной для целей практики, для создания массового гипноза. В деле непосредственного воздействия психотехническая напряженность всякого учения имеет, к несчастью, более решающее значение, чем ее интеллектуальная ценность; и подобно тому как при гипнозе не требуется брильянта—достаточно блестящего стеклышка, чтобы вызвать полное оцепенение,—так и при массовых психических движениях первобытный, но интуитивный инстинкт с избытком восполняет недостаток истинности и разумности. В конце концов—не следует закрывать глаза на факты—аппарат религиозного внушения Мери Бекер-Эдди, несмотря на его логические изъяны, и поныне не превзойден по широте воздействия ни одним из позднейших верований; этого одного достаточно, чтобы признать за ее инстинктивной психологией безусловное значение. Было бы грубою подтасовкою отрицать неоспоримый факт, что тысячам и тысячам верующих эта Christian Science помогла больше, чем дипломированные врачи, что, согласно документальным данным, женщины рожали под ее внушением без боли, что производились без всякого наркоза безболезненные операции, потому что верующие последователи «Science» становились нечувствительными не под влиянием хлороформа, а благодаря новому духовному наркотику «irreality of evil», и что гигантская

зарядка этого учения повысила жизнеспособность и жизнеощущение несказанного множества людей. При всех своих крайностях и увеличениях эта гениальная, несмотря на путаницу в мыслях, женщина весьма правильно уразумела некоторые основные законы психики и применила их в своей практике, и прежде всего тот бесспорный факт, что всякое воображаемое чувство, а следовательно и чувство боли, заключает в себе тенденцию к проявлению в действительности, и что своевременное внушение нередко устраняет страх заболеть, который так же почти опасен, как сама болезнь. «The ills we fear, are the only one that conquer us», только та болезнь, которой мы боимся, берет над нами верх,—за этими словами, если даже они логически уязвимы и фактически тысячекратно могут быть опровергнуты, кроется все же проникновение в какие-то истины психической жизни, и по существу Мери Бекер предвосхищает учение Куэ о самовнушении, когда говорит: «Больные сами приносят себе вред, заявляя, что они больны». Поэтому и пользующиеся ее методом врачи никогда не должны соглашаться с пациентом, что он болен: «The physical affirmative should be met by a mental negative»; и сам больной не должен признаваться себе в том, что чувствует боль, так как, согласно опытным данным, излишне уделяемое боли внимание усиливает, путем внушения, уже имеющуюся боль. Учение ее, подобно системам Куэ и Фрейда, возникло, несмотря на все их интеллектуальное различие, из того же чувства реакции: слишком уж долго современная медицина пренебрегала, на путях физико-химического развития, психическими факторами лечения, волею к здоровью, как пособником, в то время как наряду с мышьяком и камфарою могли быть вводимы в человеческий организм, в качестве жизненной инъекции, и чисто психические средства, как бодрость, вера в свои силы, вера в бога, действенный оптимизм. Как бы ни противился внутренне наш разум бессмысленному с терапевтической точки зрения учению, которое стремится устранять бактерии «by mind», сифилис при помощи «truth» и облизывание сосудов через «God», мы не имеем никакого права — иначе как объяснить успех этой системы? — пренебрегать тем коэффициентом мощности, который, как доказано уже, характеризует это учение;

мы поступили бы недобросовестно и вопреки истине, если бы сознательно стали отрицать ту тоническую силу, которую сообщила Christian Science бесчисленному количеству людей в часы их отчаяния, благодаря ее вероупоенности. Пусть это дурман, лишь мимолетно оживляющий нервную систему, как камфара или кофеин, лишь временно преграждающий путь болезни, пожирающей тело, но ведь часто он приносит облегчение, в качестве силы, идущей от психики и благотворно влияющей на тело. В общем итоге Christian Science должна была принести своим приверженцам больше пользы, чем вреда. И в конце концов она помогла и науке, потому что психология, по мере все более обстоятельного и более серьезного ознакомления с поражающим воздействием Christian Science, может многому еще выучиться на ее чудесах и достижениях; следовательно и в духовном отношении эта удивительная жизнь прожита не даром.

Но самым своеобразным чудом Christian Science остается все же, вопреки всему, ее поразительное быстрое распространение, ее прямо непостижимый для трезвого рассудка, лавиной разросшийся успех. Как вышло, приходится спросить, что система естественного лечения, столь несурзная духовно, логически столь скудная и любительская, стала в течение десятка лет для сотен тысяч людей средоточием их вселенной? Какие предпосылки способствовали тому, что именно эта теория, в ряду бесчисленных других попыток толкования мира, разлетавшихся в течение нескольких мировых минут как мыльные пузыри, объединила вокруг себя миллионы? Как могла такая сумбурная, якобы-пророческая книга стать евангелием для несчетного количества людей, в то время как самые мощные духовные движения ослабевали большей частью в своем напоре уже в первые десять лет? Вновь и вновь задает себе застигнутый врасплох рассудок, перед лицом такого сказочного явления, вопрос: какие особые приемы мирового воздействия положила, сознательно или бессознательно, в основу своего труда эта женщина, если только эта одна ее секта, среди тысяч других, по существу с нею сходных, развила столь победную мощь, равная которой едва ли найдется в истории культуры на протяжении истекшего столетия?

Я попытаюсь ответить: решающим техническим фактором распространения Christian Science является ее доступность. Первою предпосылкою быстрого и широкого воздействия идеи остается, как показывает опыт, требование, чтобы она нашла себе простейшее и приуроченное к простейшим своим последователям выражение, чтобы ее формула могла быть вбита, подобно гвоздю, одним ударом молотка, быстро и легко в каждую голову. В одной древне-библейской легенде некий неверующий требует от пророка, в качестве мзды за свое обращение, чтобы тот изъяснил ему смысл своей религии в течение короткого срока, пока он, пророк, сможет устоять на одной ноге. Такому нетерпеливому требованию стенографически-краткого вразумления превосходно отвечает учение Мери Бекер-Эдди. И Christian Science может быть, в существенной своей части, изъяснена, пока стоишь на одной ноге: «Человек божественен, бог это благо, следовательно не может быть в действительности никакого зла, и все зло, болезнь, старость и смерть не действительность, а обманный призрак, и кто познал однажды это, того уже не посетит никакая болезнь, никакая боль не одолеет». Этот экстракт содержит все, и такая всем понятная формула не представляет никаких запросов к интеллектуальности. Тем самым Science заранее был обеспечен удел массового фабриката; портативная как «Кодак», как вечное перо, она является абсолютно демократическим продуктом духа. И удостоверено, что христианскую систему врачевания бесчисленные сапожники, агенты по сбыту шерсти и комми-вояжеры изучили, действительно, в десять лекций по расписанию, то есть в меньший срок, чем требуется для того, чтобы стать приличным мозольным оператором, плетельщиком корзин или парикмахером. Каждый, независимо от духовного своего уровня, дорос до Christian Science, она не требует ни образования, ни интеллигентности, ни какой-либо вообще личной человеческой зрелости; благодаря этой грубой своей простоте, она заранее доступна широким массам, в качестве евегушап-философии.¹ Сюда присоединяется второй психологически важный фактор: учение Мери Бекер-Эдди не требует от приверженцев, чтобы они хоть сколько-

¹ Философия для всех.

нибудь поступались личными удобствами. И — всякий день приносит нам доказательства этой заурядной истины, — чем меньше моральных или материальных требований предъявляют та или иная вера, партия, религия к индивидууму, тем более широким кругам они желанны. Стать последователем Christian Science не означает какой-либо жертвы; это просто ни к чему не обязывающее, ни в какой мере не обременительное решение. Ни одним словом, ни одной строчкой не требует эта догма от нового последователя, чтобы он изменил внешнюю свою жизнь: ему не надо соблюдать поста, молиться, ограничивать себя в чем-либо: даже благотворительности с него не спрашивают. Эту американскую религию дозволено зарабатывать сколько угодно денег и богатеть; Christian Science предоставляет кесарю кесарево и доллару — долларово; более того, среди всяческих восхвалений по адресу Christian Science можно найти и несколько странное, что эта «holy Science»¹ улучшила баланс многих коммерческих предприятий. «Men of business have said, this science was of great advantage from a secular point of view». Даже жрецам своим и врачевателям эта снисходительная секта разрешает энергично зашибать деньги. Так сильнейший из материальных инстинктов человека, погоня за деньгами, весьма рассудительно сочетается с его метафизическими склонностями. И, право, я не возьму в толк, каким бы образом можно было стать мучеником во имя этой, обладающей столь широким размахом секты, во имя Christian Science.

И в третьих — last not least:² если, с одной стороны, Christian Science, при помощи мудрого своего нейтралитета, исключает всякий повод к столкновению с государством и обществом, то, с другой, она получает сильнейшую поддержку из живых источников христианства. Тем, что Мери Бекер-Эдди, с гениальным провидением, строит свою систему духовного врачевания на скале официально признанной церкви и связывает свою «Science» с магическим всегда и везде в Америке словом «Christian», она как бы прикрывает свой тыл. Ибо никто не отважится с такой

¹ «Святая наука».

² Последнее, но не самое малое.

уж легкостью назвать чепухой или шарлатанством систему, которой прообразом провозглашается Христос, а наглядным символом — воскрешение Лазаря. Скенитически отвергать столь благочестивую родословную не значило ли бы сомневаться в библейских исцелениях и в содеянных спасителем чудесах? Уж одним этим гениальным приобщением своей религиозной системы к самому могущественному вероучению человечества, к христианству, свидетельствует эта ясновидящая в делах практики о своем, в дальнейшем столь плодотворном превосходстве над всеми предшественниками, над Месмером и Квимби, которые, по присущей им честности, упустили случай объявить свои методы боговнушенными, между тем как Мери Бекер-Эдди одним уж наименованием удалась привлечь в свою секту все скрытые течения американского христианства.

Таким образом это на асфальте взрощенное мировоззрение не только удовлетворяет свойственной американцу потребности в материальной и моральной независимости, но и опирается на его религиозное чувство, всецело замкнувшееся в формулах официально-церковного христианства. Но сверх всего этого, одним прямым, направленным в самое сердце ударом Christian Science проникает вплоть до последних душевных глубин американского народа, затрагивая его исполненный светлой веры, наивный, с такой великолепной легкостью воспламеняющийся оптимизм. Этой нации, всего сто лет назад себя открывшей и затем в один прием обогнавшей в техническом отношении весь мир, нации, которая сама еще не перестала с подлинно-юношеским жаром дивиться собственному своему неожиданному росту, такой победоносно-реалистической нации никакое предприятие не может показаться слишком смелым, никакая вера в будущее — слишком странной. После того как силою воли столько чудес совершилось в течение двух столетий, почему бы считать невозможной (долой это слово!) победу воли над болезнью, почему бы не справиться и со смертью? Как раз эксцентричность такого рода вызова как нельзя лучше соответствовала инстинкту Америки, не переутомленному, наподобие европейского, двумя тысячелетиями сомнений и скепсиса; это учение, нимало не покушающееся на частную жизнь, деловые интересы и церковную веру демократически-на-

строенного обывателя и вместе с тем окрыляющее его душу возвышенной надеждой, предъявило его энергии, его неукротимому боевому темпераменту вызов --- сделать невероятное здесь на земле возможным. Самая смелая из гипотез нового времени нашла себе столь гостеприимное прибежище в новой части света именно потому, что была дерзновеннее, чем все предыдущие; церкви из мрамора и камня возникли на американской земле, чтобы вознести эту веру до небес. Ибо во все времена любимейшею игрою духа человеческого остается мыслить невозможное как возможность. И тот, кто пробудит в человечестве эту священнейшую его страсть, тот сам заранее выиграл игру.

ПЕРЕХОД В ОТКРОВЕНИЕ

Фундамент учения заложен, отныне может начаться творческое строительство — новая церковь, башня, взмывающая ввысь, с далеко-гудящими колоколами. Но в каких крохотных масштабах, среди каких по-провинциальному смехотворных обстоятельств протекают первые, видоопределяющие годы юной системы! Неверного Кеннеди сразу же заменила дюжина других учеников — часовые подмастерья, фабричные рабочие, две-три Spinsters, незамужние немолодые женщины, не знающие, куда девать свое время и свою жизнь. Напряженно сидят на партах широкоплечие, здоровые парни и, орудуя неповоротливыми мозолистыми пальцами, заносят в тетрадки, как в сельской школе, основные правила «Science», которые диктует им, сидя за деревянным столом, высокая, прямая, властная женщина; восторженно, с поднятыми на нее глазами, с полуоткрытым ртом, прислушиваются они и напряженно пытаются понять ее речь, горячо и порывисто льющуюся с уст. Забавная и вместе с тем трогательная картина: в тесной, затхлой комнате, пропитанной запахом сношенного платья, унылого труда и нищеты, в низком и умышленно-убогом окружении впервые передает миру свою «тайну» Мери Бекер, и несколько жадных пролетариев, ничего другого не ищущих, как только променять свой изматывающий машинный труд на более легкую и доходную профессию, составляют сообщество ее первых последователей, зачаточную, мраком еще повитую ячейку, которая разовьется в одно из самых мощных духовных движений новой мировой эпохи.

Этим бесхитростным ребятам надо заплатить триста долларов за курс, прослушать двенадцать лекций, и потом они могут нахлобучить шляпу на голову и именовать ее докторской шляпой. После получения искомой степени

каждый из них может заняться докторским ремеслом и уж не беспокоиться больше о Мери Бекер. Но происходит нечто неожиданное: ученики уж не отходят от своей учительницы. Впервые выявляется необычайное излучение, исходящее от этой потрясающей и насилующей души женщины, впервые обнаруживается ее таинственная способность подвигать на духовное служение даже самые ограниченные и тяжеловесные натуры и вызывать всегда и повсюду страсть — поклонение или отчаянную ненависть. Проходит всего лишь полмесяца, и ее ученики душою и телом в ее власти. Они не могут ни говорить, ни думать, ни действовать без своей душеправительницы, они приемлют как откровение всякое ее слово, мыслят, направляемые ее волей. Под влиянием встречи с Мери Бекер — неслыханная мощь! — меняется жизнь каждого человека; всегда и повсюду вносит она в чужое существование, от избытка своей жизненной силы, неожиданную перенапряженность — влечение или отталкивание, при неизменном возбуждении. Вскоре между ее учениками начинается соревнование на почве самозабвенного служения ей, какое-то яростное растворение в ее воле. Желание этих отдавшихся ей людей — чтобы она была не только истолковательницей науки, но и наставницей их жизни; они навязывают ей не только духовное, но и духовническое руководство. И все это приводит к тому, что в июне 1875 года ученики собираются и протокольно закрепляют следующее свое решение:

„Имея в виду, что в недавнем времени в городе Линне объявилась открытая Мери Бекер-Глоуер наука врачевания, новая для наших дней и далеко превосходящая все другие способы,

и что многие наши друзья распространили по всему городу добрую весть и высоко держали знамя жизни и истины, освободившее множество людей от оков болезни и заблуждения,

и что в силу злостного и нарочитого непослушания одного единственного, коему нет имени в царстве любви, премудрости и истины, свет учения затмился тучами превратного толкования и туманом тайны и слово божие сокрылось от мира и осмеяно на улицах,

мы, ученики и защитники этой философии, науки жизни, договорились с Мери Бекер-Глоуер, что она раз

в неделю, по воскресеньям, будет держать нам проповедь и руководить нашими собраниями. И мы даем друг другу обет и заявляем и доводим до сведения всех, что согласились на протяжении года выплачивать суммы, указанные против нашей подписи, с оговоркою, однако, что наши взносы ни на что другое не должны быть обращаемы, как только на поддержку названной Мери Бекер-Глоуер, нашей учительницы и наставницы, а также на наем соответственного помещения».

Далее следуют подписи восьми учеников: Елизавета М. Ньюхелль—1.50 доллара, Даниэль Х. Споффорд—2 доллара, большинство остальных всего только 1 доллар или 50 центов. Из этой суммы уплачивается Мери Бекер-Глоуер по 5 долларов за ее каждодневную проповедь.

Приятельская подписка собутыльников, хочется сказать с улыбкой по поводу мизерности этих взносов. Но день 6 июня 1875 года является поворотным в истории Мери Бекер, в истории Christian Science; с этого дня начинается перекраска личного мирозерцания в цвета религии. Из Moral Science разом возникла Christian Science, из школы — община, из бродячей врачевательницы — вестница божья. Отныне она не представительница природных методов лечения, случайно устроившаяся в Линне, а промыслом божьим ниспосланная для врачевания душ. Еще раз сделала Мери Бекер гигантский шаг вперед, претворив свою дотоле духовную мощь в духовническую. Внешне на первых порах происходит нечто едва ли даже заметное: каждое воскресенье Мери Бекер - Глоуер держит в снятом для этой цели помещении проповедь своим ученикам, час или два; потом исполняется какой-нибудь благочестивый гимн на фисгармонии, — и скромное утреннее служение закончено. Кажется, таким образом, что дело ограничилось всего лишь тем, что ко многим тысячам крохотных американских сект прибавилась еще одна. В действительности же эта перекраска врачебного метода в религиозный культ опрокидывает вниз голову все наши обычные представления: в несколько месяцев и на глазах всех людей совершается процесс, требовавший у других религий десятилетий и столетий, а именно, некая земная вера сама себя утверждает в качестве божественной и, следовательно, непреложной догмы, человек еще при жизни превращается в миф-

в пророчески-сверхземной образ. Ибо с того мгновения, как чистейшее Mind Cure, лечение путем внушения, соединяется с богослужением, как Мери Бекер из «practitioner», из телесного врача превращается в блюстительницу душ и акт врачевания становится религиозным обрядом, с этого мгновения все то земное и рациональное, что характеризует возникновение Christian Science, должно быть сознательно затушевано. Никогда никакая религия не должна казаться верующим придуманной отдельным разумом человеческим; ей во всех случаях подобает быть сошедшей свыше, из миров невидимых, быть «явленной»; в интересах веры она должна утверждать, что избранный общиной есть на самом деле избранник самого господя-бога. Кристаллизация церкви, морфологическое превращение закона, задуманного первоначально как чисто гигиенический, в закон божий свершается в данном случае столь же явно и открыто, как в химической лаборатории. Шаг за шагом можем мы наблюдать, как легенда вытесняет документальную историю Мери Бекер, как Christian Science измышляет свой день благовещения, свой Дамаск, Вифлеем и Иерусалим. На наших глазах «открытие» Мери Бекер становится «внушением божьим», составленная ею книга — священной, ее земной путь — странствием нового спасителя по лицу земли.

Разумеется, столь внезапное обожествление требует основательной переработки биографии Мери Бекер в духе верующих. Сначала сознательно подмалевывается, в стиле «*legenda augea*», ¹ детство будущей святой, при помощи двух-трех трогательных черточек. Что должна была слышать, уже ребенком, истинная призванница божья? Она должна была слышать голоса, как Жавна д'Арк, и ангельское вещание, как Мария. Само собой разумеется, Мери Бекер (согласно своей автобиографии) их слышала, а именно на восьмом году. Ночью доносится к ней из мирового пространства таинственный призыв по имени, и она отвечает — восьми-летний ребенок! — словами Самуила: «Говори, о господи, твой раб тебе внимлет». Второй случай являет аналогию беседе Христа с книжниками: отвечая, на двенадцатом году жизни, на вопросы пастора, белокурая, бледная девочка

¹ «Золотая легенда».

повергает в трепет всю общину ранней своей мудростью. После столь осторожной подготовки прежнее научное «открытие» легко может быть переделано в «озарение». Долгое время колебалась Мери Бекер, к какому сроку приноровить момент сошествия благодати, пока, наконец, не решилась приурочить это «озарение» к 1866 году (т. е. осторожным образом, к тому времени, когда Квимби уже не было в живых). «В 1866 году я открыла христианскую науку, или божественные законы жизни, истины и любви, и назвала свою открытие Christian Science. Господь на протяжении целого ряда лет, в милосердии своем, готовял меня к восприятию этого решающего откровения, в коем явлен абсолютный и божественный принцип научного целения духом». «Озарение», согласно задним числом придуманной версии, свершилось следующим образом: 3 февраля 1866 года Мери Бекер (тогда еще Паттерсон) падает, поскользнувшись на мостовой в Линне, и ее поднимают в бессознательном состоянии. Ее отвозят на дом, где врач объявляет (будто бы), что случай безнадежный. На третий день, в отсутствии врача, она отказывается от лекарства и возносит (по ее собственным словам) «сердце к богу». Дело происходит в воскресенье, она отсылает из комнаты присутствующих, берет библию и раскрывает ее; взор ее останавливается на исцелении Христом расслабленного. Тотчас же она «внемлет утраченному голосу истины из глубин божественной гармонии» и благоговейно познает свой принцип на примере распятого Христа, когда он отверг укус, смешанный с желчью, поднесенный ему для смягчения мук. Она познает бога лицом к лицу, она «касается невиданных вещей и берет их в руки», она, как чадо божье, постигает это свое состояние, она слышит, как он вещает ей: «Встань, дочь моя!» И тотчас Мери Бекер встает, одевается, входит в общую комнату, где ждут уже священник и несколько друзей, трагически-готовых принести ей последнее утешение на земле. И вот они останавливаются в оцепенении при виде воскресшего Лазаря. Лишь в этом, лично ею пережитом чуде познала, якобы, она, Мери Бекер, под влиянием молниеносного внушения свыше, универсальный принцип творческой веры.

Этой легенде противоречит, к сожалению, данное под присягою показание врача, и еще более резко опровергает ее

собственноручное письмо Мери Бекер-Эдди, от весны 1866 года, в котором она, спустя много недель, с отчаянием пишет приемнику Квимби, д-ру Дрессеру, об этом падении и об ужасных его последствиях для нервной системы и в котором заклинает его (давно уже выздоровевшая, по последующей версии) помочь ей по методу Квимби. Но Квимби? Кто же такой Квимби? Имя это внезапно исчезло, одновременно с превращением Christian Science в сверхземное наитие. В первом издании «Science and Health» несколько вялых, случайных строк посвящены еще ее благодетелю и наставнику, но в дальнейшем Мери Бекер, стиснув зубы, до последнего издыхания отрицает, что когда-либо восприняла от него какой-либо духовный толчок. Напрасно ей указывают на ее панегирики в «Portland Courier», напрасно опубликовывают ее благодарственные письма и доказывают, при помощи фотографических снимков, что ее первые рукописные инструкции являются буквальными копиями его текстов, — на женщину, которая весь мир реальности объявляет «еггот'ом», заблуждением, ни один документ не производит впечатления. Сначала она отрицает, что вообще пользовалась когда-либо его рукописями, и, припертая, наконец, к стене, не задумываясь опрокидывает факты вверх ногами и утверждает, что не Квимби просветил ее относительно новой науки, а она его. Только богу, только его милосердию обязана она своим открытием. И ни один верующий не заслуживает этого наименования, если он отваживается сомневаться в ее догме.

Проходят год, два года, и свершилось самое ошеломляющее из превращений: из светского метода, по поводу которого «изобретательница» еще несколько месяцев назад с честной наивностью хвалилась, что «при помощи его можно в короткий срок составить хорошее состояние», получилось во мгновение ока божественное наитие; участница, в половинной доле, доходов доктора-картонажника Кеннеди стала боговдохновенной пророчицею. Ее инстинкт самовластия ограждается отныне непроницаемым прикрытием: всякое свое желание она выдает за божественный глагол и требует, во имя небесной своей миссии, повиновения даже в случаях самых смелых претензий. Так, например, теперь уж учебный курс не просто стоит у ней триста долларов добрыми американскими банкнотами, но

она поясняет (дословно!): «Когда господь внушил мне назначить плату за мое наставничество в христиански-научном врачевании, то какое-то особенное прозрение привело меня к установлению этого взноса». Своею книгою (авторское право на которую она яростно отстаивает) она обязана не собственному своему тленному разуму, но наитию божьему. «Никогда бы я не осмелилась утверждать, что книга написана мною». Всякое противодействие ей является, поэтому, непризнанием «божественного начала», коего она здесь, на земле, избранница. Благодаря такому приливу мощи, ее личное воздействие неизмеримо возрастает; отныне ее авторитет должен достигнуть гигантской высоты. Опьяненная новым ощущением своего избранничества, она все пламеннее и пламеннее захватывает и слушателей. Веря в себя, как в некое чудо, она создает веру; и через какой-нибудь десяток лет сотни тысяч людей подчинятся ее воле.

ПОСЛЕДНИЙ КРИЗИС

Всякое религиозное движение рождается в судороге и напряжении; грозная атмосфера неизменно сопутствует его проникновению в мир. И для Мери Бекер эти творческие часы первичного оформления веры не проходят без опасного потрясения нервной системы, опасного даже для ее жизни. Ибо слишком внезапно совершился фантастический переход от ничтожества к всемогуществу; вчера еще безнадежно больная, нищая, гонимая из одной мансарды в другую, она оказывается неожиданно в самом фокусе безудержного поклонения, она — целительница, почти святая. Ошеломленная, смятенная, в нервной лихорадке, испытывает теперь Мери Бекер то состояние, которое подмечено всеми врачами по нервным болезням и психологами, а именно, что при всяком психическом лечении пациенты сообщают, по началу, свое собственное беспокойство, свои неврозы и психозы нервной системе врача, и он должен проявить величайшее напряжение, чтобы его самого не захлестнули эти истерические состояния. Внезапный напор создавшегося вокруг Мери Бекер возбуждения почти опрокидывает ее. Испуганная, застигнутая неожиданно слишком крупным, слишком бурным успехом, она убеждается, что нервы ее не в силах справиться с предъявляемыми к ним требованиями. И вот она просит, чтобы ей дали вздохнуть, одуматься хотя бы на миг. Она заклинает слушателей оставить ее в покое со своими признаниями, просьбами и вопросами, — ей не вынести этой назойливой близости, этого отчаянного цепляния за нее. Пусть они сжалятся над ней, умоляет она, — иначе она сама погибнет: «Those, who call on me mentally, are killing me». Но вызванный ею экстаз не знает удержу. Жаркими своими, пылающими устами ученики крепко к ней присасываются и обессиливают ее вконец. Напрасно она противится, спасается

даже раз бегством из Линна, «driven into wilderness»,¹ от этой неожиданной, непривычной ей любви, и пишет потом из своего прибежища: «Если ученики и дальше будут обо мне думать и просить меня о помощи, мне в конце концов придется прибегнуть к самозащите, и притом так, что я начисто отделюсь от них неким духовным мостом, которого им не перейти». Подобно тому как изголодавшийся человек, вместо того чтобы проглотить предложенную пищу, извергает ее обратно, потому что его желудок, после длительных лишений, стал чрезмерно чувствителен и не усваивает пищи, так и в данном случае десятилетиями привыкшее к одиночеству чувство отвечает по началу на столь неожиданное преклонение безудержным испугом, судорожным отталкиванием. Она сама еще не поняла чуда своего воздействия, а уже от нее требуют чуда. Она еще чувствует себя едва-едва исцелившейся, а уже хотят, чтобы она была святая и всецелительница. Такого неистового напора нервы ее не выдерживают: она лихорадочно озирается вокруг, выискивая человека, который бы помог ей самой.

К этому присоединяется еще и личная неустойчивость женщины в климатическом возрасте. Более десяти лет жила она в стороне от мужского общества, вдовую или покинутой, и первый же молодой человек, к ней внешне приблизившийся, Кеннеди, при всем его равнодушии, вызвал в ней смятенность. И вот она неожиданно оказывается целыми днями, с утра до ночи, в кругу мужчин, молодых людей, и все они проявляют по отношению к ней избыток преданности, покорности, обожания. С трепещущим сердцем, с просветленным взором вскидываются они с места, как только она коснется порога платьем, всякое слово, которое она скажет, они принимают как истину, всякое желание как приказ. Но — вопрос поставлен, может быть, только бессознательно — относится ли это мужское преклонение к ней как духовной только руководительнице или, может быть, и как к женщине? Неразрешимый конфликт для этой жесткой, пуританской натуры, десятилетиями подавляющей в себе голос плоти! Еще, кажется, не вполне улеглась потревоженная Кеннеди кровь женщины за пятьдесят лет; во всяком случае ее отношение к студентам не вполне

¹ «Бежит в пустыню».

устойчивое, ее поведение характеризуется то жаром, то холодом, непрерывными переходами от товарищеской простоты к деспотической отчужденности. Что-то такое в сексуальной жизни Мери Бекер всегда давало отклонение в сторону; равнодушие, можно сказать почти отвращение к собственному ребенку, наряду с постоянно возобновляемыми попытками возместить этот изъян материнского чувства путем брака или близости с молодыми мужчинами, придают особую загадочность ее чувственной сфере. Вскрывает жизнь она нуждалась в окружении молодых людей, и эта близость одновременно успокаивает и беспокоит ее. Все яростнее прорывается эта внутренняя неуравновешенность в ее тайные сгратных призывах «отойти» от нее. В конце концов она пишет любимому своему ученику Споффорду, единственному, кого она с большею нежностью зовет по имени, «Гарри», чрезвычайно экзальтированное и вместе с тем крайне неловкое письмо, полностью ее обличающее, несмотря на отчаянное сопротивление. «Оставьте вы меня в покое или хотите убить меня?—обращается она к ничего не подозревающему слушателю,—вы одни виновны в ухудшении моего здоровья, и оно никогда не поправится, если вы не возьмете себя в руки и не отвратите своих мыслей от меня. Не возвращайтесь больше ко мне, я уж никогда не поверю мужчине».

«Я уж никогда не поверю мужчине», пишет она, в избытке раздражения, Споффорду 30 декабря 1876 года. Но уже через двадцать четыре часа тот же самый Споффорд с изумлением читает другую записку, в которой Мери Бекер сообщает, что переменила свои взгляды. Она завтра венчается с Аза Джилбертом Эдди, другим своим учеником. На протяжении суток Мери Бекер пришла к дикому решению; ужасаясь перспективе полного расстройства своих нервов, она в отчаянии цепляется за первого человека, оказавшегося под рукою, только чтобы не впасть в безумие, и вырывает у него согласие. Она связывает себя прочными узами с одним из своих учеников, с человеком случайным, ибо до сих пор никто из ее общины—да и она сама, вероятно,—не замечал ни малейшего признака особого ее расположения к Аза Джилберту Эдди, слушателю на одиннадцать лет ее моложе, бывшему агенту по швейным машинам, славному, несколько болезненному

парню, с прозрачными пустыми глазами и красивым лицом. Но теперь, стоя вплотную перед бездной, она резким порывом привлекает к себе этого скромного незначительного человека, который, будучи сам ошеломлен непонятной стремительностью этого выбора, честно поясняет изумленному в свою очередь Споффорду: «I didn't know a thing about it myself until last night». ¹ Но само собою понятно: каким образом решится слушатель отклонить отличие, которым удостоила его божественная наставница? Он слепо покоряется столь почетному выбору и в тот же день достаёт от властей разрешение на брак. И сутки спустя — как не узнать в этом неистовом темпе чудовищной целеустремленности Мери Бекер! — в первый день нового, 1877 года, заключается этот третий брак, и во время церемонии истинно наскоро наносится некоторый ущерб: невеста и жених в один голос заявляют, что им по сорок лет, хотя Эдди уже исполнилось сорок пять, а Мери Бекер — не менее пятидесяти шести. Но что значит «chronology», ² пустяковая, продиктованная кокетством ложь для женщины, которая с таким великолепным размахом распоряжается вечностями и эонами, которая презирает всю нашу земную действительность как нелепый обман чувств. В третий раз стоит она, теоретически отвергающая в своей книге брак, перед алтарем; но в этот раз новое имя, ею присваиваемое, принадлежит не только ей, но и истории. В качестве Мери Глоуер, Мери Паттерсон никто не ценил и не знал этой дочери фермера из Виргинии; ее первые два мужа бесследно исчезли для истории современности. Но это новое имя, Мери Бекер-Эдди, она разносит по пяти частям нашего света; и в дар своему жениху, маленькому агенту по швейным машинам, она приносит половинную долю своей славы. Такие порывистые, такие молниеносные решения бесконечно характерны для длинно-роковых мгновений ее судьбы. Самые важные поступки в жизни Мери Бекер-Эдди вытекают отнюдь не из сознания, не из логической проработки, а из вулканических извержений ее энергии, из каких-то судорожных разрядов подсознательной сферы. Ее перенапряженная нервная

¹ «Я сам ничего не знал об этом до последнего дня».

² «Хронология».

энергия, сказывающаяся по временам гениальностью, а по временам безумием, прорывается в столь неожиданных решениях, что ее сознательное «я» не может считаться за них ответственным. Что же удивительного в том, что она мнит себя озаренной свыше, что она смотрит на разрядку своей нервной энергии как на вспышку от неземной искры, а на себя самое как на избранницу, призванную к пророческой проповеди? Она ведь непрестанно переживает чудо претворения болезненных припадков нерешительности в озаряющую молнию прозрения, и большую часть с самым счастливым результатом. Ибо поступая импульсивно и неожиданно, она почти всегда попадает в цель; инстинкт Мери Бекер в сто раз умнее ее рассудка, гений в тысячу раз выше разума. И в этом решающем ее женскую судьбу кризисе она, даже продумав самым тщательным образом, не могла бы найти более разумного, с терапевтической точки зрения, способа укрепить свои нервы, чем избрать себе, столь молниеносно, человека, правда, суховатого, но именно потому надежного, как прочная трость, на которую можно спокойно опереться. Без этого спокойного и успокоительно действующего Аза Джилберта Эдди, без этого надежного прикрытия тыла, она вероятно не вынесла бы напора критических лет своей жизни.

Ибо этим ближайшим годам ее учения, Christian Science, суждено быть критическими. Одно мгновение даже кажется, что с таким трудом созданная община накануне распада, что недостроенная башня истинной веры обрушится. В ответ на ее замужество задетый в своей гордости Спиффорд, вернейший из верных, соучастник книги «Science and Health», покидает круг смиренных и открывает в Линне, как и Кеннеди, собственную торговлю Christian Science. Само собою разумеется, наставница, чья властная натура не терпит отпадений, мечет ему вслед громовые проклятия; она затевает тяжбу и с ним; так же, как и по отношению к Кеннеди, она пускает в ход против Спиффорда маниакальное обвинение, что он телепатически-зловредно влияет на расстоянии, что он отравляет ни в чем неповинным и ничего не подозревающим людям здоровье своим М. а. М., своим «malicious animal magnetism». ¹

¹ «Зловредным жизненным магнетизмом».

Как раз своих сбежавших учеников травит Мери Бекер всего яростнее, всеми псами своей ненависти, ибо, как и все основоположники церкви, она знает, что именно в первые миги созидания новой церкви всякий раскол, всякое отщепенчество грозят потрясением зданию в целом,—вспомним только ненависть Лютера к «свинскому» Цвингли, сожжение Сервета Кальвином из-за одного единственного разногласия в области богословия. Но все эти исторические распри на первых церковных соборах могут показаться исполненными благодушия в сравнении с яростью, с бешеной энергией преследования, развиваемыми Мери Бекер-Эдди, ни в чем никогда не знающей меры. Недостигаемая и непостижимая в своей страстности, эта женщина, неизменно переходящая все границы в области чувства, не останавливается и перед открытою бессмысленною, когда хочет уничтожить противника. Происходит нечто невероятное, нелепость, вот уже сто лет не имевшая места в Америке: в современный суд поступает самое настоящее дело о колдовстве. Ибо сила психического воздействия Мери Бекер столь затуманивает разум ее сторонников, что 14 мая 1878 года, в разгаре девятнадцатого столетия, одна из преданных ей душою и телом и разделяющих ее ненависть учениц, последовательница Christian Science, мисс Лукреция Броун подает на Даниэля Х. Споффорда официальную жалобу в том, что «он, пользуясь своей силою и искусством, вот уже год как наслал на нее, неправым и коварным образом, с намерением повредить ей, тяжкую болезнь, телесную и душевную, сильнейшие боли в области позвоночника и нервные, а также периодически повторяющееся умственное расстройство». Хотя, как доказано, Споффорд никогда не видел этой благочестивой Лукреции, никогда с нею не разговаривал и не подвергал ее врачебному освидетельствованию, и, следовательно, речь могла бы идти только о средневековых бреднях на темы телепатического околдования при помощи «taloschio»,¹ этот курьезнейший из всех процессов недавнего времени доходит все же до суда. Судья, разумеется, объявляет себя несостоятельным в таких каббалистических вопросах и со смехом бросает дело о колдовстве в кор-

¹ «Дурного глаза».

зину. Казалось бы, после такой конфузной катастрофы атмосфера Линна, накаленная «духовной», богословской дискуссией, должна разредиться приливом безграничной веселости. Но смешное ни в какой мере не доступно восприятию Мери Бекер-Эдди; она верует и ненавидит с отчаянной серьезностью. Она не идет на уступки. Споффорд и Кеннеди должны быть уничтожены. Неожиданно ее муж и второй ее любимец из учеников, Аренс (с которым она, впрочем, в дальнейшем тоже затеяла тяжбу), подвергаются аресту по обвинению в том, что подговорили двух безработных к покушению на Споффорда. Это темное дело никогда не разъяснилось до конца; во всяком случае, уже один факт официального обвинения в попытке убийства, непосредственно после колдовского процесса, свидетельствует, до какой смертельной неприязни дошли эти несогласия в вопросах веры. Одна жалоба опережает другую; что ни месяц, появляется в суде Мери Бекер-Эдди по новому делу. В конце концов и судья уже начинает улыбаться, когда худощавая седая женщина, волнуясь и кусая губы, излагает новую жалобу: то один из учеников не платит следуемых с него долларов и процентов по долгу, то какой-нибудь обманувшийся в ожиданиях требует деньги обратно, то «присвоили» какой-нибудь тезис ее учения. Сегодня слушательница заявляет, что ее учили сплошной чепухе и требует возмещения расходов, завтра Мери Бекер, в свою очередь, подает жалобу на какого-нибудь отступника Christian Science по поводу нанесенного «inition»¹ ущерба, — короче, в тесных пределах этого городишки необычайная по мощи энергия демонической властительницы душ разменивается на смехотворное сутяжничество и крючкотворство. И одно из самых примечательных духовных зрелищ недавней современности грозит снизойти до уровня простого шарлатанского фарса.

Это начинают, наконец, повимать и ученики. Они чувствуют то смехотворное, что заключается в этих колдовских процессах, в этой «демонофобии» их руководительницы. Постепенно начинает пробуждаться у них затуманенный с давних пор «common sense». Восемь вернейших дотоле учеников тайно собираются вместе и решают

¹ «Учению».

выразить свое несочувствие всей этой проникнутой ненавистью бредне о «malicious animal magnetism», вклинившейся в их учение. Они утверждают согласованно, что примкнули к Science, потому что она явилась для них вестью о всеблагости и вездесущии божьем; и вот теперь Мери Бекер — по примеру всех религий — задним числом вселила в мир, вместе с богом, и дьявола. И этого смехотворного дьявола, malicious animal magnetism, воплощенного в таких жалких фигурах, как Споффорд и Кеннеди, они не согласны признать в богопроникновенном мире божьем. И восемь ветеранов «Science» опубликуют 21 октября следующее сообщение:

«Мы, нижеподписавшиеся, признавая и ценя, что наставница наша, Мери Бекер-Глоуер-Эдди помогла нам в усвоении истины, подвинуты божественным внушением к тому, чтобы с сожалением отметить ее отход от прямого и тесного пути (каковой единственно ведет к преуспеянию в добродетелях христовых); этот отход выразился в частых вспышках гнева, в любви к деньгам и в склонности к лидермерию. Посему мы не можем долее подчиняться такому руководству. На этом основании мы, без малейшего чувства неприязни, мести или мелочного недовольства, а единственно из сознания долга по отношению к ней, к нашему делу и к себе самим, почтительнейше уведомляем о нашем выходе из сообщества учеников и из церкви христианской науки».

Это сообщение как гром поражает Мери Бекер-Эдди. Тотчас же она бросается к каждому из отступников и требует отказа от заявления. Но так как все восемь человек остаются непреклонными, то она хочет отстоять по крайней мере права своей гордости. Ловким образом она выворачивает дело наизнанку и находит (как выражается, виляя, алорозовая биография) «мастерское решение», оспаривая у ушедших право самовольно покинуть общину, и, таким образом, как бы кричит через улиду восьми ученикам, уже захлопнувшим за собою двери, что она приказывает им покинуть дом. Но такой мелочный триумф ее правоты не может изменить решающего факта — игра Мери Бекер-Эдди проиграна в Линне. Община распадается среди непрестанных распрей, газеты отвели Christian Science постоянную рубрику увеселитель-

ного свойства, дело ее рушилось. В качестве единственной возможности остается наново создать его в другом месте и на более прочном, широком фундаменте. И вот непризнанная пророчица поворачивается спиной к неблагодарному Вифлеему и перекочевывает в Бостон, этот Иерусалим американской религиозной мысли.

Еще раз — который раз в жизни? — Мери Бекер-Эдди проиграла игру. Но именно это последнее поражение становится ее величайшей победою, так как только вынужденное переселение пробивает ей дорогу. Учение ее не могло широко распространиться, имея исходною точкою Линн. Слишком уж нелепо было в этом узком кругу несоответствие между ее манией величия и ничтожным сопротивлением. Воля такого масштаба, как Мери Бекер, требует простора для своего действия; при такой вере, как у нее, нужна, в качестве почвы для посева, не кучка людей, а целая нация; никакой спаситель, сознает она, не в состоянии творить чудеса, если соседи целыми днями глазают в его мастерскую; никто не может остаться пророком в привычной и буднично-примелькавшейся обстановке. Тайна должна окутывать чудо; ореол может воссиять только в сумерках отдаления. Только в большом городе Мери Бекер может развернуться во всю свою величину.

Но еще решительнее требует у нее судьба последней жертвы. Еще раз, в последний раз старый жестокий рок пригибает к земле, тяжелой своей дланью, шестидесятилетнюю женщину. Едва только устраивается она в Бостоне, едва успевает заложить новый фундамент Christian Science на более прочном, стойком основании, как на нее обрушивается предательский удар. С давних времен Аза Джильберт Эдди, ее молодой супруг, страдал болями в груди; единственно эта слабость здоровья привела его когда-то к Споффорду и к Science; теперь сердечная болезнь быстро начинает развиваться. Напрасно Мери Бекер-Эдди с большим жаром чем когда-либо практикует на этом самом нужном для нее человеке свою «науку», напрасно она применяет к нему свой «духовный» метод, испытанный на множестве людей, для нее безразличных, — усталое сердце и облизвествленные сосуды не поддаются никаким целебным молитвам. И на глазах у мнимой чародейки-делительницы он постепенно угасает. Та, кто принесла

и возвестила здоровье тысячам и десяткам тысяч, сознает себя — трагический жребий — бессильной перед болезнью собственного мужа.

В этот исполненный драматизма миг Мери Бекер-Эдди совершает — самая, по моему, человечная секунда в ее жизни — предательство по отношению к своей науке. Ибо в безвыходном своем положении она делает то, что деспотически воспрещает всем другим; она уж не пытается более спасти своего мужа «by mind»,¹ но призывает к постели умирающего настоящего врача, д-ра Руфуса Нейеса, одного из «confectioners of disease». ² Один, единственный раз склоняется эта неукротимая душа перед своим врагом, перед действительностью. Д-р Нейес устанавливает наличие сильно запущенной сердечной болезни, прописывает дигиталис и стрихнин. Но поздно. Вечный закон сильнее науки, сильнее веры. 3 июня 1882 г. Аза Джильберт Эдди умирает в присутствии той самой женщины, которая перед лицом миллионов людей объявила болезнь и смерть невозможными.

В этот один, единственный раз, у смертного одра своего собственного мужа, Мери Бекер-Эдди отреклась от своей веры: она, вместо того чтобы довериться своей Christian Science, позвала врача. Один раз, лицом к лицу с сильнейшим из противников, со смертью, эта исполинская воля сложила оружие. Но лишь на секунду, не более. Как только оборвалось дыхание на устах у Аза Джильберта Эдди, вдова поднимает голову, более непреклонная, более упорствующая, чем когда-либо. Установленный вскрытием диагноз она именует ложным; нет, не от перерождения сердца скончался Аза Джильберт Эдди; он отравлен «metaphysical arsenic», «mental poison»,³ и она сама не могла его спасти при помощи «Science» только потому, что в то время ее собственные силы были надломлены месмерически-телепатическим воздействием Кеннеди и Споффорда. Чтобы ослабить впечатление, произведенное этой смертью на верующих, она пишет буквально следующее: «My husband's death was caused by

¹ «Духом».

² «Фабрикантов смерти».

³ «Метафизическим мышьяком, духовным ядом».

malicious mesmerism... I know it was poison that killed him, but not material poison, but mesmeric poison... after a certain amount of mesmeric poison has been administered, it can not be averted. No power of mind can resist it». ¹

Даже на могиле мужа воздвигает она знамя этой ужасающей бессмыслицы о магнетическом отравлении на расстоянии, смехотворно-величественная и величественно-нелепая, как всегда в решающие моменты своей жизни.

Но это было последним ее потрясением. Первого мужа она схоронила, второй ее покинул, теперь и третий под землю. С этого часа, ни с кем не связанная чувством любви, ни к чему на свете не прилепившаяся, живет она для одного единственного — для своего дела. Ничего не осталось у ней после шестидесяти лет горестей, кроме этой непоколебимой, непреклонной, фанатической и фантастической веры в свою веру. И вооружась этой своею несравненною мощью она завоевывает теперь, в старческом возрасте, мир.

¹ «Смерть моего мужа произошла от зловредного месмеризма. Я знаю, его убил яд, но не материальный, а месмерический... после того как известное количество месмерического яда было пущено, нельзя было этого предотвратить. Никакая сила духа не могла этому помешать».

ХРИСТОС И ДОЛЛАР

Шестьдесят один год насчитывает Мери Бекер-Эдди, когда возвращается с могилы третьего мужа. Шестьдесят один год, прародительский возраст, когда другие женщины надевают черный чепчик и тихонько усаживаются в темный уголок; возраст, когда равнодушные и усталость впервые берут верх над человеком, ибо как долго можно еще действовать, и во имя кого? Но у этой поразительной женщины другой счет мирового времени. В старческом возрасте еще более отважная, умная, проникательная и страстная чем когда-либо, приступает Мери Бекер-Эдди, в шестьдесят один год, к настоящему своему делу.

Сопротивление всегда было ее силою; единственно на противодействии строит она свою мощь. Отчаянию обязана она своим выздоровлением, болезни — смыслом жизни, бедности — упорным стремлением ввысь, неверию других — непреклонною верою в самое себя. То обстоятельство, что город, где она основала свою церковь, Линн, отвергнул ее, становится даже, в деле развития ее учения, решающим преимуществом. Ибо пределы этого городишки башмачников были слишком тесны для широких ее планов; тот гигантский рычаг, которым она хочет вывернуть мир из его основ, не мог быть слишком глубоко заложен в землю; там она была в стороне от великих тракторов и факторов успеха. В Бостоне, при взгляде на современный деловой город, ей сразу же становится ясным, что ее «духовную» идею нужно подкрепить всеми материальными и механизированными средствами техники, пропаганды, рекламы, прессы и производственной деловитости, что под духовный аппарат надо подвести как бы стальные колеса, чтобы он, как огненная колесница Ильи, поднял ввысь, к небесам, сердца человеческие.

И вот она сразу же ставит дело в Бостоне на более

широкое основание. Убожество — она уже знает это — вредит в земном нашем мире; за человеком, с виду незначительным, не признают силы. Поэтому она уж не снимает, как в Линне, одноэтажный невзрачный деревянный сарайчик, а покупает в лучшей части города, в авеню Колумба, трехэтажный гранитный дом, с приемными помещениями, картинами, коврами и красивым салоном. Аудитория не уставлена грубо сработанными скамьями, но отделана изящно, ибо ее учениками в Бостоне будут не починщики каблуков, не тяжеловесные неуклюжие парни, а «refined people»; ¹ этих новых клиентов не следует отпугивать видом скудости. И снаружи новая вывеска с широкою серебряной доской знаменует повышение социального уровня. Такие слова, как «Teacher of Moral Science», преподаватель моральной науки, звучат для Бостона слишком жидко, слишком скромно и невятно. Слишком легко можно угодить с ними в один ряд с карточными гадалками, телепатами и спиритуалистами. Поэтому школа высшего разряда сразу же присваивает себе и более высокое наименование: Christian Science преобразуется в университет, в «Massachusetts Metaphysic College», ² где, как объявляет Мери Бекер, преподаются, с разрешения властей, патология, терапевтика, философия, метафизика и их практические приложения к болезням. В кратчайший срок, с чисто американскою поспешностью, подпольная учительница превратилась в доцента университета, докторское ремесло стало профессурой, и ускоренные «духовные» курсы — утвержденною государством «высшею», якобы научною школою.

Но наряду с этим внешним превращением еще более разительною представляется внутренняя приспособляемость Мери Бекер-Эдди к ее собственному, возвышению; по мере своего успеха она неизменно поднимается выше и выше, до духовного и социального уровня новой сферы. Здесь, где слушательницами ее явятся дамы общества, образованные или — скажем осторожнее — на половину образованные люди, она уж ни на секунду не ведет себя в лучшем «society» как особа «inferior» или провинциалка; уже на первой ступени сказывается ее поразитель-

¹ «Избранная публика».

² «Массачузетский Метафизический Колледж».

тельный дар самовыдвижения; она сразу же превращается в леди и производит впечатление даже на самых требовательных в смысле светскости. Та, которая сорок лет одевалась в скроенные задешевку тряпки, принимает в Бостоне, в своей гостиной, за чайным столом гостей, изящно одетая. Всякий разговор она умеет с успехом поддержать, и когда по воскресеньям она всходит в своей церкви на кафедру, в белом шелковом платье, с ясным и твердым взором, в ореоле постепенно-седеющих волос, у всех захватывает дыхание, — так властно действует ее величественная фигура. Неизменно, с первых же ее слов, слушатели чувствуют себя захваченными ее красноречием. На протяжении десятка лет эта женщина преодолевает в речи и в письме, в учении и в жизни все препоны своего скромного происхождения, своего недостаточного образования; она научается не учась; все как-то само собой приходит к ней. Вскоре вокруг ее личности создается ореол, исполненный шелеста крыльев; все более пламенным становится обожание окружающих; но по опыту Линна эта вдумчиво-наблюдающая женщина знает, что только соблюдая дистанцию можно сохранить ореол. Теперь уж Мери Бекер-Эдди не подпускает ни одного чужого человека к своей жизни; она не терпит, чтобы в окна ее заглядывало любопытство. И тем сильнее действует появление ее в аудитории или на церковной кафедре, по воскресеньям; кажется всякий раз, что она выступает из какого-то облака тайны; и отныне между нею самою и миром установлены живые буферы — личный секретарь и низшие служащие, которые избавляют ее от всех деловых и неприятных процедур. При такой недоступности ценят как выдающееся отличие, если она примет иной раз, в виде исключения, частным образом, ученика или пригласит в салон гостей. В центре миллионного города, в грохоте городских дорог, под шум биржи и в круговороте людских потоков создается постепенно вокруг ее личности легенда. Уже в Бостоне Мери Бекер-Эдди становится из живой человеческой фигуры мифом.

Но она сознает с полной ясностью, что, если тишина и тайна повышают психическое воздействие имени, то само учение требует громкости, требует органа для звучания. Америка 1890 года — она убеждается в этом по

шуму большого города — не из тех стран, где можно пробиваться незаметно, тихо, медленно. Если хочешь обеспечить там успех чему-либо, нужно это «что-либо» вбивать в сознание масс тяжким молотом, громкими, звучными, то-и-дело отдающимися в мозгу ударами рекламы. И новая секта также нуждается там в шумихе, в пропаганде, в плакатах, подобно новому мылу, вечному перу новой системы, новой марке виски. Слишком велик, слишком широк стал наш мир, чтобы весть могла переноситься из уст в уста, как в раннюю пору человечества. Здесь надо иметь в своем распоряжении для каждой вести микрофонную трубку, мегафон, для того чтобы она прогремела до другого края страны, до Кентукки и Калифорнии, вплоть до берегов Тихого океана. Все новое нуждается в век типографских чернил в газете; и так как наиболее крупные из них проявляют к ее учению равнодушие, то она решает основать, в качестве первого и главного средства пропаганды, собственный орган, «Christian Science-Journal». Тем самым впервые преодолено пространство, границы звучания слова развинуты в бесконечность. Основание «Christian Science-Journal» тотчас же решает победу Christian Science; впервые узнают в дальних провинциях больные, нигде не нашедшие себе исцеления, о новом бостонском универсальном медицинском методе, благодаря обстоятельно расписанным случаям чудесного выздоровления. А для отчаявшихся никакая дорога не кажется дальней. Вскоре первые больные отваживаются на попытку. Из Нью-Йорка, из Филадельфии прибывают пациенты; некоторые выздоравливают, и эти выздоровевшие разносят учение дальше. С другой стороны, «healer» из разных городов, первые евангелисты Мери Бекер-Эдди, печатают в «Journal» объявления со своими адресами, и вот колеса этого нового трактора успеха начинают работать все быстрее и быстрее. Ибо всякий «healer», чтобы расширить возможность заработка, настоятельнейшим образом заинтересован в том, чтобы максимально распространить учение и веру в это учение; всякий новый «доктор» действует как новый пропагандист «Christian Science-Journal», он вербует подписчиков, продает экземпляры «Science and Health». От этого колесо вертится еще быстрее; наново привлеченные читатели увеличивают

число пациентов «Massachusetts College», некоторые из выздоровевших, в свою очередь, пользуются удобным случаем, чтоб самим стать «healer», эти новые делители вербуют опять новых подписчиков и новых пациентов — и так, наподобие снежного кома, нарастают, в силу взаимопритяжения интересов, тираж газеты, тираж книг, число верующих. Стоит в каком-нибудь городе завестись первому стороннику, как через два-три месяца туда перекочевывает «healer», пациенты которого образуют общину, и так происходит повсюду; короче, питательный провод Christian Science приключен полностью к духовно-нервным путям Соединенных Штатов. Явственно можно измерить неудержимо быстрый расцвет Shristian Science ростом цифр. В 1883 году в «Christian Science Journal» печатают свои адреса четырнадцать «healer», в 1886 году уже сто одиннадцать, в 1890 — двести пятьдесят; кроме того, в том же году числятся официально тридцать три академии, то есть филиалы, в Колорадо, Канзасе, Кентукки, во всех департаментах Америки. В том же темпе растут и число изданий «библии»: в 1882 году выходит первая, а в 1886 — шестнадцатая тысяча «Science and Health»; к концу столетия число экземпляров этой книги переходит, вероятно, за триста тысяч. И от всех этих внезапно открывшихся источников — от книг, газеты, объявлений, университета и от практики — начинают притекать все более обильные денежные потоки, объединяемые кассовой книгой «mother Mary», ¹ цифры из десятилетия в десятилетие растут в кубической прогрессии. Тысячи и сотни тысяч гонорара за университетский курс, сотни тысяч авторского гонорара, сотни тысяч в форме подарков и миллионы долларов как вклады на построение церквей.

О том, чтобы поставить преграду этому нечаянному притоку маммоны, Мери Бекер-Эдди никогда и не думала; наоборот, с тех пор как ее костлявая, жесткая старческая рука однажды ухватила за рукоять насоса, она не перестает уже до последней капли выжимать золотую кровь из верующих. Вместе с первыми нажитыми деньгами проснулись в Мери Бекер, наряду со многими другими дремавшими в ней способностями, прямо-таки

¹ «Мать Мери».

гениальная деловая сметка, безграничное сребролюбие. С тою же жесткою непреклонностью, с которою она впитывает жаждущей своей душою всякую земную власть, загребает она теперь деньги, эту наиболее наглядную форму власти. Чем доходнее оказывается Christian Science, тем более деловитую организацию придает ей проявившая неожиданный практический талант руководительница. Как в хорошо идущем торговом доме, она открывает, по трестовской системе, одно за другим, отделения своего предприятия. Едва только спрос на «Science and Health» бурно повышается, как Мери Бекер-Эдди поднимает продажную цену на пятьдесят центов, обеспечивая себе на каждом экземпляре доллар чистоганом «авторских». Кроме того, почти каждое издание видоизменяется, ибо верующие покупают вдобавок к прежним и новую, «окончательную» обработку; таким образом избегается какой бы то ни было застой в сбыте. Все явственное проглядывает за «делом веры» финансовая организация; возникает целая промышленность, обслуживающая Christian Science, — книги, брошюры, уставы, «автентичные фотографические снимки» Мери Бекер-Эдди по пять долларов за штуку, «Christian Science spoons» (ужасающе-безвкусные серебряные ложки), с ее изображением на эмали. К доходам от промышленной продукции присоединяются благодарственные приношения верующих своей руководительнице, о которых обстоятельно сообщается в журнале на Рождество и Новый Год, чтобы подвинуть к жертвам менее ревностных; большой бриллиантовый крест, горностаевый палантин, кружева и драгоценности — все это плоды кроткой настойчивости «mother Mary». Человечество не припомнит, чтобы когда-либо духовного порядка вера была удачнее и быстрее переделана в прибыльную статью, чем Christian Science — при помощи финансового гения ее основательницы; десять бостонских лет преобразуют метафизическое учение о нематериальности мира в одно из самых доходных, в материальном смысле, предприятий. И Мери Бекер-Эдди, недавно еще нищая, может в конце века с гордостью именовать себя миллионершей.

Но, неизбежным образом, чем шире разливается кака-либо идея в массах, тем в большей степени улетучивается ее как бы радиоактивная сущность; всякая вера, которая

служит денежным интересам или власти, берет грех на душу. Нажива во всех случаях понижает моральную ценность подвига; так и здесь: связавшись с рекламой, с деньгами, с пропагандой и придав, таким образом, Christian Science характер делового предприятия, Мери Бекер-Эдди протянула чорту мизинец; скоро и вся она будет в его лапах. С момента этого своеобразного сочетания христианского, будто бы, метода с полновесными тысяче-долларовыми чеками, появляется изъян в фанатически-прямолинейной доселе тактике Мери Бекер-Эдди: все труднее становится верить в ее веру, поскольку она при помощи этой веры делает неплохие дела. Ибо для всякого искреннего чувства необходима неразрывная связь благочестия с самоотвержением, с отказом от земного; Будда, покидающий свой царский дворец и несущий свое учение в мир в качестве нищего, Франциск, срывающий с себя одежды и раздающий их бедным, любой неприметный еврей-начетчик, презирующий деньги и наживу и корпящийся над священными книгами, с коркою хлеба в руке,— все они убеждают жертвою, а не словом. Путь всех религий к божеству вел до сих пор только через бедность и лишения. Но здесь, в этой новой американской религии, в догме Мери Бекер-Эдди, банковский счет, с текущими по нему процентами, впервые не являет собою огорчения для пророка, а ссылка на Христа не препятствует ему энергично хватать отовсюду доллары. В этом пункте теологической системы оказывается трещина, в направлении которой энергично обрушивается великий американский сатирик Марк Твен, с целью ниспровергнуть здание Мери Бекер-Эдди. В своей блестящей полемической статье он ставит ряд щекотливых вопросов новой пророчице, которая презирая материю, загребает больше миллиона в год, в высшей степени «материальными долларами». Раз ее книга «Science and Health», по собственному ее признанию, написана не ею самой, но продиктована свыше, почему, спрашивает он, ставит она чужую собственность под защиту закона об авторском праве и получает таким образом отчисления, причитающиеся, собственно говоря, богу? И если в своем методе она ссылается на исцеления, которые совершал Христос, то пусть она библиею докажет и вторую половину своей аналогии,

а именно, что Христос, подобно ей и ее ученикам, когда-либо требовал денег или иных ценностей за лечение духом. В забавной форме изображает он расхождение между теорией и практикой: бравый «healer» с пафосом внушает своему пациенту, что все нереально, опухоль на ноге нереальна, боль от опухоли нереальна, нога нереальна и самое тело, к которому привешена эта нога, нереально, человек вместе со своим телом нереален и мир нереален, — и все же, если больной тут же не выложит на стол за лечение столько-то реальных земных долларов наличными, «healer» обязательно бежит к ближайшему реальному окружному судье. Неумолимо разоблачает Марк Твен эту своеобразную, двойственную любовь Мери Бекер-Эдди к сиянию святости и к блеску золота и, в конце концов, называет сплошным лицемерием религию, которая набивает свои карманы деньгами, не помышляя о том, чтобы проповедывать и исполнять закон благотворительности. Даже его, прирожденного и присяжного американца, сына страны, где деловитость не мешает гражданам быть добрыми христианами, корбит эта трестовски-деловитая торговля предметами веры, эта слишком тесная связь между Христом и долларом, и он развивает всю силу своего художественного дара, чтобы динамитом сатиры взорвать, пока не поздно, здание ее мощи.

Но что может и кто может смутить такую женщину, как Мери Бекер-Эдди? Что она сказала — истина, что сделала, то правильно. В деспотическом своем великолепии она никогда не станет считаться с чьими бы то ни было доводами против своих поступков и мыслей. Слух у ней тугой на возражения, так же, как тугая рука на власть и на деньги; она умеет, самым честным образом, не слушать того, чего не хочет слышать. В особенности двух вещей не позволяет она касаться в непоколебимом своем упорстве: своего капитала и своей веры. Поэтому она никогда не поступится ни иотой своих убеждений, ни одним центом из своих трех миллионов долларов. И от брошенного ей упрека в наживании денег она легко отмахивается. Да, отвечает она, верно, последователи Science зарабатывают теперь много денег, но как раз это доказывает добротность учения. То, что его провозвестники и распространители не нуждаются так, как раньше,

лучше всего свидетельствует о необходимости этой науки и о ее торжестве. «Now Christian Scientists are not indigent, and their comfortable fortunes are acquired by healing mankind morally, physically and spiritually». И если когда-то господь повелел ей требовать платы за наставничество и лечение, то впоследствии она уразумела смысл этого веления божия: принося материальную жертву, пациент тем самым крепит, как показал опыт, свою волю к вере. Чем тяжелее для него жертва, тем благотворнее напрягает он внутренние свои силы для выздоровления.

Нет, деньги это сила, и ни одной крупицы силы не выпустит Мери Бекер добровольно из своих рук; глухая ко всем возражениям, приключает она мотор своей Science к электрической сети «publicity» (рекламы), которая питает все движения и начинания современности своей неистощимой динамикой. И действительно, беспримерный успех как бы оправдывает ее систему насильственного уловления душ. С тех пор как печатные станки в сотнях тысяч экземпляров распространяют ее книги, с тех пор как некий осведомительный центр повышает прежнее личное влияние до степени безличного, с тех пор как путем планомерной организации по всей нервной сети страны установлены переключающие контакты, учение начинает распространяться американскими темпами, и результат превосходит самые смелые ее ожидания. С каждой неделей, с каждым днем радиус удлиняется; уже давно в круг влияния Мери Бекер-Эдди входят не только Бостон, не только один Массачузетс, но и вся огромная страна от Атлантического до Тихого океана.

Когда в 1888 году, через 5 лет после открытия «университета», Мери Бекер-Эдди решается, наконец, устроить в Чикаго официальный смотр верующим, она впервые в жизни переживает мистическое головокружение от массового воодушевления, переживает полную, неоспоримую победу. Ожидали прибытия восьмисот делегатов Christian Science, но четыре тысячи человек ломятся в двери, чтобы воочию лицезреть «бостонскую пророчицу» (так ее теперь называют). Как только она появляется, все встают как наэлектризованные, и овации длятся несколько минут. Такому бурному воодушевлению она не может противопоставить надменного молчания. Хотя это и не входило

первоначально в ее намерения, она вынуждена сказать несколько слов о смысле своего учения этим четырем тысячам, судорожно напряженным, благоговейно ждущим. Нерешительно всходит она на эстраду, оглядывает своими серыми глазами, о чем-то думая, толпу и потом приступает к импровизированной речи; сначала она говорит медленно, но торжественность минуты увлекает ее, и речь льется столь страстно, столь вдохновенно и вдохновляюще, что журналисты, так же, как это было со знаменитой речью Линкольна в Блумингтоне, забывают ее стенографировать. Никогда, заверяют единодушно ее последователи, не говорила Мери Бекер-Эдди так горячо, так разительно и прекрасно, как в этот раз, на первом своем смотре, когда впервые ощутила живое дыхание масс у самых своих уст. В глубочайшей тишине прислушиваются четыре тысячи человек к этой все более и более окрыляющейся, рвущейся ввысь речи, и едва она кончила, как возникает какой-то дифирамбический шум. Мужчины безудержно бросаются на эстраду, женщины протягивают свои подагрические руки и кричат: «Помоги!», взрослые люди целуют ей руки, платье, ботинки, и требуются величайшие усилия, чтобы этот вихрь воодушевления и одержимости не сбил с ног и не смял Мери Бекер-Эдди. Положение, в силу чрезмерности экстаза, становится опасным: овации заглушаются по временам пронзительными воплями боли, рвутся шелковые платья и кружева, пропадают драгоценности; словно в опьянении рвутся к ней верующие, чтобы коснуться только ее руки или края, складки ее платья и от этого прикосновения выздороветь. И по официальному сообщению «Christian Science-Journal» одиннадцать человек больных исцелилось в этот день только благодаря ее присутствию.

Этот «праздник духа» в июне 1888 года приносит Мери Бекер решающую победу. Он завоевывает ей Америку. Но теперь верующие требуют уже памятника этому торжеству. Они хотят, чтобы отныне, когда незримая дерковь столь величественно утвердилась в душах, она и внешне величаво вознеслась бы ввысь, в каменных глыбах. Такой проект претворения духовной системы в храм земной ставит Christian Science под угрозу новой опасности. И Мери Бекер-Эдди, с безошибочным своим ин-

стинктом, некоторое время колеблется. В первом издании «Science and Health», в эпоху своего радикализма, она высказалась ясно и отчетливо против наглядно-зримых храмов божиих и даже признала ошибкою со стороны учеников Христа, что они ввели церковное устройство и церковные обряды. «Churches' rites and Ceremonies draw us to material things». Церковность тянет нас книзу, к земле, и молитва в храме не настоящая молитва, так писала она тогда, в 1875 году. Но теперь, когда ей предлагают соорудить собственное святилище, собственную церковь, «mother Mary» не в силах противиться попытке ее обожествления. После некоторых колебаний она дает свое согласие. Ученики поспешно собирают деньги на постройку, и, кажется, впервые со времен упадка римской империи воздвигается святилище живому человеку. Впервые можно на фронтоне христианской церкви, где обычно высекаются надписи о посвящении богу или какому-нибудь святому, прочесть имя частного лица: «A testimonial to Our Beloved Teacher, the Rev. Mary Baker-Eddy, Discoverer and Founder of Christian Science». ¹ Внутренность церкви украшена изречениями из двух священных книг, из библии и из канонизированного уже евангелия Мери Бекер-Эдди. Но святая святых храма — невероятно, но на самом деле так — это «The mother's room», ² выложенная драгоценным деревом, отделанная ониксом и мрамором часовня, которая предназначена для ее пребывания, когда она вздумает посетить церковь, и которой никто кроме нее не в праве пользоваться. Неугасимая лампада горит в этой комнате — символ непреходящего смысла Christian Science. И оконная мозаика — в других церквях цветное отображение событий из жизни святых — представляет Мери Бекер-Эдди в тесной мансарде, озаренную звездой Вифлеема. Начало опасному обожествлению положено. Впервые в новую эпоху верующие соорудили святилище живой женщине; неудивительно, что вскоре и ее самое будут именовать святой.

¹ «Возлюбленной нашей наставнице, преподобной Мери Бекер Эдди, открывшей и изобретшей христианскую науку».

² «Покой Матери».

ОТХОД В ОБЛАКА

На закате девятнадцатого столетия старая женщина с седыми как лунь волосами твердым еще шагом всходит вверх, по последним ступеням лестницы, ведущей к власти. На шестидесятом году фантастической ее жизни начался подъем; на семидесятом она достигает золотой ступени богатства и славы. Но вершина еще далеко; неутомимо, закалив сердце, устремляется она, в непомерном своем честолюбии, выше и выше. Когда она возвращается с первого своего публичного триумфа, с „праздника духа“, из Чикаго, трепет благоговения пронизывает общину верующих. С изумлением собираются вокруг нее ученики, лихорадочное ожидание владеет всеми: какие новые чудеса совершит еще эта необыкновенная женщина? Не покорит ли она теперь, своим чарующим красноречием, город за городом, предприняв триумфальную поездку по огромной Америке? Не возникнут ли по всей стране сотни академий, сотни общин, конгресс за конгрессом? Все возможности, они ясно чувствуют, у нее в руках. Ей стоит только простереть их, и вся Америка перейдет на ее сторону.

Но выдающийся психологический гений Мери Бекер-Эдди в том и заключается, что в решающий час она поступает самым неожиданным и всегда самым правильным образом. В миг, когда вся община ждет от нее нового подвига, как раз в этот напряженный миг она, величественно как будто отрекаясь, добровольно слагает с себя власть; возвратясь победительницею, она неожиданно выпускает из рук покрытое славою оружие. Три эдикта издаются один за другим, ошеломляя друзей, смущая приверженцев, три приказа, представляющихся ослепленному взору ей подвластных совершенно бессмысленными, даже нелепыми. Ибо разве не ставят они препоны делу, не грозят разрушением величаво вознесшейся постройке? Пер-

вый эдикт, от 1889 года, повелевает скрыть до основания крепчайший бастион Christian Science, закрыть Massachusetts Metaphysical College, «дабы дух Христов свободно веял среди учеников его». Одновременно упраздняется и внешняя, зримая организация церкви. Вторым эдиктом, от 1890 года, она отклоняет от себя всякое вмешательство и всякое влияние на построение общины: «Не следует ни устно, ни письменно просить у меня советов о том, кого включать или не включать в списки иногородних представителей, о том, что подлежит опубликованию в журнале, о несогласиях, буде таковые возникнут в среде учеников христианской науки, относительно приема или исключения членов христианско-научной церкви, или относительно лечения больных. Я же буду любить все человечество и работать для его блага». Этим указом старая воительница торжественно слагает с себя доспехи. И третий эдикт заявляет даже о том, что она окончательно покидает резиденцию и отказывается от всех должностей и отличий. В мае 1889 года журнал ее, сообщавший до сих пор, подобно наполеоновскому «Moniteur», только о победах, обнародывает великую весть об ее отходе в облака: «Так как дорогая наша мать во Христе удаляется из нашей среды в гору, дабы воспринять высшее посвящение и указать нам и грядущим поколениям путь истинной осознанности в бога, то да осенит нас благоговейное безмолвие». И действительно, она ликвидирует свое домашнее хозяйство в Бостоне, покупает себе уединенный сельский дом близ Конкорда «Pleasant View»¹ и исчезает.

Учеников охватывает благочестивый трепет перед лицом столь высокой премудрости и столь неожиданного смирения. Этим отречением, — так чувствуют они, — Мери Бекер-Эдди нагляднее чем когда-либо явила миру свое равнодушие ко всему земному; подобно тому как император Карл удалился в монастырь св. Юста, дабы служить одному богу, удаляется и она в затворничество; подобно тому как Игнатий Лойола кладет свой меч на алтарь Монсеррата, так и она отказывается от всякого видимого величия ради величия иного. Какое разительное указание клеветникам, державшим именовать такую женщину, как

¹ «Приятный вид».

Мери Бекер-Эдди, честолюбивой, падкой до денег и до власти! Теперь чистота ее доказана непреложно, и этим подвигом впервые истинно освящена ее вера.

Но какое заблуждение со стороны этих простодушных ее последователей! Никогда эта женщина с цепкою хваткою не помышляла серьезно о том, чтобы выпустить власть из рук, и менее всего — в эти минуты лицемерного отречения. На самом деле этот мнимый отход свидетельствует лишь о гениальных тактических способностях испытанной воительницы. Если она рушит теперь свое дело, то единственно потому, что оно слишком разрослось, слишком расширилось и не поддается уже, в таком виде, твердому и последовательному руководству. Она рушит только существующую его организацию, чтобы забрать ее в руки по-новому, еще более крепко и, прежде всего, еще более самовластно, чтобы стать, в еще большей степени, госпожой над ней и владычицей. Ибо по мере того как церковь росла вширь, она все больше и больше освобождалась от ее авторитета; слишком свободным, слишком независимым образом, на расстоянии, недоступном личному воздействию, возникали отдельные общины и университеты в каждом отдельном случае под началом какого-нибудь случайного наставника или духовного руководителя. Как легко могло это кончиться отпадением отдельных общин! Подобно Кеннеди и Споффорду, и другие диадохи ее духовного, Александрова царства могли дерзко восстать против ее владычества, ученики и врачеватели могли добиться самостоятельности! И вот она решает, что лучше уж разрушить до основания прежний порядок и создать новый, более прочный и устойчивый во времени. Горизонтальная схема построения Christian Church ¹ заменяется по новому проекту как бы вертикальной, демократия в области веры — иерархией, пирамидою, где вершина власти олицетворяется ее личной волею. Все церкви, все общины Christian Science теряют, силою одного указа, свою самостоятельность; все они целиком подпадают власти наново-созданной «материнской церкви», «Mother Church», и ее «pastor emeritus» (всего правильнее перевести: и ее папа), само собою разумеется, Мери Бекер-Эдди. Решения по-

¹ «Христианской церкви».

становляются, правда, консисторией, но кто назначает ее членов? Мери Бекер-Эдди. Кто во всякое время может исключить непокорных участников? Мери Бекер-Эдди. Кто может своим «veto» объявить выбор председателя недействительным? Опять таки Мери Бекер-Эдди, которая за понятием «Mother Church» незаметным образом, но с удесятеренною силою воздействия прячет свою собственную личность. Создается железный канон, который упраздняет отныне какую бы то ни было самостоятельность в пределах отдельных церквей, устраняет проповедников, имевших до сих пор возможность свободно и по собственному разумению изъяснить слушателям проблемы Christian Science, и заменяет их простыми «reader», чтецами; в церквях не могут продаваться никакие другие книги, кроме книг Мери Бекер-Эдди, и только собственные ее слова могут быть оглашаемы, с точным указанием текста, чем наперед исключается возможность ереси. Столь же планомерно видоизменяется и финансовая организация. Все денежные средства поступают отныне в фонд «материнской церкви», которую пожизненно распоряжается она одна и никто другой. Правда, и здесь pro forma¹ имеется так называемый «board of directors»² с президентом и казначеем, но горе тому, кто пожелает действовать по своему и не подчинится незримой и непреложной воле той, которая покинула будто бы мир! Тотчас же проклятие церкви упадет на его голову из того облака, за которое скрылась, недоступная и непостижимая, Мери Бекер-Эдди.

Совершенно ясно, какими образцами воспользовалась Мери Бекер-Эдди в этой полной перестройке своей церковной системы: англо-саксонская проповедница в точности воспроизводит в своей «пирамиде власти» иерархию католической церкви. В соответствии с этим на ее долю достается в стране демократии больше власти, чем президенту Соединенных Штатов, периодически переизбираемому. Она добилась важнейших прерогатив папы, несменяемости и непогрешимости. После столь успешного государственного переворота она уж не боится, что ее самовластие может быть ослаблено отступничеством, потревожено мя-

¹ Для формы.

² «Совет директоров».

тежом, поколеблено какими-либо протестами. Она свободно может теперь выполнять внутренний свой закон: приказывать, вместо того чтобы наставлять. С грозами опалы в руках, безответственная, недоступная никому, кроме благочестивых пилигримов или отдельных избранных, живёт она в своем новом Ватикане, Pleasant View, в ореоле таинственности. Теперь она при жизни может стать в глазах верующих мифом, легендой, символом.

Этот исход из Бостона, за пределы будничной видимости и доступности, оказался, в психологическом смысле, безошибочным шагом. Ибо эта созданная ею самая завеса не только повышает ее власть и служит ей защитой в весьма трудных обстоятельствах. Дело в том, что за последние годы Мери Бекер-Эдди медленно и постепенно подошла к положению, своеобразие которого с трудом поддается представлению. В зените своего успеха она насчитывает от семидесяти до восьмидесяти лет, возраст, когда человек уже стар или становится старым — роковая неизбежность. И как ни поразительны в ней бодрость и дееспособность воли и духа, тело врачевательницы постепенно подчиняется непреложному закону. Ноги начинают отказываться служить, зубы выпадают, изменяет слух, временами нападает, под влиянием внезапной усталости, нервное оцепенение — слабость, в которой всякая другая восьмидесятилетняя женщина признается открыто, как в естественном для ее возраста явлении. Но роковое обстоятельство, связанное со слишком громогласной проповедью ее учения! Одной женщине, одной единственной на земле, именно ей, Мери Бекер-Эдди, изобретательнице Christian Science, ей одной среди несчетного множества миллионов других людей, не дозволено болеть когда-либо, явить когда-либо черты старости, ибо разве не учила она сама, что старость и умирание — это недостаток веры в бога? Если тридцать лет подряд человек проповедывал и трубил всем в уши, что очень легко «by mind» преодолеть все болезни, победоносно справиться, при помощи Christian Science, с заблуждением относительно старости, с «бессмыслицею смерти», то нельзя дать застигнуть себя самого в состоянии начавшейся дряхлости. Уже в последние годы некоторые смельчаки из слушателей, всякий раз когда она появлялась на кафедре в очках, возбуждали щекотливый вопрос, по-

чему это представительница духовного метода исправляет свою дальноркость при помощи очков, то есть земными средствами, вместо того чтобы устранить ее «by mind». Насколько щекотливей был бы теперь вопрос, почему она при ходьбе пользуется палкою, почему, при ее отчаянной ненависти к докторам, она обращается со своими зубами к зубному врачу, а не к «mind», почему она облегчает свои боли и судороги морфием! — Уже ради веры в ее собственную веру Мери Бекер-Эдди, великая изобретательница непогрешимой науки врачевания, не в праве дать повод другим к заявлению: «Medica, cura te ipsam», врачевательница, исцелись сама! Поэтому Мери Бекер поступает, как всегда, наиболее умно и в данном случае, укрывая свою дряхлость за легендой о благочестивом бегстве из мира, в Pleasant View. Спущенные ставни, тщательно охраняемая дверь садовой решетки оградят там ее личную жизнь от чужого, непосвященного взора!

Но за этими защитными ставнями Pleasant View, за очаровательно подстриженным газоном, за роскошной балюстрадаю веранды, этим «любимым местом уединения», кроется на самом деле целый ад страстей. Ибо и в зените своего торжества этот непрестанно перенапрягаемый ум не находит себе успокоения; все еще мелькает по комнатам старый призрак — мания преследования; та, что лечила в своей жизни тысячи людей, все еще до конца не излечилась от ужасов воображаемого M. a. M., Malicious animal Magnetism. За длительными периодами душевного спокойствия следуют вновь и вновь нервные припадки особенной силы. Тогда, в самом разгаре ночи, испуганный дом сотрясается от звонков, сбегаются приближенные и нытаются ослабить бредовый экстаз или судороги Мери Бекер успокоительными речами или умеряющими боль впрыскиваниями. Но в еще большей степени, чем от этих истерических припадков, страдает она в душе от своего полного и трагического одиночества. Всю свою жизнь эта жесткая, замкнувшаяся в себе натура тосковала по мужчине, к которому она могла бы приблизиться вплотную, на которого могла бы опереться, или по меньшей мере по двум - трем духовно-полноценным людям, приятным в общении. Но трагическая судьба всех деспотических натур: всегда хотят они иметь около себя людей, которых могли

бы ценить, и все-таки способны выносить лишь рабов, угодливо им поддакивающих, которых они сами презирают. Так же и Мери Бекер-Эдди. Она чувствует себя чужою всем своим телохранителям и доверенным в Pleasant View: «I and my folks here are distinct, I never take them into counsel». Покорные рабы, они подчиняются ее властным и прихотливым распоряжениям, никогда не пытаясь противоречить. Но втайне старая воительница тоскует по живому сопротивлению; ей противны эти подчиненные натуры; потрясенная, пишет она своей подруге, что отдала бы состояние за то, чтобы хоть однажды собрать вокруг себя несколько действительно интересных людей. Но кто излучает холод, тот может ждать только холода; и стареющая женщина обречена на безнадёжное одиночество. «I am alone in the world like a solitary star»,¹ она знает это, и все-таки вновь и вновь, до последнего биения своего сердца, ищет, не познав в жизни счастья, такого человека, которого могла бы любить. Трижды пыталась она осуществить это в супружестве; двое ее мужей умерли, один ее покинул. И вот, на семидесятом году жизни, вспоминает она вдруг, что где-то в мире есть у нее сын, рожденный от ее плоти. Может быть в нем найдет она наследственного хранителя своей воли; она делает попытку и выписывает его. И тут-то отомщается старинная вина не знавшего любви материнства. На слишком долгие, преступно-долгие годы отдала она своего ребенка от себя, дав его на руки необразованной служанке и ни разу не побеспокоившись о его воспитании; и вот стоит перед нею широкоплечий, тяжеловесный фермер с Запада, из незажиточных, и смущенно вертит в руках шляпу; необразованный как рыба, без каких-либо духовных интересов, этот ком здоровенного человеческого мяса благодушно, но совершенно неосмысленно вскидывает на нее свои тупые глаза, когда она заводит разговор о христианской науке. Ей противен его скверный английский язык, не то деревенский, не то извощичий, и уж через две-три недели она замечает, что он плевать хочет на ее метафизику и что ему ничего не требуется от объявившейся неожиданно матери, как только

¹ «Я одна в мире, как одинокая звезда».

получить несколько сот долларов на ремонт своего домишки. Разом разлетается материнская греза; к ней вернулась трезвость, и она сознает, что ни одна мысль, ни одно чувство не связывают и никогда не свяжут их обоих. И мановением своей жесткой руки она спешно отсылает назад, на Запад, своего слишком поздно разыскавшегося сына. Всякий раз, когда он впоследствии пытается вновь повидаться со своею матерью-миллионершею, она неумолимо его отстраняет. «Я хочу иметь покой у себя в доме,— пишет она грубо в ответ,— тебе в Бостоне не понравится. Ты не такой, каким я надеялась тебя увидеть; тебе незачем приезжать». Но запоздалое материнское чувство или вытесненная, эротического характера, потребность иметь около себя мужчину помоложе, как когда-то Кеннеди и Эдди, дают еще себя знать в этой непостижимой, холодночувствующей и вместе с тем чувственно-раздираемой женщине. И так как в собственном сыне она разочаровалась, то ищет теперь другого. Ко всеобщему изумлению, Мери Бекер-Эдди, в патриархальном возрасте семидесяти лет, усыновляет некоего врача, д-ра Фостера, который отныне, в честь своей новой матери, именуется Фостер-Эдди; он вместе со своею венценосною матерью будет править новым королевством ее веры. Но и этот наскоро избранный наследный принц не в состоянии долго вынести гнета ее ревнивой властности; и он слишком уж любит «жизнь во плоти»; ему предъявляется обвинение в поступке, довольно простительном, — в том, что он сошелся с молодою женщиной. Тотчас же новая Елизавета, или новая Екатерина, отсылает от себя и этого последнего фаворита. И вот в доме остается, в качестве единственно-доверенного лица, некий Фрайе, покорный раб, безответный исполнитель, ведающий кассою, ведущий все ее дела; при выездах из дома он как лакей присаживается на козлы, а по ночам вспрыскивает ей морфий — раб в ее вкусе, слепой, послушный автомат в ее руках, полностью ей преданный. Но в нем она, в свою очередь, презирает его ничтожество, его рабскую тупость и именуется его «the most disagreeable man that can be found». ¹ Нет, Pleasant View никогда не был, как хочет уверить алорозовая био-

¹ «Самым неприятным человеком, какого только можно встретить».

графия, мирным уголком; тень умершей Мери Бекер-Эдди и ныне не найдет там покоя. За его закрытыми ставнями, незримо и недоступно для мира, разыгрываются, как на безмолвном дне морском между полипами и мечом-рыбою, поразительнейшие бои. Внешне пристанище успокоения, храм тишины, священный центр паломничества, Pleasant View являет собою в действительности, как усадьба Толстого, ад человеческий, то пламенеющий страстями, то пронизанный холодом трагического одиночества, сопутствующего всякому стареющему деспоту.

Но как бы ни вибрировали в электрическом трепете ее нервы, ее величественная, титаническая воля к власти остается стальной и непоколебимой, и всякий успех служит лишь поводом к дальнейшему ее перенапряжению. После каждого извержения ее вулканического чувства, кратер природного огня вздымается, в новых наслоениях, выше и выше; среди непрестанных припадков, в судорогах, создает она невидимую свою мировую державу — гигантский труд, на протяжении восьмого десятка лет. К концу столетия движение Christian Science достигло исполинских размеров. Число учеников приближается уже к ста тысячам, состояние ее выражается миллионными цифрами, и все еще растет дело, начатое сорок лет назад в чердачной каморке башмачника; церкви из камня и мрамора возникают в городах, экстренными поездами, разом по десять тысяч человек, прибывают в Конкорд паломники, чтобы хоть секунду лицезреть, с балкона, глубоочтимую воительницу. Новые общины шлют вести о своем возникновении из Англии, из Европы, из Африки; теперь уж ей лично ничего не нужно делать, все делает за нее ее ореол, механически работающее и засасывающее души внушение, столь дальновидно организованное ее гением. Без какого-либо ее намека, без единого движения руки, набирает ее ученица, Августа Стетсон, с какою-то фанатической энергией, миллион двести пятьдесят тысяч долларов, чтобы построить в Нью-Йорке, напротив Центрального Парка, в самом дорогом месте города, гигантскую церковь Christian Science, вмещающую в своих мраморных стенах пять тысяч человек и кроме того имеющую двадцать пять приделов для делителей.

Но как раз то обстоятельство, что все произошло без ее

помощи, что нью-йоркская церковь, этот величайший из видимых памятников ее триумфа, возникла без всякого ее участия, раздражающе действует на ее самолюбие. Неизменно-недовольная слабыми способностями части своих учеников и друзей, неизменно-ревнивая к дарованиям других, она не прощает Августе Стетсон ее успеха, не прощает того, что она превзошла свою руководительницу. Неужели этому величественному нью-йоркскому сооружению суждено затмить ее скромную бостонскую церковь, стоящую только пятьдесят тысяч долларов? Неужели в праведные люди думать, что Августа Стетсон руководительница, а она, Мери Бекер-Эдди, уже устала и на покое? Нет! Мери Бекер-Эдди не даст превзойти себя. Натура властная и деспотическая до последнего издыхания, она ни с кем не разделит славы и титула. Пусть еще раз познакомится мир с мощью ее непоклонной воли.

И вот в 1902 году, на восемьдесят первом году жизни, Мери Бекер еще раз простирает руку. Твердой моисеевой дланью ударяет она о скалу и требует от конгресса верующих два миллиона долларов на постройку новой церкви в Бостоне. Два миллиона долларов требует женщина, которая сорок лет назад не могла заплатить полтора доллара в неделю за комнату; два миллиона долларов, сумму, превышающую стоимость даров, когда-либо подносившихся народами этого мира королю или императору. И все же — чудо беспрецедентное! — Мери Бекер-Эдди приказала, и огромная сумма собрана в несколько недель. Ровно три месяца прошло с момента, как одна, отдельная женщина набросала на бумагу десять строк приказа, и уж тысячи рабочих приступают к величественному сооружению. Также как мраморный флорентинский собор мощно превзошел высоту свой прообраз, прежний собор, нынешнюю Баптистерию, так и исполинский храм из белоснежного мрамора вознесся своим светозарным куполом не только над маленькою, как-то разом поблекшею «Mother Church», но и над всеми соседними зданиями и даже башнями города — красивейшее из зданий Бостона в ту пору и, несомненно, одно из самых величественных и в новейшие времена, и прежде всего замечательное как памятник духовной энергии, ибо создано оно волею одной единственной женщины на восемьдесят пятом году ее жизни.

В 1906 году, то есть именно на восемьдесят пятом году жизни Мери Бекер-Эдди, происходит освящение гигантского храма. Столь величественного торжества не переживал еще старый Бостон. Со всех сторон, на кораблях и в экстренных поездах прибывают верующие. Так как церковь вмещает только пять тысяч человек, а принять участие в священной церемонии хотят тридцать тысяч, то обряд освящения повторяется, начиная с пяти часов утра, шесть раз. Со знаменами и хоругвями проходят делегаты из всех городов, из Гаванны, из Лондона, из Дрездена, из Парижа, из Калифорнии и Канады. Десятки ораторов всех стран сообщают на всех языках и наречиях о чудесных исцелениях *Christian Science*; неопровержимо свидетельствуется, какое множество людей издали с благоговением взирает на одну женщину как на спасительницу во всех бедствиях телесных и душевных; тысячи верующих поют снова и снова сочиненный самою Мери Бекер-Эдди гимн: «*Shepherd, show me how to go*», ¹ детские звонкие голоса — вестники нового поколения — хором возносятся к небу, развеваются, как на празднике победы, знамена и штандарты. И действительно, со времен Елизаветы Английской и Екатерины II ни одна женщина не удостоивалась такого мирового триумфа, ни одна из них не воздвигла владычеству своему на земле столь зримого памятника, как Мери Бекер-Эдди, королева своею волею, владычица собственной державы, опирающаяся на собственную свою мощь.

¹ «Укажи мне, пастырь, путь».

РАСПЯТИЕ

На восемьдесят пятом году Мери Бекер-Эдди достигает — подъем, ни с чем несравнимый! — вершины власти. Гигантская церковь в Нью-Йорке, десяток церквей и университетов в Соединенных Штатах, одна в Европе, в центре Лондона, и вот теперь, вдобавок ко всему этому, двухмиллионный, затмивший своим сияющим куполом все другие здания собор-базилика в Бостоне, — какая другая женщина на земле за последние сто лет сумела стяжать себе, двумя дряхлыми руками, такую наполеоновскую мощь? Постройка этой новой церкви св. Петра означает небывалый успех — но, может быть, слишком уж большой, слишком вызывающий успех. Ибо он привлекает к ней вдруг внимание и, прежде всего, недоверчивую настороженность страны. До сих пор широкие общественные круги Америки сравнительно мало интересовались Мери Бекер-Эдди. От поры до времени вспоминали о ее секте, но так же, как о сотне других, смешивали последователей Christian Science с методистами, баптистами и сторонниками других религиозных течений. Но перед этой гигантской мраморной постройкой, горделиво возвышающейся над всеми башнями и кровлями города, люди останавливаются с раскрытым ртом: ничто ведь не импонирует так в нашем мире чисел и цифр, как арифметическая мистика миллиона. Начинаются шопот и вопросы: что это за загадочная женщина, которой стоит только шевельнуть пальцем, написать воззвание, чтобы к ней в две-три недели притекли миллионы долларов? Кто эта волшебница, по мановению руки которой вырастают такие миллионные соборы на самых красивых и дорогих улицах Бостона и Нью-Йорка, кто она такая? Газеты чуют этот интерес и дают пространные описания; тут же бьет в барабан и «Publicity office» христианской науки, чтобы использовать всеобщее

любопытство в целях новых денежных сборов. Но одновременно с этим наставляют свои орудия и враги, постигая опасность, грозящую им в случае дальнейшего распространения Christian Science. Марк Твен выпускает отдельную книжку свою сатиру, и наследники Квимби, привлеченные шумом, узнают, какие деньги нажила бывшая ученица их отца и деда на его инициативе. Они печатают в газетах обличающие письма и статьи, объявляют идею Christian Science плагиатом и богатство — узурпацией; одна статья следует за другою, нападки сменяются нападениями. Прожектор общественности оказывается неожиданно направленным прямо на нее, и о Мери Бекер-Эдди говорят больше, чем о какой-либо другой женщине в Америке.

В день открытия бостонской базилики сто репортеров стоят наготове с повернутыми вечными перьями, чтобы описать ее появление, два десятка фотографов наставили свои объективы, чтобы схватить ее наружность. Но увы, разочарование! В день своего высшего торжества Мери Бекер не появляется в своей церкви в Бостоне. Сначала удивляются, потом начинаются подозрительный шопот и разговоры о том, что Мери Бекер-Эдди, в честь которой выстроены все эти церкви, давно умерла, и что какая-то анонимная компания обделывает свои дела под ее фирму. Упорное нежелание Мери Бекер-Эдди показаться миру усиливает это подозрение, ибо все, появляющиеся теперь в Pleasant View, чтобы взглянуть на нее, отсылаются под разными предложениями обратно, никому не удается проникнуть в ее святилище. То приближенные уверяют, что она слишком занята и не может принять, то — что у нее приезд; иной раз отказывают под тем видом, что великая наставница пребывает в состоянии религиозной углубленности и ее нельзя потревожить. Так как любопытство разгорается все неистовее, Christian Science-Journal обращается от ее имени к ее последователям с отчаянною мольбою «не заниматься ее личностью» — «to look away from personality and fix their eyes on truth». Трагическая перемена — семьдесят лет подряд хотела эта женщина только одного, чтобы мир занимался ее личностью; и вот, когда ей восемьдесят пять лет, когда она устала, больна и разваливается, и впервые хочет укрыться от взоров, как раз теперь настаивает мир на том, чтобы ее увидеть.

С того дня как в Бостоне вознеслась базилика, Америка прониклась любопытством по отношению к Мери Бекер-Эдди. И подобно всем чувствам человека, любопытство имеет свой собственный орган: газету. Американский ежедневный листок масштаба «World» не потерпит, чтобы какой-то один человек в Америке сказал «нет» и отказывался принять его репортеров, в то время как полмиллиона читателей желают, наконец, знать, жива ли эта женщина, слабоумна она или владеет всеми чувствами. Редакция масштаба «World» несогласна ни от кого на свете слышать слово «невозможно»; и вот двум наиболее отчаянным и прожженным репортерам дается поручение взорвать, какую бы то ни было ценою, закрытые двери «святой святых», будь то посредством долларов или динамитом, и дать точные сведения о Pleasant View и о Мери Бекер-Эдди. Оба раба, предназначенные для выполнения бичевания, уезжают, готовые на все. Сначала они обращаются к важнейшему лицу в доме, к управляющему ее финансами; тот в испуге отклоняет требование, но они наступают и грозят до тех пор, пока им не разрешают бегло ознакомиться по крайней мере с домом. Впрочем, им уже в первый день удалось установить пикантное обстоятельство, а именно, что закутанная в вуаль седая дама, совершающая каждый день в послеобеденное время прогулку по аллеям Конкорда в экипаже Мери Бекер-Эдди, вовсе не мистрис Эдди, а предназначенная для ее замены камеристка: великолепный материал! Как парни толковые, они раздувают несколько незначительных подробностей в огромную статью, где сообщают что Мери Бекер-Эдди, верховная представительница непогрешимого метода врачевания, коей подвластна всякая болезнь, душевно и физически опустилась и является послушным орудием в руках окружающих.

Бомба взорвалась. В крайнем смущении собираются члены комитета Christian Science для обсуждения дела. Они сразу же постигают, как тяжело пострадал бы авторитет Science, если бы действительно распространилась по всей Америке, посредством мегафона прессы, весть, что Мери Бекер-Эдди, отрицающая болезнь и старость, одряхла физически и проявляет слабость ума. И вот они умоляют руководительницу спасти веру и церковь — принять один только раз репортеров, с тем, чтобы опровер-

гнуть легенду о ее душевной расслабленности и телесном расстройстве. В этом 1906 году Мери Бекер-Эдди уже восьмидесятипятилетняя старуха. Она уплатила неизбежную дань возрасту, плохо видит, плохо слышит; во рту у нее нет ни единого зуба, ноги ей не повинуются; и для этой гордой и властной женщины нет мысли страшнее, чем явить свою расслабленность чужому, враждебному взору. Но в этой развалине жива еще в первоначальной полноте и цельности старая мощь, демоническая воля к самоутверждению. И так как дело идет о самом для нее важном, о вере в ее веру, она героически соглашается на пытку и в возрасте восьмидесяти пяти лет добровольно становится к мученическому столбу — принимает интервьюеров.

30 октября 1906 года она переживает потрясающий час. Журналисты сговорились с «board of directors» поставить Мери Бекер-Эдди только четыре вопроса:

1. Совершенно ли вы здоровы?
2. Есть ли у вас другой врач кроме господ бога?
3. Выезжаете ли вы ежедневно?
4. Управляете ли вы сами вашим имуществом или кто-нибудь другой ведаст вашими делами?

В салон вводят девять репортеров. Там они ждут в некотором волнении. Неожиданно откидывается в сторону занавес, отделяющий соседнее помещение, и перед ними, держась за бархатную портьеру, стоит неподвижно мистрис Эдди (постарались избежать зрелища ее мучительного передвижения). Ее ввалившиеся щеки подмазаны, пергаментная кожа напудрена, горностаевый палантин прикрывает блеклые плечи, брильянтовое кольцо болтается на морщинистой шее. Всех бросает в дрожь перед этим взнузданным в бой призраком, перед этим мертвым Сидом в снаряжении живого, перед разукрашенной и расцветочной мумией. На один миг воцаряется в салоне тяжелое, почти участливое молчание. Потом выступает репортерша — выбрали из деликатности Сибил Вильбер, впоследствии составительницу алорозовой биографии — и бичевание начинается вопросом:

— Совершенно ли вы здоровы, мистрис Эдди?

Лицо восьмидесятипятилетней женщины напрягается. Звук не поколебал утратившей упругость барабанной перепонки. Она не поняла.

— What ... what? ¹ — спрашивает она. •

Еще раз, громче, почти крича, повторяет репортерша условленный вопрос. Теперь мистрисс Эдди поняла и отвечает:

— Да, да, я здорова.

При втором вопросе: «Есть ли у вас другой врач кроме господ бога?» — слух опять изменяет. Приходится повторить вопрос громче. И она лепечет тихо, сопровождая ответ энергичным жестом отрицания (хотя в данное время ее пользует зубной врач):

— Нет, нет! Его всемогущая десница на мне!

На третий вопрос: выезжает ли она ежедневно, она, собравшись с последними силами, отвечает утвердительно (равным образом — неверно). Но на четвертый: управляет ли кто-либо ее имуществом, она не в силах ответить. Нервная дрожь пробегает по телу, шляпа с большими перьями начинает раскачиваться на голове из стороны в сторону, вся фигура колеблется, — еще миг, и она упадет без чувств. Разом подбегают друзья и уводят ее прочь. Этим мгновением пользуется один из беззастенчивых палачей, чтобы подступить к ней вплотную и заглянуть вблизи в одряхлевшее, напудренное и накрашенное лицо с остановившимся взором (лишних тридцать строчек!). Его торопливо отталкивают. Этим кончается интервью; Мери Бекер-Эдди прошла первую стадию пытки.

Но и от второй она не избавлена. Интервью «удалось». Мир знает теперь, что Мери Бекер-Эдди существует, и любопытство разгорается с новым неистовством. Тотчас же редакция требует для ненасытных своих гигантских столбцов добавочных порций этого лакомства — Мери Бекер-Эдди и Christian Science, — она требует материала, материала, интересных, возбуждающих подробностей, захватывающих анекдотов из жизни женщины, которая сама хочет только покоя и забвения. Десяток репортеров, вооруженных чековыми книжками, рассылается по стране, чтобы проследить, где только можно, прошлое Мери Бекер-Эдди. Прощупывают каждую квартиру, в которой она когда-либо жила, фотографируют бывших ее учеников в Линне, интервьюируют их, тащат к нотариусу, чтобы они протоколом

¹ Что... что?

подтвердили свои показания; снимают копии с запылившихся документов, опрашивают ее врагов и друзей, перепечатывают с торжеством газетные статьи стародавних времен Квимби. При этих обстоятельных поисках один из посланцев открывает, неожиданно для себя, чрезвычайную сенсацию; он открывает, что у святой есть сын, родной сын, начисто забытый, покинутый и презираемый, Джордж Глоуер; он живет где-то на Западе, в самых стесненных обстоятельствах, в то время как его мать одними своими сочинениями зарабатывает четыреста тысяч долларов в год. Какая находка для газеты! Теперь придется Мери Бекер-Эдди уплатить свой материнский долг с процентами и процентами на проценты; придется ответить за то, что она навязала его чужим людям и десятилетиями о нем не вспоминала. И вот у забывчивой матери налицо все поводы к тому, чтобы раскаться в постоянных своих отказах в ответ на его скромные просьбы о деньгах. Ибо некий прожженный адвокат, сенатор Чендлер, спешно, экспрессом устремляется к сыну и натравливает его на мать, у которой миллионное состояние и которая, впад будто бы в слабоумие, находится в руках целой шайки. Он де один имеет все права на ее деньги; пусть он подаст жалобу в суд, это ничего не будет стоить; пусть уж он положится на него, Чендлера. Для бедного Глоуера, который никогда не имел сколько-нибудь правильного представления о богатстве своей матери, эта весть звучит как ангельская музыка. Конечно, он покажет этим бандитам, преграждающим ему путь к родной матери! В прошлом году, когда он просил пятьсот долларов для больной своей жены, один из этих негодяев, конечно, припрятал его письмо. И тотчас же он пишет, под диктовку поверенного, спокойное и вежливое письмо, сообщая, что собирается посетить дорожную свою мать.

Это письмо производит в Pleasant View впечатление землетрясения. С первого же мгновения руководители комитета Christian Science постигают ту опасность, которая грозит всему религиозному тресту, если жестокосердие Mother Mary станет достоянием гласности и если оглашены будут на суде ее неприятные по содержанию, грубые письма к сыну. Черт возьми, от этого орел святости основательно поколеблется; мать, которая несколько десятков

лет не заботится о законном своем, в браке прижитом ребенке! Только не процесс! Лучше помириться, лучше заплатить! Тотчас же навстречу Джорджу Глоуэру посылается гонец, который должен отобрать у него письма, столь мало похожие на материнские. Но прожженный адвокат весьма осторожно припрятал эти письма в безопасном месте; нет, заявляет он яростно, теперь мы разоблачим эту шайку из Pleasant View. По шкале цифр можно проверить, какой лихорадочный страх трясет руководящую группу Christian Science. Ибо тот самый правитель финансовых дел, Фрайе, который отказал Джорджу Глоуэру в жалких пятистах долларах для больной его жены, теперь вдруг согласен выложить ему на стол сто двадцать пять тысяч долларов, — да, 125.000 долларов, — если он оставит жалобу при себе.

Но уже поздно, газеты и поверенный не хотят упустить процесса. Еще раз трагическая перемена: тридцать лет подряд громоздила Мери Бекер-Эдди один процесс на другой, из дикого упрямства и болезненной уверенности в постоянной своей правоте; целые груды документов хранятся в Линне и в Эмсбери как свидетельство ее неукротимого, непреклонного сутяжничества; а теперь, когда она, смертельно усталая и больная, во что бы то ни стало хочет избежать открытой тяжбы, она навязывается ей насильно и частный иск раздувается в целый процесс против христианской науки. Подготавливается вторая стадия пытки. Сенатор Чендлер заявляет перед судом, что изобретательница Christian Science, «pastor emeritus» слабоумная женщина, и в качестве аргумента в пользу этой «dementia»¹ не только ссылается с особой жестокостью на ее преклонный возраст, но и утверждает, что распространяемое ею учение само по себе является лучшим доказательством ее помешательства, «d lusion».

«Мир, — так начинает м-р Чендлер свою аргументацию, — известен астрономам, геологам, физикам, химикам, естествоиспытателям и законодателям страны. А мистрис Эдди между тем, под влиянием своего безумия (d-lusion), уверяет, что мира не существует». Эта бредовая мысль, продолжает он, ведет и к другим бессмыслицам, как-то:

¹ «Слабоумия».

к утверждению, что она, чудесным и сверхестественным образом, избрана богом для того, чтобы воспринять его откровение и дать миру новый и непогрешимый способ лечения болезней. Он издевается и глумится над ее патологической верой в «malicious animal magnetism», над ее смехотворной боязнью чорта, и утверждает, опираясь на множество частных фактов, что эта «dementia» с годами прогрессирует. Впервые Мери Бекер-Эдди соприкасается со скальпелем правосудия и немилосердным образом подвергается вскрытию на глазах широкой общественности. Суд не выносит определенного решения. Он вполне основательно воздерживается от того, чтобы предвзято трактовать учение Christian Science как знак «insanity»,¹ а самое Мери Бекер-Эдди — как помешанную; он корректным образом постановляет произвести сначала судебно-психиатрическое освидетельствование ее умственных способностей. Два члена суда командированы к мистрис Эдди, два члена суда и — ужасающее оскорбление! — один врач-психиатр, который ex officio² должен установить, страдает ли учредительница величайшей религиозной общины в Америке, изобретательница Christian Science паранойей, или нет.

Теперь Мери Бекер-Эдди ждет третья, самая мучительная стадия пытки. В марте 1907 года восьмидесятишестилетняя женщина вынуждена принять у себя в доме психиатра и обоих членов суда. Но даже в состоянии упадка и разрушения эта стальная женщина являет себя величественной, коль скоро речь идет о ее вере, о деле ее жизни. Опасность неизменно извлекает из ее больного, надломленного тела последние неожиданные запасы энергии; и в этот решающий час она еще раз проявляет полную ясность и мощь. Целый час подряд задают ей вопросы, и притом не по поводу духовных и метафизических проблем; ей ставятся типично-психиатрические вопросы — сколько деревьев у нее в саду, испытывают ее в отношении хронологических дат и чисел; ее, проповедницу нереальности всего земного, спрашивают, — ужасающая ирония! — как она помещает свои деньги, предпочитает ли она счет

¹ «Сумасшествие».

² Официально.

в банке, или городской заем, или государственные бумаги. Мери Бекер-Эдди собрала остатки сил, она отвечает твердо и ясно. Мучители застали ее в надлежащий миг, и сознание, что от нее зависит спасение или гибель ее дела, заставляет сосредоточиться ее слабый и затуманенный рассудок. Врач и двое судей удаляются, не высказав своего заключения; их окончательное решение было бы, вероятно, в пользу отважной женщины. Но друзья Мери Бекер-Эдди не хотят нового процесса, они настаивают на соглашении. И вот поверенные обеих сторон усаживаются, в конце концов, за стол и торгуются относительно суммы отступного в пользу Джорджа Глоуера. Представители мистрис Эдди предлагают ее сыну двести пятьдесят тысяч долларов и приемному сыну д-ру Фостеру, пятьдесят тысяч долларов, если они сразу же возьмут жалобу обратно. По счастью Джордж Глоуер объявляет себя удовлетворенным суммой в четверть миллиона; единственно благодаря этому примирению в последний, двенадцатый час, потомство не дождалось от американского суда курьезного решения на тему: является ли Christian Science боговнушенной, или она — продукт паранойи.

После такого троекатного бичевания Мери Бекер-Эдди лишается последних сил. Нервы ее пылают, возобновляются старинные бредовые представления о «malicious animal magnetism», ибо невозможно было, по ее мнению, естественным путем создать вокруг нее такую травлю. За этим преследованием скрывается ненависть месмеристов, их зловредный магнетизм. Опять овладевает ею старый бред преследования, в патологической форме. Внезапно Мери Бекер-Эдди объявляет, что она и дня больше не может выдержать в Pleasant View, она не может ни дышать здесь, ни спать, ни жить, она должна прочь отсюда, во что бы то ни стало, и сразу же прочь из этого отравленного магнетизмом дома. Если Мери Бекер-Эдди требует чего-либо, то и самое бессмысленное ее желание превращается для рабов в закон. Со страхом и втайне трепеща подчиняются они ее лихорадочному бреду. Наскоро посланные агенты покупают за сто тысяч долларов новую виллу в Честнет-Гилле близ Бостона, и так как Мери Бекер-Эдди ни дня больше не хочет оставаться в своем «отравленном» доме в Pleasant View, то нанимают семьсот рабочих,

которые в сумасшедшем темпе работают день и ночь по-сменно, чтобы только двумя часами раньше предоставить возможность переселиться одержимой нервами женщине. Но как изменились времена! Этот исход из одной резиденции в другую совершается отнюдь не так, как некогда выезд из Линна, когда ее выгнали на улицу и бросили ей вслед, на дождь, ее деревянный чемодан; теперь в правлении дороги заказывается специальный поезд, и мало того, впереди этого поезда — только русский царь из всех монархов мира позволял себе эту предосторожность, эту роскошь! — впереди этого поезда следует отдельный паровоз. Позади следует другой, чтобы исключить всякую возможность крушения и сохранить для мира на возможно-долгий срок эту драгоценную жизнь. Ибо в патологическом бреду по поводу жизненного магнетизма несчастная, даже в поезде, боится смертоносного воздействия своих врагов. К вечеру она прибывает в новое свое пристанище, в Честнет-Гилль. И начиная с этого дня, прежний Ватикан, Pleasant View, священное место, куда притекали сотни тысяч благоговейных паломников, покинут навсегда.

Но удивительное дело, в Честнет-Гилле туман еще один раз падает с ее помраченных чувств, еще раз собирается воедино ее прежняя, несокрушимая сила. Одна страсть остается до последнего издыхания живою в этой женщине — гигантская воля к самоутверждению. Кто восстал на нее, должен склониться! Сила ополчилась на ее силу, воля — на ее волю: газета, ежедневная газета! А она не терпит никакой силы, помимо себя и наравне с собой. Мечь должна свершиться над репортерами, мечь над редакторами и собственниками газет. Они должны почувствовать, что во всей стомилионной стране одна Мери Бекер-Эдди от них не зависит: она создаст свою собственную газету! 8 августа 1908 года выпускается булла на имя доверенных по управлению ее имуществом: «Я хочу, чтобы вы теперь же приступили к изданию ежедневной газеты и назвали ее «Christian Science Monitor». Не медлите». Когда Мери Бекер-Эдди ведет торопиться, все делается как по волшебству. 19 сентября сторонникам христианской науки предлагают открыть подписку, причем ни одним словом не поясняется, на что именно. Но призыва волшебницы до-

статочно. Тотчас же начинают притекать деньги. В кратчайший срок сносятся жилые дома по соседству с базиликой, чтобы очистить место для новой постройки, будущего помещения газеты; закутанные в непромокаемую парусину, чтобы никто преждевременно не догадался о тайне, подвозятся на место гигантской постройки ротационные машины. И потом, 25 ноября, совершенно неожиданно для всех, выходит первый номер ее ежедневной газеты «Christian Science Monitor», существующей и по сей час; впрочем, чтобы воздать должное истине, нужно сказать, что это превосходная, блестяще осведомленная, в культурном отношении особенно высоко стоящая газета, которая дает беспристрастную информацию во всех областях жизни — в политике, литературе, спорте и биржевой сфере — и которая отмечает свою принадлежность к Christian Science только той симпатичной особенностью, что, в противоположность большинству газет, по возможности исключает из своего кругозора всякие отвратительные и отталкивающие явления, как-то: убийства, эпидемии, скандальные происшествия и преступления, и вместе с тем подчеркивает все благотворное, все чистое и бодрящее, — тенденция, счастливым образом воплощающая жизненные стороны Christian Science, без досадных крайностей ее догмы.

Держава, таким образом, утверждена. Оглядываясь назад, восьмидесятилетняя может быть довольна. Все ее противники побеждены или исчезли; Споффорд, и Кеннеди, и отступившийся от нее муж Паттерсон живут где-то во мгле, безымянные и никому неизвестные, в то время как ее имя с каждым днем возносится ввысь в новом ореоле. Науке, с которой она боролась, она противопоставила свою собственную науку, университету — университет, церквям — свою церковь, газетам — свою газету; то, что весь мир считал бредом, личной ее нелепой фантазией, вкоренилось, как неотторжимое убеждение, в сотни тысяч душ. Она всего достигла, чего только можно достигнуть; вся сила земной власти, власти над эпохой досталась ей. И один только вопрос тревожит еще преклонно-старую женщину: что делать с этой властью? Кто ее унаследует, кто будет править ею? Взоры всех в общине давно уже обращены к одной, к вернейшей и преданнейшей из ее учениц, к Августе Стетсон, невероятная энергия которой покорила

самый важный город, Нью-Йорк, и которая собрала на нужды святого дела больше миллионов, чем другие деятели и ученики. Но Мери Бекер-Эдди ревнует даже и посмертное свое будущее. Как раз женщине, как раз даровитой женщине не согласна она оставить свое высокое наследие; ничье имя не должно иметь для Christian Science значения в настоящем и в будущем, как только ее. И вот на восемьдесят девятом году своей жизни — да, на восемьдесят девятом! — она, только для того чтобы на вечные времена не допустить избрания Августы Стетсон, только для того чтобы та не могла стать наследницей, торопливо изгоняет из церкви, своими дряхлыми и ослабленными руками, вернейшую, способнейшую свою ученицу. За всю ее непреклонную жизнь ее самолюбие не выносило никого, кто стоял бы на одном уровне с ней, — так будет и во веки веков! Уж лучше она швырнет свое наследие какой-нибудь безымянной, чем свяжет его с чужим именем. И действительно, только одно, единственное имя признается отныне ее приверженцами — имя Мери Бекер-Эдди.

Вплоть до восемьдесят девятого года жизни всеяла борьба в эту неукротимую женщину новую и новую силу. Но теперь ей не с кем больше бороться. И тут берут над нею наконец верх старость, которую она тщетно отрицала, и непреодолимый закон действительности. Она уходит из мира, тело разрушается, или, выражаясь в ее стиле, «тленный сон о жизни, сущности и духе теряет в материи свою силу». И 4 декабря на подушках ее постели недвижно покоится «смертная оболочка, покинутая верою», труп Мери Бекер-Эдди. Единственно смерть могла сломить это стальное сердце.

Но для верующей ее общины всякая смерть означает не исчезновение, а переход в недоступное восприятию состояние. Без всякого пафоса и видимого волнения, как нечто незначительное и случайное, провозглашают в церквях Christian Science с кафедры, что Мери Бекер-Эдди, в возрасте девяноста лет, «сокрылась за пределы нашего кругозора». Не устраивают никакого официального поминовения, никакой пышной церемонии. И лишь небольшая кучка избранных принимает участие в простом, как бы безымянном погребении, которому стараются придать хара-

ктер незаметности и незначительности, потому что для верующего последователя Science смерть не означает конца и разрушение тела не есть изменение по существу. Так называемую покойницу, «so called dead», кладут в стальной гроб, гроб опускают в землю, и могилу бетонируют. В продолжение двух дней, пока цемент не затвердел и стал непроницаемым, у могилы стоят на страже люди; вожди церкви сами поставили их в противовес чрезмерному фанатизму некоторых последователей Мери Бекер - Эдди, ожидающих, что она, как Христос, поднимет могильную плиту и восстанет на третий день. Но не происходит никакого сверхестественного знамения. Чуда больше не требуется. Ибо успех ее жизни и учения, необъяснимый до конца путем рассудочным, сам по себе принадлежит к чудеснейшим явлениям нашей бедной чудесами и потому утратившей веру эпохи.

ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ

Под гнетущим впечатлением несравненного триумфа Christian Science Марк Твен обращается в конце столетия со своим отчаянным призывом ко всем американцам. Если не оказывать должного сопротивления, то в два-три года это лжеучение завоюет всю страну, весь мир, ибо, — справедливо, как всегда, аргументирует серьезно настроенный на этот раз юморист, — Christian Science это типичная наука для простаков, а так как четыре пятых человечества заведомо принадлежат к нищим духом, то этой метафизической чепухе обеспечена победа. Само собою разумеется, несколько преждевременное предсказание Марка Твена оправдалось в столь же слабой степени, как и мессианская вера последователей Science в то, что учение их «откроет новую эру в мировом прогрессе». Christian Science не побеждена, но и не победила; она неприметно, с вложенным в ножны мечом, приспособилась к миру и к мировой науке; обычная судьба всех духовных революций! Всякое движение в области веры, после периода начального преизбытка сил, переходит в более умеренную стадию, когда движения веры уже нет, когда она костенеет, обретая в творческом тумане очертания, превращаясь из живого организма в организацию: так было и с учением Мери Бекер - Эдди. До сих пор еще сотни тысяч разделяют это мировоззрение; число приверженцев Мери Бекер - Эдди, весьма вероятно, даже возросло после ее смерти. Но решающее значение имеет то обстоятельство, что наличие и непосредственная близость этих сотен тысяч не имеют ровно никакого влияния на миллионы остальных людей; тот буйный поток, что, неистово пенясь, грозил во времена Мери Бекер - Эдди опасностью пределам самой науки, течет ныне бесшумно в отведенных ему государством границах. Все еще устраивают последователи Science свои благочестивые сборища, все еще чи-

таются в тех же церквях те же тексты «Science and Health», ежедневная газета «Christian Science Monitor» все еще выходит в колоссальном числе экземпляров, но этот глашатай не зовет уже в бой против «physiology», он благородным образом уклоняется от всякой борьбы, всякой распри. Не слышно больше ничего о процессах, о шумных столкновениях, и громовый громкоговоритель publicity замолк, уступив место неслышной агитации из уст в уста; со смертью великого конквистадора учение ее полностью утратило боевые черты своего темперамента. Мирно орудует в наши дни «healer», врачеватель Christian Science бок - о - бок с дипломированным врачом; новый метод религиозного внушения проникает, без каких - либо трений, в систему современной психологии и психиатрии; подобно бесчисленным другим революционным теориям, и эта теория весьма благоразумно ограничила себя более узкими пределами. Она не пробилась дальше Christian Science и не иссякла; она застыла, претворилась из пламенеющей мощью формы в формулу. После первого, бурного извержения вулканической души Мери Бекер - Эдди лава затвердела, и у потухшего кратера мирно ютится община верующих.

Но никакая сила из тех, что создали когда-то массовое психическое движение, не пропадает бесследно для вселенной нашего духа; ни одна мысль человеческая, пусть она даже далеко ушла за пределы разумного, не теряет в веках своей творческой мощи. Идея Мери Бекер - Эдди не погибла полностью вместе с ее личностью. Уже давно полагали в Америке, что спор относительно Christian Science, относительно лечения верою, кончен навсегда, как вдруг возвращается откуда-то с дальних берегов Европы медленно докатившаяся туда волна; теория Куэ вновь ставит перед наукой проблему Мери Бекер - Эдди относительно возможности преодоления болезни верою. Под несомненным влиянием идеи Christian Science аптекарь из Нанси вручает дело исцеления болезни самому человеку; он выключает даже требуемый Мери Бекер - Эдди промежуточный контакт — делителя, посредника между пациентом и его страданием: путем раздвоения личности он отводит одному и тому же индивидууму роль субъекта внушающего и роль воспринимającego внушение субъекта. Но, совмещая, по-

добно своей предшественнице, волю к исцелению с волею самого человека, он является, по отношению к этой от-важной воительнице во имя сверхрассудочного, глашатаем ее и последователем. И если даже односторонним положением Мери Бекер-Эдди суждено в будущем потерпеть изменения или даже быть вовсе отвергнутыми, то решающим для ее мирового значения в области психологии остается одно: проблема деления верою, столь резко поставленная этою женщиною перед человечеством, не может отойти в прошлое. Своею деятельностью эта ненавистница всяческой учености снискала себе, вне зависимости от правильности или неправильности своих идей, прочное место в ряду провозвестников новых путей в психологии и еще раз доказала, что в пределах истории духа чуждое учености и выучки неистовство человека непосвященного может иметь столь же важное значение для развития идей, как и всяческая ученость и премудрость. Ибо создать творческое беспокойство — это уже одно является первым испытанием для всякой наново оформившейся мысли. Тот, кто хватает через край,—и именно он,—двигает дело вперед. Даже и заблуждение, в силу своей крайности, способствует успеху. Всякая вера, внушенная человеком человечеству силою его душевного напора, истинная или ложная, ведущая к победе или обреченная на неуспех, расширяет пределы духовного нашего мира и сдвигает в сторону отслужившие веки.

ЗИГМУНД ФРЕЙД

Если тайная игра силы чувственного влечения кроется в тусклом свете обычных аффектов, то тем нагляднее, явственнее и огромнее проявляет она себя в состоянии бурной страсти; тонкий наблюдатель человеческой души, знающий, в какой мере можно, собственно, рассчитывать на механику обычной свободы воли и до какой степени дозволено мыслить аналогиями, извлечет из этой области немало опыта для своей науки и переработает его применительно к запросам нравственной жизни... Если бы явился, как в других областях природы, новый Линней, который бы стал классифицировать по влечениям и склонностям, как бы мы изумились...

Шиллер

ПОЛОЖЕНИЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Сколько истины может вынести дух, на какую степень истины он отваживается? Это становилось для меня все больше и больше мерилом ценности. Заблуждение (вера в идеал) не слепота, заблуждение — трусость. Всякое достижение, всякий шаг вперед в познании вытекают из мужества, из жесткости по отношению к себе, из чистоплотности по отношению к себе.

Ницше

Вернейшим мерилом всякой силы является сопротивление, которое она преодолевает. И труд Зигмунда Фрейда, труд разрушения и созидания наново, становится понятным лишь в его сопоставлении с предвоенной ситуацией в области психологии, с тогдашними взглядами — или, правильнее, с отсутствием всякого взгляда — на мир человеческих инстинктов. В наши дни фрейдовские мысли — двадцать лет назад еще богохульные и еретические — свободно обращаются в крови эпохи и языка; отечканенные им формулы кажутся сами собой понятными; требуется, собственно говоря, большее напряжение для того, чтобы мыслить вне их, чем для того, чтобы мыслить ими. Таким образом, именно потому, что нашему двадцатому столетию непонятно, почему это девятнадцатое так яростно противилось давно уже назревшему открытию движущих сил души, необходимо осветить установку тогдашнего поколения в вопросах психологии и потревожить в гробу смехотворную мумию предвоенной нравственности.

Презирать тогдашнюю мораль — а наша молодежь слишком жестоко за нее платилась, чтобы можно было не питать к ней искренней ненависти — не значит еще отрицать самое понятие морали и ее необходимость. Всякое сообщество людей, связанное религиозными или граждан-

скими узами, считает себя вынужденным, ради самоутверждения, ограничивать агрессивные, сексуальные, анархические тенденции отдельных личностей, ставить им преграды и отводить их течение при помощи той плотины, которая именуется нравственным правилом или гражданским узаконением. Само собой разумеется, что каждая из этих групп создает для себя особые нормы и формы нравственности; начиная от первобытной орды и кончая веком электричества, каждое сообщество стремилось подавлять первобытные инстинкты при помощи своих, особых приемов. Жесткие цивилизации прибегали к жесткой силе: эпохи лакедемонская, древне-иудейская, кальвиновская и пуританская пытались выжечь извечный инстинкт сладострастия раскаленным железом. Но, жестокие в своих предписаниях и запрещениях, эти драконовские законы служили все какой-то логической идее. А всякая идея, всякая вера освящают до некоторой степени допущенное ради них насилие. Если Спарта требует нечеловеческой дисциплины, то лишь в интересах воспитания расы, мужественного, воинственного поколения; с точки зрения ее идеального «города», идеального общества, всякая свободно изливающаяся чувственность представляется хищением государственной мощи. Христианство, в свою очередь, борется с плотскими устремлениями человека ради одухотворения, ради спасения вечно-заблуждающегося человеческого рода. Именно потому, что церковь, обладающая высшею психологическою мудростью, знает плотскую, адамову страстность в человеке, она насильственно противопоставляет ей, как идеал, страстность духовную; при помощи костров и темниц рушит она высокомерие своевольной человеческой природы, чтобы способствовать душе в обретении ее высшей, изначальной родины; жесткая логика, но все же — логика. Здесь и повсюду практика морального законодательства вытекает еще из твердого мирозерцания. Нравственность является осязаемой формой неосязаемой идеи.

Но во имя чего, ради какой идеи требует девятнадцатое столетие, с давних пор только внешне благочестивое, вообще какой-либо «узаконенной нравственности»? Чувственное, грубо-материалистическое и падкое до наживы, без тени религиозной воодушевленности, характерной для прежних благочестивых веков, провозглашающее начала демо-

кратии и права человеческие, оно не может даже сколько-нибудь серьезным образом оспаривать у своих граждан право на свободу чувственности. Кто начертил единожды на знамени культуры слово «терпимость», тот уже не имеет права вмешиваться в моральные воззрения индивидуума. В действительности и новейшее государство ничуть не беспокоится, как некогда церковь, о подлинном, моральном усовершенствовании своих подданных; единственно закон общественности настаивает на соблюдении внешних приличий. И не требуется, таким образом, действительной морали, подлинно-нравственного поведения, требуется только видимость морали, порядок, когда каждый на глазах у каждого поступает «словно бы». А в какой мере отдельный человек ведет себя, в дальнейшем, действительно нравственно, остается его частным делом; он же должен только дать себя застигнуть врасплох при нарушении благопристойности. Может случиться всякое, и даже многое может случиться, но все это не должно вызывать никаких толков. Можно, следовательно, в строгом смысле выразиться так: нравственность девятнадцатого столетия вовсе не касается существа проблемы. Она от этой проблемы уклоняется и все свои усилия сосредоточивает на ее обходе. Единственно благодаря безрассудной посылке «если что-либо прикрыть как следует, то оно не существует», мораль нашей цивилизации, в трех или четырех поколениях, противостояла всем нравственным и сексуальным проблемам или, вернее, уклонилась от них. И жестокая шутка нагляднее всего уясняет действительное положение: не Кант дал направление нравственности девятнадцатого века, а «cant».¹

Но как могла такая трезвая, такая рассудочная эпоха запутаться в дебрях столь нежизненной и несостоятельной психологии? Как случилось, что век великих открытий, век технических достижений снизошел в своей морали до столь откровенного фокусничества? Ответ простой: именно в силу того, что он возгордился своим разумом, в силу высокомерия своей культуры, в силу избыточно-оптимистического отношения к цивилизации. Благодаря неожиданным успехам науки девятнадцатое столетие подпало ка-

¹ «Святошество, лицемерие».

кому-то рассудочному головокружению. Все, казалось, рабски покоряется власти интеллекта. Каждый день, каждый час мировой истории приносили известия о новых завоеваниях научного духа; укрощались все новые и новые, непокорные дотоле стихии земного пространства и времени; высоты и бездны раскрывали свои тайны планомерно-испытующему любопытству вооруженного взора человеческого; повсюду анархия уступала место организации, хаос — воле расчетливого рассудка. Почему бы, при этих условиях, не взять было верх земному разуму над анархическими инстинктами в крови человека, не поставить на место разнузданные первобытные влечения? Ведь вся главнейшая работа в этой области давно уже проделана, и если время от времени и вспыхивает еще что-то в крови современного, «образованного» человека, то это всего только бледные, немощные зарницы отгремевшей грозы, последние содрогания старого умирающего зверя. Еще два-три года, еще два-три десятка лет, и то человечество, которое столь величаво возвысилось от канибализма к гуманности, к социальному чувству, очистится пламенем своей этики и освободится и от этих остаточных, тусклых шлаков; поэтому нет никакой надобности даже вспоминать вообще об их существовании. Только не привлекать внимания людей на область пола, и они забудут. Только не дразнить разговорами, не пичкать вопросам древнего, посаженного за железную решетку нравственности зверя, и уж он станет ручным. Только проходить побыстрее, отведя взоры, мимо всего щекотливого, поступать так, как будто ничего нет, — вот и весь кодекс нравственности девятнадцатого столетия.

В этот планомерный поход против искренности государство мобилизует, согласованным порядком, все зависящие от него силы. Все — искусство и наука, мораль, семья, церковь, низшая школа и университет — все получают одинаковую инструкцию относительно ведения войны: уклоняться от всякой схватки, не приближаться к противнику, но обходить его на далеком расстоянии, ни в каком случае не вступать в настоящую дискуссию. Бороться отнюдь не при помощи аргументов, но молчанием, только бойкотировать и игнорировать. И чудесным образом послушные этой тактике, все духовные силы культуры, рабски ей

преданные, отважно проделали лицемерный церемониал обхода проблемы. В продолжение целого столетия половой вопрос находился в Европе под карантином. Он не отрицается и не утверждается, не ставится и не разрешается, он потихоньку отставляется за ширмы. Организуется громадная армия надсмотрщиков, одетых в форму учителей, воспитателей, пасторов, цензоров и гувернанток, чтобы оградить юношество от всякой непосредственности и плотской радости. Ни одно дуновение свежего воздуха не должно коснуться их тела, никакой разговор, никакое разъяснение не должны потревожить их душевного целомудрия. И в то время как раньше и повсюду, у всякого здорового народа, во всякую нормальную эпоху достигший зрелости отрок вступает в возраст возмужалости как на праздник, в то время как в греческой, римской, иудейской цивилизациях и даже у всех нецивилизованных народов тринадцатилетний или четырнадцатилетний отрок открыто принимается в общество познавших жизнь — мужчина в ряду мужчин, воин в ряду воинов, — убогая педагогика девятнадцатого века, искусственным и противоестественным образом, преграждает ему доступы ко всякой искренности. Никто не говорит свободно в его присутствии и таким путем не освобождает его. То, что ему известно, он может знать только по уличным разговорам или из пересказа товарища постарше, шопотом, на ухо. И так как каждый, в свою очередь, решается передавать дальше эту натуральнейшую из наук опять-таки только шопотом, то всякий подрастающий, сам того не сознавая, служит, в качестве пособника, этому культурному лицемерию.

Следствием такого, целое столетие упорно длящегося заговора — прятать свое «я» и его замалчивать — является беспримерно-низкий уровень психологической науки, наряду с чрезвычайно высокой культурой интеллекта. Ибо как могло бы развиваться глубокое понимание душевных явлений без искренности и честности, как могла бы распространиться ясность, когда как раз те, кто призваны сообщать знание, — учителя, пасторы, художники и ученые — сами являются лицемерами от культуры или неучами? А невежественность всегда влечет за собою жестокость. И вот насылается на юношество безжалостное в силу

своего непонимания поколение педагогов, причиняющее непоправимый вред детским душам вечными своими приказами быть «моральными» и «владеть собою». Мальчишки-подростки, прибегающие, под гнетом полового созревания и в силу незнакомства с женщиною, к единственно-возможному для них способу облегчения своего физического состояния, получают от этих «просвещенных» менторов мудрые, но опасно-ранящие душу указания, что они предаются ужасному, разрушительно действующему на здоровье «пороку»; таким образом, их насильственно отягощают чувством неполноценности, мистическим сознанием вины. Студенты в университете (я сам еще пережил это) получают от того сорта профессоров, которых любили в те времена обозначать эффектным словом «прирожденные педагоги», памятные записки, из которых они узнают, что всякое половое заболевание, без исключения, «неизлечимо». Из таких орудий палит тогдашняя неистовая мораль, ничуть не задумываясь, по человеческим нервам. Таким мужицким, железом подкованным сапогом топчет педагогическая этика душевный мир подростка. Неудивительно, что благодаря этому планомерному насаждению чувства страха в нестойких еще душах что ни миг грохочет револьвер, неудивительно, что в результате этих насильственных оттеснений колеблется внутреннее равновесие несчетного числа людей и создается целыми сериями тип неврастеника, всю жизнь влачащего в себе свои отроческие страхи, в форме неизжитых задержек. Беспомощно блуждают тысячи таких пришибленных моралью лицемерия от одного врача к другому. Но так как в то время медики не умеют еще прощупать болезнь в ее корне, а именно в области пола, и психологическая наука дофрейдовской эпохи, в силу этической благовоспитанности, не решается проникать в эти таинственные, обреченные на замалчивание зоны, то и неврологи оказываются в полной мере беспомощными перед лицом таких пограничных состояний. С чувством неловкости направляют они этих душевно-расстроенных в водолечебницы, как еще не созревших для клиники или сумасшедшего дома. Пичкают их бромом, обрабатывают им кожу электровибрацией, но никто не решается доискиваться подлинных причин.

Еще более ранит это непонимание людей, ненормально

предрасположенных. Заклейменные наукою как этически-неполноценные, как отягченные наследственностью, трагетические государством как преступники, влечат они за собою свою тайну, как незримое иго, всю жизнь, под постоянною угрозою вымогательства и тюрьмы. Ни у кого не находят они ни помощи, ни совета. Ибо если бы в дофрейдовские времена предрасположенный к гомосексуализму обратился к врачу, то господин медицинский советник возмущенно насупил бы брови по поводу того, что пациент дерзает лезть к нему с таким «свинством». Такого рода интимности не подходят для приемного кабинета. Куда же они подходят? Куда подходит человек с расстроенным жизнеощущением, человек, идущий неверным путем? Какая дверь раскроется перед миллионами этих людей, ждущих помощи и облегчения? Университеты уклоняются, судьи цепляются за статьи законов, философы (за исключением одного лишь отважного Шпенгера) предпочитают вовсе не замечать наличия в их благоустроенном мире этой формы эротического отклонения, которую, однако, безусловно понимали прежние культуры, общественность судорожно прикрывает глаза и объявляет все щекотливое неподлежащим обсуждению. Только ни слова об этом в газетах, в литературе, никаких научных дискуссий: полиция осведомлена, и этого достаточно. А то обстоятельство, что в непроницаемой оболочке этого тайнодействия задыхаются сотни тысяч замуравленных, столь же известно, сколь и безразлично высоко-нравственному и высокотерпимому веку, — важно только, чтобы ни один звук не вырвался наружу, чтобы сохранился нерушимым ореол святости, созданный для себя этой культурой, самой нравственной из культур. Ибо видимость моральности важнее для этой эпохи, чем суть человеческого существования.

Целое столетие, ужасающе-длинное столетие владеет Европою этот малодушный заговор «нравственного» молчания. И вдруг это молчание нарушает один, единичный голос. Не помышляя о каком-либо перевороте, поднимается однажды с места молодой врач в кругу своих коллег и, исходя из своих исследований относительно сущности истерии, заводит речь о расстройствах и задержках наших инстинктов и о возможностях их вы-

свобождения. Он обходится без всяких патетических жестов, он не заявляет возбужденно, что настала пора утвердить мораль на новых основаниях и подвергнуть свободному обсуждению вопросы пола, — нет, этот молодой, строго-деловитый врач отнюдь не изображает проповедника новой культуры в академической среде. Он в своем докладе интересуется исключительно диагностикой психозов и их обусловленностью. Но та непринужденная уверенность, с которой он устанавливает, что многие неврозы и, собственно говоря, даже все имеют источником подавленные сексуальные влечения, вызывает смертный ужас в кругу коллег. Не то чтобы они признавали такую этиологию ложной, — наоборот, большинство из них давно уже чует это или это наблюдало; все они, частным образом, сознают важное значение половой сферы для общей конституции человека. Но все же, связанные чувством эпохи, покорные той морали, которая принята цивилизацией, они чувствуют себя до такой степени задетыми этим откровенным указанием на ясный как день факт, словно бы этот диагностический выпад сам по себе явился неприличным жестом. Они переглядываются смущенно: — разве этому юному доценту неведомо неписанное соглашение, в силу которого о таких щекотливых вещах не говорят, по крайней мере в открытом заседании высокопочтенного «Общества врачей»? По части сексуальности — это бы должен знать и соблюдать новичок — устанавливается взаимное понимание между коллегами при помощи дружеского подмигивания, на эту тему шутят за карточным столом, но ведь не преподносят же таких тезисов в девятнадцатом столетии, в столь культурный век, академической коллегии. Уже первое официальное выступление Зигмунда Фрейда — а сцена эта действительно имела место — производит в кругу его товарищей по факультету впечатление выстрела в церкви. И наиболее благожелательные из его коллег тотчас же дают ему понять, что он, уж ради своей академической карьеры, поступил бы правильнее, если бы в будущем отказался от столь щекотливых и нечистоплотных исследований. Это ни к чему не ведет, по крайней мере ни к чему такому, что могло бы быть предметом открытого обсуждения.

Но Фрейда интересуют не приличия, а истина. Он напад

я след и идет по нему. И как раз раздражение, им вызванное, служит ему указанием, что он бессознательно дотронулся до больного места, что первое же прикосновение привело его вплотную к нервному узлу всей проблемы. Он держится цепко. Он не дает себя запугать ни старшим, великодушно-благожелательным коллегам, его предостерегающим, ни оскорбленной морали, сетующей на него и не привыкшей к столь резким прикосновениям *in puncto puncti*.¹ С тем упорным бесстрашием, с тем чисто человеческим мужеством и с тою интуитивною мощью, которые в своей совокупности образуют его гений, он не перестает нажимать как раз на самое чувствительное место, все крепче и крепче, пока наконец нарыв молчания не лопается и не вскрывается рана, которую можно теперь начать лечить. В этом первом своем продвижении в область неведомого молодой врач не подозревает, как много обретет он в окружающей его тьме. Он только чувствует глубину, а глубина всегда магнетически влечет всякий творческий дух.

То обстоятельство, что первая же встреча Фрейда с современным ему поколением превратилась, при всей незначительности повода, в столкновение, является символом, а отнюдь не случайностью. Ибо здесь оказываются задетыми единичной теорией не просто оскорбленная стыдливость и вошедшая в привычку горделивая мораль; нет, здесь отживший метод замалчивания сразу же чувствует, с нервной пронизательностью, неизменно сопутствующей опасности, действительного противника. Не как касается Фрейд этой сферы, а то, что он вообще ее касается и смеет касаться, является поводом к войне не на жизнь, а на смерть. Ибо здесь с первого же мгновения речь идет не об улучшениях, а о совершенно обратной установке. Не о частных, а об основных положениях. Не о единичных явлениях, а обо всем в целом. Лицом к лицу сталкиваются друг с другом две формы мышления, два метода, столь диаметрально-противоположные, что между ними нет и не может быть взаимного понимания. Старая, дофрейдовская психология, всецело покоившаяся на идее о первенстве мозга над кровью, требует от отдельного, от

¹ В средоточии точки.

образованного и цивилизованного человека, чтобы он разумом подавлял свои инстинкты. Фрейд отвечает грубо и ясно: инстинкты вообще не дают подавлять себя, и крайне поверхностным является взгляд, что, будучи подавлены, они куда-то исчезают. В лучшем случае можно оттеснить их из сознательного в бессознательное. Но тогда они скопляются, утесненные, в этой области души и своим непрерывным брожением порождают нервное беспокойство, расстройство, болезнь. Полностью чуждый иллюзий и веры в прогресс, решительный и радикальный в своих суждениях, Фрейд устанавливает неизбежно, что игнорируемые моралью силы *libido*¹ составляют неотъемлемую часть человека, маново рождающуюся с каждым новым эмбрионом, что они являются стихией, которую ни в каком случае нельзя устранить и, самое большое, можно перекладывать на безопасную для человека работу, путем перенесения их в сознание. Таким образом Фрейд рассматривает как нечто благотворное как раз то, что этика старого общества объявила коренною опасностью, а имеемо процесс осознания; и то, что это общество признавало благотворным,—подавление инстинктов,—он именует опасным. Там, где старый метод практиковал прикрытие, он требует раскрытия. Вместо игнорирования — идентификации. Вместо обхода — прямого пути. Вместо отвода глаз — проникновения вглубь. Вместо вуалирования — обнаженности. Инстинкты может укротить лишь тот, кто познал их; взять верх над демонами — лишь тот, кто извлечет их из глубинного их обиталища и смело посмотрит им в глаза. Медицине столь же мало дела до морали и стыдливости, как до эстетики и филологии; ее важнейшая задача — заставить заговорить то таинственное, что есть в человеке, а не обрекать на молчание. Ничуть не считаясь с тенденциями девятнадцатого века к набрасыванию покровов, Фрейд в резкой форме ставит перед своими современниками проблему самопознания и осознания всего вытесненного и неосознанного. И тем самым он приступает к делению не только несчетного числа отдельных лиц, но и всей морально-нездоровой эпохи, путем

¹ Похоть, страсть.

выявления ее основного, подавленного конфликта в перенесения его из области лицемерия в область науки. Этот новый, навстречу жизни идущий метод Фрейда не только изменил взгляд на психику индивидуума, но дал другое направление всем основным вопросам культуры и ее генеалогии. И поэтому грубо недооценивает и крайне поверхностно судит тот, кто рассматривает, все еще с точки зрения 1890 года, заслугу Фрейда, как чисто-терапевтическое достижение, ибо в данном случае он сознательно или бессознательно смешивает исходную точку с конечной целью. То обстоятельство, что Фрейд случайным образом пробил брешь в китайской стене старой психологии именно с ее медицинской стороны, исторически, правда, важно, но не важно для его подвига. Ибо решающим для творческого ума является не то, откуда он исходит, но единственно—в каком направлении и как далеко он продвинулся. Фрейд исходит из медицины не в большей степени, чем Паскаль из математики и Ницше из древне-классической филологии. Несомненно, этот источник сообщает его работам известную окраску, но не определяет и не ограничивает их ценности. И как раз сейчас, на семьдесят пятом году его жизни, уместно подчеркнуть, что его труды и их ценность давно уже не зависят от второстепенного вопроса о том, большее или меньшее число невротиков вылечится ежегодно посредством психоанализа, а также от правильности отдельных пунктов и положений его вероучения. «Замещена» ли *libido* сексуально, или нет, заслуживают или не заслуживают канонизации кастрационный комплекс, нарциссическая установка и не знаю еще какие из сформулированных им тезисов, — все это давно стало предметом богословских споров приват-доцентов и не имеет никакого касательства к непреходящему культурно-историческому факту открытия им душевной динамики и новой технической постановке вопроса. В данном случае одаренный творческим прозрением человек преобразовал всю внутреннюю нашу сферу, и то обстоятельство, что здесь действительно речь шла о перевороте, что его «садизм правдивости» вызвал революцию в воззрении мира на вопросы психики,—эту опасную сторону его учения (опасную именно для них) постигли первыми как раз

представители отмирающего поколения; тотчас же все они, иллюзионисты, оптимисты, идеалисты, поборники стыдливости и доброй старой морали, со страхом отметили: тут взялся за дело человек, который проходит сквозь все запреты, которого не запугаешь никакими «табу», не смутишь никаким противоречием, человек, у которого поистине нет ничего «святого». Они почувствовали инстинктивно, что непосредственно вслед за Ницше, за антихристом, явился в лице Фрейда второй великий разрушитель древних скрижалей, антииллюзионист, человек, который своим беспощадным рентгеновским взором проникает сквозь все прикрытия, который в *libido* прозревает *sexus*,¹ в невинном ребенке — первобытного человека, в кругу мирной семьи — грозную напряженность взаимоотношений отца и сына и в самых невинных снах — бурную игру крови. С первого же мгновения их мучит жуткое предчувствие: не проникнет ли, со своим жестоким зондом, еще дальше этот человек, ничего кроме смутных вождедений не видящий в их величайших святынях — в культуре, цивилизации, гуманности, морали и прогрессе. Не обратится ли этот иконоборец со своей бесстыдной аналитической техникой от отдельной души в конце концов и к душе массовой? Не дойдет ли он до того, что станет постукивать своим молотком по фундаменту государственной морали и по налаженным с таким трудом комплексам семейственности? Не разложит ли он своими ужасающе-едкими кислотами патриотическое чувство и может быть даже религиозное? И действительно, инстинкт отмирающего довоенного мира не обманулся: безотчетное мужество, духовная неустрашимость Фрейда нигде и ни перед чем не остановились. Равнодушный к возражениям и к зависти, к шуму и замалчиванию, он с рассчитанным и непоколебимым терпением ремесленника работал над усовершенствованием своего архимедова рычага, пока не оказался в состоянии пустить его в ход против вселенной. На семидесятом году своей жизни Фрейд проделал и это — попытался применить свой испытанный на индивидууме метод по отношению ко всему человечеству и даже к богу. У него достало мужества итти

¹ Пол.

вперед и вперед, вплоть до последнего nihil,¹ но ту сторону всяческих иллюзий, в величавую беспредельность, где нет уж ни веры, ни надежд, ни сновидений — даже сновидений о небе или о смысле и цели человеческого существования.

Зигмунд Фрейд — великий подвиг одного, отдельного человека! — сделал человечество более сознательным: я говорю более сознательным, а не более счастливым. Он углубил картину мира для целого поколения; я говорю углубил, а не украсил. Ибо радикальное никогда не дает счастья, оно несет с собою только определенность. Но в задачу науки не входит убаюкивать вечно-младенческое человеческое сердце все новыми и новыми грезами; ее назначение в том, чтобы научать людей ходить по жесткой нашей земле прямо и с поднятой головой. В неустанной работе своей жизни Фрейд явил прообраз этой идеи; в его научных трудах его твердость превратилась в силу, строгость — в непреклонный закон. Ни разу не указал Фрейд человечеству, утешения ради, выхода в уют, в адемы земные или небесные, а всегда только путь к самим себе, опасный путь в собственные свои глубины. Его прозрение было чуждо снисхождения; его мышление ни на йоту не сделало жизнь человека легче. Ворвавшись, подобно резкому и режущему северному ветру, в душную атмосферу человеческой психики, он разогнал не мало золотых туманов и розовых облаков чувствительности, но горизонт очистился и область духа прояснилась. Иными глазами, свободнее, сознательнее и пристальнее глядится новое поколение, благодаря Фрейду, в свою эпоху. Тем, что опасный психоз лицемерия, целое столетие терроризировавший европейскую мораль, рассеялся без остатка, что мы научились без ложного стыда вглядываться в свою жизнь, что такие слова как «порок» и «вина» вызывают в нас трепет негодования, что судьи, знакомые с мощью человеческих инстинктов, иной раз задумываются над приговорами, что учителя в наши дни принимают естественное как естественное, а семья отвечает на искренность искренностью, что в системе нравственности все большее и большее место занимает зани-

¹ Ничто.

мать откровенность, а в среде юношества — товарищеские отношения, что женщины более непринужденно считаются со своею волею и с правами своего пола, что мы научились уважать индивидуальную ценность каждого существования и творчески воспринимать тайну нашего собственного существа, — всеми этими элементами более совершенного и более нравственного развития мы и новый наш мир обязаны в первую очередь этому человеку, имевшему мужество знать то, что он знал, и притом еще троекратное мужество — навязывать это свое знание негодующей и трусливо-отвергающей его морали. Некоторые отдельные элементы его системы могут казаться спорными, но что значит «отдельное»! Идея живы столь же их приятием, сколь и встречаемым ими противодействием, творческий труд — столь же любовью, сколь и ненавистью, им возбуждаемой. Претворение в жизнь — вот что единственно означает решающую победу идеи, единственную победу, которую мы готовы еще чтить. Ибо в наше время пошатнувшегося права ничто не поднимает так веру в мощь духовного начала, как пережитый живой пример — пример того, как один единственный человек проявляет, в своей правдивости, мужество, достаточное для того чтобы возвысить меру правдивости во всей вселенной.

ЗАРИСОВКА

Откровенность — источник велической гениальности.

Берт

Отрывает дверь одного из венских больших домов вот уже полвека скрывает частную жизнь Зигмунда Фрейда; хочется даже сказать, что у него никакой частной жизни и не было, в столь скромной отдаленности проходит его личное существование. Семьдесят лет в том же городе, более сорока лет в том же доме. А дома прием больных в том же самом кабинете, чтение в том же кресле, литературная работа за тем же письменным столом. Pater familias из шести человек детей, лично без всяких потребностей, не знающий иных увлечений, кроме увлечения своим призванием и своей призванностью. Ни секунды размеренного и вместе с тем щедро расточаемого времени на тщеславный показ своей личности, на титулы и отличия; ни малейшего, по-агитаторски, выпячивания себя самого, как творца, на первый план, помимо своего творчества; у этого человека жизненный ритм подчиняется, полностью и единственно, безостановочному, терпеливо и равномерно протекающему ритму работы. Каждая неделя из нескольких тысяч недель его семидесятипятилетней жизни замыкает тот же одинаковый круг его деятельности; каждый день — как двойник другого дня: в его академическом распорядке времени раз в неделю лекция в университете, раз в неделю, по средам, духовное ширшество в кругу учеников, по примеру Сократа, раз, по субботам, после обеда, карты, — а в остальное время, с утра до вечера, вернее далеко за полночь, всякая минута деликом уходит на анализ, лечение, разработку тех или иных вопросов, чтение и научное оформление. Этот неутомимый календарь не знает пустой странички; на протяжении полувека напряженный день Фрейда заполнен,

час за часом, исключительно умственным трудом. Непрестанная деятельность столь же естественно присуща этому работающему с точностью мотора мозгу, как регулирующее кровяное биение — сердцу; работа является для Фрейда не вытекающим из веления воли действием, а естественной, постоянной и безостановочной функцией. Но именно эта безостановочность его бодрствующего ума и является самым поразительным в его духовном облике, норма воплощается в данном случае в жизнь. Сорок лет подряд Фрейд продельывает восемь, девять, десять, иной раз одиннадцать анализов в день, иначе говоря, девять, десять, одиннадцать раз сосредоточивается он, по целому часу, с крайним напряжением, можно сказать, с трепетом, на чужой личности, подстерегает и взвешивает каждое слово; и в то же время его память, никогда ему не изменяющая, сопоставляет данные этого анализа с результатами всех предыдущих. Он, таким образом, полностью сживается с этой чужой личностью, в то же время наблюдая ее извне, как психодиагност. И в один миг он должен, по истечении часа, переселиться из этого своего пациента в другого, следующего, восемь, девять раз в день, и, таким образом, хранить в себе обособленно, без всяких записей и мнемонических приемов, сотни судеб, наблюдая каждую в тончайших ее ответвлениях. Такая рабочая установка, с постоянным переключением внимания, требует духовной напряженности, готовности душевной и нервного напряжения, которых не хватило бы у другого и на два-три часа. Но поразительная жизненность Фрейда, его духовная мощь не знают усталости и упадка. Как только кончена аналитическая работа, девяти-десятичасовое служение человеку, начинается творческое оформление результатов, та работа, которую мир считает его единственной. И весь этот гигантский, безостановочный труд, практически касающийся тысяч людей и передающийся затем миллионам, осуществляется полстолетия без помощников, без секретаря, без ассистентов; каждое письмо написано собственноручно, каждое исследование единолично доведено до конца, каждая работа единолично оформлена. Единственно эта грандиозная равномерность творческой мощи свидетельствует о наличии, где-то за будничной гладью существования, истинно-демонического начала. Эта нормальная на первый

взгляд жизнь проявляет свою единственность и ни с чем несравнимое своеобразие лишь в области творчества.

Столь точный рабочий аппарат, никогда не изменяющий, десятилетиями не портящийся и не отказывающийся слушать, мыслим только при безукоризненном материале. Как у Генделя, у Рубенса и у Бальзака, столь же непрестанно творящих, духовный преизбыток имеет у Фрейда источником в корне здоровую натуру. Этот великий врач никогда не болел сколько нибудь серьезно до семидесяти лет, этот тончайший наблюдатель игры человеческих нервов никогда не страдал нервами, этот проникновенный знаток ненормальной психики, этот прошумевший сексуалист был на протяжении всей своей жизни до жути прямолинеен и здоров во всем, что касалось его личных переживаний. По собственному опыту этот человек незнаком даже с самыми обыкновенными, самыми будничными поехами в умственной работе; он почти не знает головной боли и усталости. В течение нескольких десятков лет Фрейду ни разу не пришлось обратиться за помощью к товарищу по врачебной профессии, не пришлось ни разу отказать больному по нездоровью; лишь в патриархальном возрасте коварная болезнь пытается сломить это прямо-таки поликратовское здоровье. Но тщетно! Не успела еще зажить рана, а уж прежняя дееспособность возвращается, ни в какой степени не умаленная. Здоровье для Фрейда равносильно дыханию, бодрствование духа — работе, творчество — жизни. И подобно тому как напряженна и полна его дневная работа, совершенен и ночной отдых этого из стали откованного тела. Короткий, но крепкий, отрешенный от всего постороннего сон восстанавливает, что ни утро, творческие силы его духа, столь величественно-нормального и вместе с тем столь величаво необычного. Когда Фрейд спит, он спит очень крепко, а когда бодрствует, то его дух бодр неслыханно.

Этой уравновешенности внутренних сил не противоречит и внешний образ. И здесь полнейшая пропорциональность всех черт, до конца гармоническое сочетание. Не слишком высокий и не слишком низкий рост, не слишком плотное, но и не слабое сложение. Годами отчаиваются каррикатуристы по поводу его лица, ибо в этом безукоризненно-правильном овале не найти никакого указания

для игры художественного преувеличения. Тщетно стали бы мы рассматривать, один за другим, его портреты поры молодости, чтобы подглядеть какую-нибудь преобладающую линию, что-либо по существу характеризующее. Черты лица тридцатилетнего, сорока и пятидесятилетнего Фрейда говорят только одно: красивый мужчина, мужественный человек с правильными, пожалуй чересчур уж правильными чертами лица. Правда, сосредоточенный взор темных глаз вызывает представление о духовности, но при всем желании в этих поблекших фотографиях не откроешь больше того, что наблюдаем мы в излюбленных Ленбахом и Мажартом портретах — обрамленное выхоленной бородою лицо врача, идеально-мужественного склада, смуглое, мягкое, серьезное, но в конечном счете мало изъясняющее. Уже думаешь, что придется отказаться от какой бы то ни было попытки выявить характерное в этом замкнувшемся в своей гармонии лице. И тогда вдруг начинают говорить последние портреты. Лишь старость, обычно срывающаяся у большинства людей основные черты индивидуальности и размельчающая их в тусклую глину, лишь патриархальный возраст приступают к Фрейду с резцом художника; лишь болезнь и преклонные годы непреложно извлекают физиономию из лица как такового. С тех пор как волосы поседел и борода, когда-то темная, не оттеняет так округло жесткого подбородка и резко-сомкнутого рта, с тех пор как выступает наружу костисто-пластическое строение нижней части лица, обнаруживается нечто жесткое, агрессивное, обнаруживается неумолимость, чуть ли не неприязненность его волевого начала. Его взор, прежде взор простого наблюдателя, впивается теперь глубже, сумрачнее, упорнее, неотступнее, горькая складка недоверия прорезает, словно шрам от раны, его открытый, в морщинах, лоб. И напряженно, как бы отклоняя: «Нет!» или «Неправда!», смыкаются узкие губы. Впервые чувствуешь в этом лице упорство и строгость фрейдовской натуры; чувствуешь: нет, это не good grey old man,¹ ставший к старости кротким и обходительным, но твердый, неумолимый исследователь, который не дается в обман и никогда не согласен обманываться. Человек, которому побоишься солгать, потому

¹ Славный седой старичок.

что он своим насторожившимся, как бы из темноты нацелившимся взором стрелка следит за каждою попыткою уклониться и заранее видит каждый потайный уголок; лицо, может быть, скорее гнетущее, чем сулящее облегчение, но великолепным образом оживленное напряжением проникновенности, лицо не простого наблюдателя, а беспощадного провидца.

Следует отказаться от всяких льстивых попыток отрицать этот налет ветхозаветной суровости, эту жесткую неприимчивость, которые светятся почти угрожающе во взгляде старого борца. Ибо если бы не было у Фрейда этой острооточенной, открыто и беспощадно выступающей решимости, то вместе с нею не стало бы и лучшего, самого решающего, что есть в его подвиге. Если Нидше философствовал ударами молота, то Фрейд всю жизнь оперировал скальпелем; такие инструменты не созданы для руки мягкой и податливой. Условности, церемонии; жалость и снисходительность были бы ни в какой мере несовместимы с радикальными формами мышления, свойственными его творческой природе; ее смысл и назначение были исключительно в выявлении крайностей, а не в их смягчении. Воинственная решимость Фрейда признает только «за» или «против», только «да» или «нет», никаких «с одной стороны» и «с другой стороны», «между тем» и «может быть». Там, где речь идет об истине, Фрейд ни с чем не считается, ни перед чем не останавливается, не мирится и не прощает; как Иегова, он отпустит вину скорее отступнику, чем наполовину усомнившемуся. Полувероятности не имеют для него цены, его влечет только чистая, стопроцентная истина. Всякая расплывчатость, как в личных отношениях одного человека к другому, так и в форме высокопарных туманностей человеческой мысли, именуемых иллюзиями, вызывает в нем неистовое и почти ожесточенное желание отделиться, отмежеваться, распорядиться самостоятельно до конца; взор его, во что бы то ни стало, должен созерцать всякое явление во всей остроте непреломленного света. Но эта ясность видения, мышления и созидания не означают для Фрейда какой-либо напряженности, какого-либо волевого акта; анализировать — это неизменно ему присущее, это врожденное и неистребимое влечение его натуры. Там, где Фрейд сразу же и

до конца не понимает, он уж не договорится о понимании; там, где он не видит ясно сам по себе, никто ничего ему не разъяснит. Его взор, как и ум его, самовластен и непримирим; и как раз в военных действиях, в одинокой борьбе с подавляющими силами противника выявляется полностью агрессивность его мышления, природою выкованного наподобие остро-режущей стали.

Но жесткий, строгий и неумолимый к другим, Фрейд проявляет те же жесткость и недоверие к самому себе. Привыкший к тому, чтобы угадывать самую замаскированную неоткровенность другого человека в тайных дебрях его бессознательного, открывать за одним пластом другой, более глубокий, за каждой истиной — другую, еще более достоверную, за каждым признанием — другое, еще более искреннее, проявляет он и по отношению к себе ту же бдительность контроля. Поэтому столь часто употребляемое выражение «отважный мыслитель» кажется мне, в отношении Фрейда, не слишком удачным. Идеи Фрейда не имеют ничего общего с импровизацией и едва ли обязаны многим интуиции. Чуждый в своих формулировках легкомыслия и поспешности, он часто целые годы колеблется, прежде чем открыто высказать как утверждение какое-либо свое предположение; его конструктивному гению совершенно несвойственны игра мысли и скороспелые построения. Опускаясь в глубины не иначе как ступенька за ступенькой, осторожный и отнюдь не восторженный, Фрейд первым замечает всякое шаткое положение; несчетное число раз встречаются в его сочинениях такие указания, как «Возможно, это только гипотеза» или «Я знаю, что в этом отношении мало могу сказать нового». Истинное мужество Фрейда начинается позже, когда появляется уверенность. Только после того как этот беспощадный разрушитель всяческих иллюзий убедит до конца самого себя и поборет свои собственные сомнения, излагает он свою систему, уверенный в том, что не прибавит к мировым иллюзиям еще одну грезу. Но как только он постиг и открыто признал какую-либо идею, она входит ему в плоть и кровь, становится органической частью его жизненного существования, и никакой Шейлок не в состоянии вырезать из его живого тела хоть частицу ее.

Это твердое отстаивание своих взглядов противники Фрейда с раздражением именуют догматизмом; порою даже его сторонники жалуются на это, громко или тихомолком. Но эта категоричность Фрейда неотделима, характерологически, от его природы; она вытекает не из волевой установки, а из своеобразного, особого устройства его глаза. Когда Фрейд рассматривает что-либо творчески, он глядит так, как будто этого предмета никто до него не наблюдал. Когда он думает, он забывает все, что думали об этом до него другие. Он видит свою проблему так, как должен ее видеть по необходимости, по природе; и в каком бы месте он ни раскрыл Сивиллину книгу души человеческой, ему раскрывается новая страница; и прежде чем его мышление критически к ней отнесется, глаз его почерпнул все что нужно. Можно поучать людей относительно ошибочности их мнения, но нельзя внушить того же глазу в отношении творческого его зора: видение находится по ту сторону всякой внушаемости, также как творчество — по ту сторону воли. А что же именуем мы истинным творчеством, как не способность взглянуть на издревле-установившееся так, как будто никогда не озаряло его сияние земного ока, высказать наново и в девственной форме то, что высказывалось уже тысячекратно, и притом так, словно бы никогда уста человеческие этого не произносили. Эта магия интуитивного прозрения, не поддаваясь выучке, не терпит и никаких наущений; упорство гения в отстаивании однажды и навсегда им увиденного — это не упрямство, а глубокая необходимость.

Поэтому и Фрейд никогда не пытается уговорить своего читателя, своего слушателя относительно правильности своих взглядов, не пытается заговорить его, его убедить. Он только излагает свои взгляды. Его безусловная честность не позволяет ему «подавать» даже самые важные для него мысли в поэтически-внушающей форме и, таким образом, делать, при помощи примиряющих оборотов, некоторые жесткие и горькие блюда более приемлемыми для чувствительных умов. По сравнению с головокружительною прозою Ницше, рассыпающеюся самыми отчаянными фейерверками искусства и художества, его проза кажется на первый взгляд трезвой, холодной и бесцветной. Фрейдовская проза не агитирует, не вербует приверженцев; она

полностью отказывается от всякой поэтической подмазки, от всякого музыкального ритма (к музыке, как он сам признается, у него нет никакой внутренней склонности — очевидно, в понимании Платона, обвиняющего музыку в том, что она вносит расстройство в чистое мышление). А Фрейд только и стремится к чистому мышлению, он поступает по Стендалю: «Pour être bon philosophe, il faut être sec, clair, sans illusion». ¹ Ясность для него, как во всех человеческих отношениях, так и в области словесного выражения, — первое и последнее; этой максимальной озаренности и отчетливости он подчиняет, как нечто второстепенное, все художественные достоинства; единственно в результате достигаемой таким путем алмазной твердости очертаний, его проза обретает свою несравненную *vis plastica*. ² Полностью безыскусственная, строго деловитая, подобная римской, латинской, эта проза не затуманивает поэтически изображенного предмета, но высказывает его резко и по существу. Она не приукрашивает, не нагромождает, не примешивает и не теснит избытком; она до крайности скупа на образы и сравнения. Но если уж встречается в ней сравнение, то оно действует, силою своей убедительной мощи, как выстрел. Некоторые образные формулировки Фрейда имеют в себе нечто от прозрачной четкости резных камней, и в составе его безупречно-ясной прозы они действуют как оправленные в тяжелый хрусталь камни, незабываемые каждая в отдельности. Но ни на минуту не покидает Фрейд в своих философских построениях прямого пути; отступления в области языка столь же ненавистны ему, как обходы в области мышления, и в составе его пространных трудов едва ли найдется положение, которое не было бы понятно; в его прямом и единственном смысле, даже и человеку необразованному. Его выражения, также как и его мысли, неизменно рассчитаны на прямо-таки геометрическую точность определения; и поэтому его требованиям ясности мог служить лишь язык на взгляд неприглядный, но в действительности в высшей степени светоозаренный.

¹ «Чтобы быть хорошим философом, необходима сухость, ясность, отсутствие иллюзий».

² Пластическую силу.

Всякий гений носит маску, говорит Ницше. Фрейд избрал для себя самую непроницаемую — маску неприметности. Его внешняя жизнь, за трезвой, почти филистерской будничностью, скрывает демонический подвиг труда; его лицо, за чертами равновесия и спокойствия, таит творческий гений. Его труд, более революционный и смелый, чем какой-либо другой, скромно ступевывается во вне в качестве натуралистически-точной разработки академического метода. И язык его холодом и бесцветностью прикрывает художественную мощь четкого образотворчества. Гений трезвости, он любит выявлять лишь то трезвое, что в нем заключено, а не гениальное. Только размеренность его доступна на первых порах взору, и лишь потом, на глубине — его чрезмерность. Во всех случаях Фрейд — больше, чем он дает о себе понять, и все же в каждый миг своего существования один и тот же. Ибо всякий раз, когда человеком творчески владеет закон высшего единства, он, этот закон, явственно и победно проявляет себя во всем его существе — в языке, в творчестве, во внешнем облике и в жизни.

ИСХОД

«Особого влечения к карьере и деятельности врача я не чувствовал в молодости, а впрочем — не чувствовал и в дальнейшем», откровенно признается в своем жизнеописании Фрейд, со столь характерной для него беспощадностью к себе самому. Но это признание сопровождается следующим многозначительным пояснением: «Скорее мною двигала своего рода любознательность, направленная, однако, больше на область человеческих отношений, чем на объекты природы». Этой его глубочайшей склонности не соответствовала никакая, собственно, научная дисциплина, ибо в учебном плане медицинского факультета Венского университета такого научного курса как «Человеческие отношения» не имеется. И так как юный студент должен подумать о куске хлеба в будущем, то ему не приходится долго предаваться личной своей склонности, а нужно, вместе с другими медиками, терпеливо пройти путь предуказанных двенадцати семестров. Уже в качестве студента Фрейд серьезно работает над самостоятельными исследованиями; но, согласно своему собственному откровенному признанию, он «довольно небрежно» проделывает круг своих академических трудов, и лишь в 1881 году, в возрасте двадцати пяти лет, «с некоторым опозданием» удостоивается звания доктора медицины.

Судьба многих и многих: этому неуверенному в правильности избранного пути человеку предчувствие приуготовило уже призвание в его духе, а ему приходится променять его для начала на отнюдь нежеланную для него практическую специальность. Ибо с первого же мгновения ремесленный, школьный, врачебно-технический элемент медицинской науки мало привлекает этот склонный к универсальности ум. В глубине души прирожденный психолог, сам того пока еще не знающий, он инстинктивно пытается

наметить себе теоретическое поле действия по крайней мере в соседстве с областью психики. Он, таким образом, избирает себе специальностью психиатрию и занимается анатомией мозга, ибо психология с установкою на индивидуальность, эта давно уже ставшая для нас необходимостью психическая дисциплина, в то время не преподается и не практикуется в медицинских аудиториях; Фрейду придется изобрести ее для нас. Всякая душевная неуравновешенность понимается механистически-мыслящею эпохою исключительно как перерождение нервов, как болезненное изменение; непоколебимо царит ложное представление о том, что путем все более и более точного познания соответственных органов и на основе опытов с животными удастся когда-нибудь в точности рассчитать автоматику «душевной области» и регулировать всякое отклонение. Поэтому наука о душевных явлениях имеет своим поприщем психологическую лабораторию: люди думают, что исчерпывающим образом знакомятся с этою наукою, если при помощи скальпеля и ланцета, микроскопа и чувствительного электрического аппарата отмечают содрогания и сокращения нервов. И Фрейду, таким образом, приходится на первых порах присесть к анатомическому столу и при помощи всевозможной технической аппаратуры доискиваться причинности, которая в действительности никогда не проявляет себя в грубой форме чувственного восприятия. Несколько лет работает он в лаборатории у знаменитых анатомов Брюкке и Мейнерта, и оба мастера своей специальности убеждаются вскоре во врожденном даре творческой изобретательности, присущем молодому ассистенту. Оба пытаются привлечь его как постоянного сотрудника в своей области; Мейнерт предлагает даже молодому врачу быть его заместителем по читаемому им курсу анатомии мозга. Но какая-то внутренняя настроенность, полностью бессознательно, этому противится. Может быть уже в то время его инстинкт предчувствовал, как решится дело; во всяком случае он отклоняет лестное предложение. Однако, проделанные им гистологические и клинические работы, выполненные с академическою тщательностью, оказываются вполне достаточными для того, чтобы предоставить ему доцентуру по кафедре нервных болезней при венском университете.

Доцент по неврологии — для двадцатидевятилетнего, мо-

молодого, не имеющего состояния врача это завидное в Вене по тем временам и притом доходное звание. Фрейду следовало теперь из года в год пользоваться, без усталы, своих пациентов по толково-изученному, академически предуманному методу, и он мог стать экстраординарным профессором и в конце концов даже гофратом. Но уже в то время проявляет себя характерный для него инстинкт самосохранения, который на протяжении всей жизни ведет его все дальше и все глубже. Ибо этот молодой доцент честно признает то, что боязливо замалчивают все другие неврологи друг перед другом и даже перед самим собою, а именно, что вся техника трактовки нервно-психических явлений, в той форме, в какой она преподается в то время, около 1885 года, беспомощнейшим образом и без всякой пользы для других застряла в тупике. Но как практиковать другую, когда никакая другая в Вене не преподается? Все, что можно было заимствовать там, около 1885 года (и долгое время спустя), у профессоров, молодой доцент постиг до последних деталей — тщательную клиническую работу, безукоризненно-точное знание анатомии, а к тому же еще и главнейшие добродетели венской школы: строгую основательность и непреклонное усердие. Чему же учиться помимо этого у людей, знающих не больше, чем он сам? Поэтому известие, что в течение нескольких лет психиатрия в Париже рассматривается с совершенно иной точки зрения, является для него могучим и непреодолимым искушением. Он узнает с изумлением и с недоверием, но в то же время испытывая соблазн, что Шарко, по началу и сам специалист по анатомии мозга, производит там своеобразные опыты при помощи того прошумевшего и преданного проклятию гипноза, который подвергся в Вене, со времени благополучного изгнания из города Франца Антона Месмера, семикратной опале. Издали, пользуясь только сообщениями медицинских журналов, нельзя получить отчетливого представления об опытах Шарко, это сразу понимает Фрейд; нужно самому их увидеть, чтобы судить о них. И тотчас же молодой ученый, с тем таинственным внутренним предчувствием, которое всегда указывает умам правильное направление, устремляется в Париж. Его патрон Брюкке поддерживает ходатайство молодого, не имеющего средств врача о командировочной

стипендии. Стипендия ему присуждается. И молодой доцент уезжает в 1886 году в Париж, чтобы еще раз начать снова, чтобы поучиться, прежде чем учить.

Тут он сразу же попадает в другую атмосферу. Правда, и Шарко, как и Брюкке, исходит из патологической анатомии, но он ее преодолел. В своей знаменитой книге «*La foi qui guérit*»¹ великий француз исследует, в отношении душевной их обусловленности, те чудеса религиозного исцеления, которые отрицались дотоле как недостоверные столь много о себе мнящей медицинской наукой, и устанавливает в этих явлениях определенную закономерность. Вместо того чтобы отвергать факты, он начал толковать их и столь же непосредственно подошел и ко всем другим чудесным методам врачевания, в том числе и к пользующемуся столь дурною славою месмеризму. Впервые встречается Фрейд с учением, которое не отмахивается презрительно, подобно венской школе, от истерии как от симуляции, но доказывает, пользуясь этой интереснейшей, в силу ее выразительности, болезнью, что вызываемые ею припадки являются следствием внутренних потрясений и должны быть поэтому истолковываемы в их психической обусловленности. На примере загипнотизированных пациентов Шарко показывает в переполненных публичною аудиториях, что всем знакомые, типические состояния парализованности могут посредством внушения быть вызваны в гипнотическом сне и потом устранены, и что, следовательно, это рефлексы не грубо-физиологические, но подчиненные воле. Если отдельные элементы учения Шарко не всегда являются убедительными для молодого венского врача, то все же на него неотразимо действует тот факт, что в области неврологии в Париже признается и получает оценку не только чисто-физическая, но и психическая и даже метафизическая причинность; он чувствует с удовлетворением, что психология снова приблизилась здесь к старой науке о душе, и этот психический метод влечет его больше, чем все до сих пор изученные. И в новом кругу Фрейду выпадает счастье — впрочем, можно ли назвать счастьем то, что по существу является инстинктивным взаимопониманием высокоодаренных умов? —

¹ «Вера, которая исцеляет».

счастье вызвать особый интерес к себе со стороны своего наставника. Так же, как Брюкке, Мейнерт и Нотнагель в Вене, узнает сразу же и Шарко в Фрейде творчески-мыслящую натуру и вступает с ним в личное общение. Он поручает ему перевод своих сочинений на немецкий язык и нередко отдичает его своим доверием. Когда потом, через несколько месяцев, Фрейд возвращается в Вену, его мировосприятие изменилось. Правда, он чувствует смутно, что и путь Шарко не вполне его путь, что и этого исследователя занимает слишком много физический эксперимент и слишком мало — то, что этот эксперимент доказывает в области психики. Но уже в течение этих немногих месяцев созрели в молодом ученом новое мужество и стремление к независимости. Теперь может начаться его самостоятельная творческая работа.

Перед тем, правда, нужно выполнить еще одну небольшую формальность. Всякий университетский стипендиат обязан, вернувшись, сделать сообщение о научных результатах своей заграничной командировки. Это прослышав и Фрейд в Обществе врачей. Он рассказывает о новых путях, которыми идет Шарко, и описывает гипнотические опыты в Salpêtrière. Но со времен Франца Антона Месмера сохранилось еще в медицинском цехе города Вены яростное недоверие ко всяким методам, связанным с внушением. Утверждение Фрейда, что можно вызывать искусственно симптомы истерии, встречается с снисходительной улыбкою, а его сообщение о том, что бывают даже случаи мужской истерии, вызывают явную веселость в кругу коллег. Сперва его благожелательно похлопывают по плечу, — что за чушь навязали ему там, в Париже; но так как Фрейд не уступает, ему, как недостойному, преграждают за его отступничество вход в святилище лаборатории мозга, где, слава богу, занимаются еще психологией «строго научно». С того времени Фрейд остался *bête noire*¹ венского университета, он не переступал уже порога Общества врачей, и только благодаря личной протекции одной влиятельной пациентки (как сам он, весело-настроенный, признается) получает он через много лет звание экстраординарного профессора. Но величественный факуль-

¹ Образное выражение: «существо ненавистное».

тет в высшей степени неохотно вспоминает о его принадлежности к академическому составу. В день его семидесятилетия он даже предпочитает определенно не вспоминать об этом и обходится без всякого приветствия и пожеланий счастья. Обыкновенным профессором Фрейд никогда не сделался, равно как гофратом и тайным советником; он остался тем, кем был там с самого начала: экстраординарным профессором среди обыкновенных.

Своим мятежом против механистического подхода к невропатологии, выразившегося в применении к психически обусловленным заболеваниям исключительно таких средств, как раздражение кожи или назначение лекарств, Фрейд испортил себе не только академическую карьеру, но и врачебную практику. Отныне ему приходится идти своим, одиноким путем. И в начале этого пути он знает, пожалуй, только одно, чисто отрицательное, — а именно, что на решающие психологические открытия нельзя рассчитывать ни в лаборатории мозга, ни путем измерения нервной реакции особыми аппаратами. Только при помощи совершенно иного и с иной стороны подходящего метода можно приблизиться к таинственной области душевных сплетений; найти этот метод или, вернее, изобрести его — становится отныне страстной мечтой и страстным трудом его последующих пятидесяти лет. Некоторые указания относительно правильного пути дали ему Париж и Нанси. Но, также как в искусстве, и в области науки одной мысли никогда не бывает достаточно для окончательного оформления; в деле исследования оплодотворение совершается путем скрещивания идеи с опытом. Еще один, самый ничтожный толчок, и творческая мощь разрешится от бремени.

Этот толчок получается — столь интенсивно уже напряжение! — в результате личного дружеского общения с более старшим товарищем, доктором Иозефом Брейером, с которым Фрейд встречался и раньше, в лаборатории Брюкке. Брейер, чрезвычайно занятый работой домашний врач, весьма деятельный и в научной области, без определенной, однако, творческой установки, еще раньше, до парижской поездки Фрейда, сообщал ему об одном случае истерии у молодой девушки, при котором он достиг удачного результата совершенно особенным образом. У этой молодой девушки были налицо все обычные, зарегистри-

рованные наукой явления истерии, этой наиболее выразительной из всех нервных болезней, т. е. параличные состояния, извращения психики, задержки и помрачение сознания. И вот Брейер подметил, что молодая девушка чувствовала облегчение всякий раз, когда имела возможность порассказать о себе то или другое. Врач, человек неглупый, терпеливо слушал все, что говорит больная, так как убедился, что всякий раз, когда она изливала свою фантазию, наступало временное улучшение. Но среди всех этих отрывочных, лишенных внутренней связи признаний Брейер чувствовал, что больная искусно обходит молчанием наиболее существенное, решающее в деле возникновения ее истерии. Он заметил, что пациентка знает о себе кое-что такое, чего она отнюдь не желает знать и что она, по этой причине, в себе подавляет. Для того чтобы очистить путь к предшествующему ее переживанию, Брейер решает подвергнуть девушку систематическому гипнозу. Он надеется, что вне контроля воли будут устранены все задержки, препятствующие конечному установлению имевшего место факта (спрашивается, какое слово, вместо слова «задержки», применили бы мы, если бы психоанализ его не изобрел). И в самом деле, попытка его увенчивается успехом; в гипнотическом состоянии, когда чувство стыдливости как бы парализуется, девушка свободно признается в том, что она столь упорно замалчивала до сих пор перед лицом врача и что скрывала, прежде всего, от самой себя, а именно, что у постели больного отца она испытала известного рода ощущения и потом их подавила. Эти оттесненные по соображениям благопристойности чувства нашли себе или вернее изобрели для себя, в качестве отвлечения, определенные болезненные симптомы. Ибо всякий раз, когда в состоянии гипноза девушка признается в этих своих чувствах, сразу же исчезает их суррогат — симптомы истерии. И вот Брейер систематически продолжает лечение в намеченном направлении. И поскольку он вносит ясность в самосознание больной, истерические явления ослабевают, — они становятся ненужными. Спустя несколько месяцев пациентку можно отпустить домой как излечившуюся до конца и совершенно здоровую.

Об этом своеобразном случае Брейер рассказывал как-то своему младшему коллеге, как о заслуживающем особого

внимания. Его удовлетворил здесь, прежде всего, благополучный возврат нервно-больной к состоянию здоровья. Но Фрейд, со свойственным ему инстинктом глубины, сразу же чувствует, за открытым Брейером терапевтическим средством, закон значительно более общий, и именно, что «психическая энергия допускает перераспределение», что «подсознательное» (и этого слова тогда еще не существовало) подчиняется какой-то определенной динамике переключения, которая преобразует подавленные и не нашедшие себе естественного исхода чувства («неотреагированные», как мы теперь говорим) и претворяет их в другие, особые душевные или физические переживания. Констатированный Брейером случай освещает данные парижского опыта как бы с другой стороны; и друзья сообща берутся за работу, чтобы проследить открывшееся им явление на большей глубине. Их совместные труды «О психическом механизме явлений истерии», от 1893 года, и «Очерки истерии», от 1895 года, представляют собою первый опыт изложения этих новых идей; в них встречаемся мы с первыми проблесками новой психологии. Этими совместными исследованиями устанавливается впервые, что истерия обусловлена не органическим заболеванием, как предполагалось до сих пор, но известным рода расстройством в результате внутреннего, не осознанного самим больным конфликта, гнет которого вызывает в конце концов эти «симптомы», болезненные изменения. Подобно тому как лихорадка возникает благодаря внутреннему воспалению, возникают, в силу скопления чувств, душевные расстройства. И подобно тому как спадает в теле жар, чуть только гной найдет себе выход, прекращаются и судорожные явления истерии, если удастся создать выход подавленному и отесненному чувству, «отвести энергию симптомообразующего аффекта, уклонившегося на ложные пути и там как бы защемленного, в правильном направлении, с тем чтобы он нашел себе исход».

В качестве инструмента для такого рода душевной разгрузки Брейер и Фрейд применяли сначала гипноз. Но в ту эпоху, доисторическую эпоху психоанализа, гипноз отнюдь не представляет собою целебного средства; он является лишь вспомогательным приспособлением. Его назначение исключительно в том, чтобы помочь разредить

судорогу чувства; он является как бы наркозом для предстоящей операции. Лишь после того как отпали задержки контролирующего сознания, больной свободно высказывает все затаенное; и уж благодаря одной только его исповеди гнет, обуславливающий расстройство психики, ослабевает. Создается выход стесненному чувству, наступает то состояние душевной облегченности, которое превозносилось еще в греческой трагедии как несущее свободу и блаженство; потому-то Брейер и Фрейд назвали по началу свой метод «катартическим», в смысле аристотелевского катарзиса. Благодаря сознанию и самосознанию становится излишним искусственный, болезненно-ложный акт, исчезает симптом, имевший только символический смысл. Выговориться означает, таким образом, до некоторой степени и прочувствовать; осознанность несет с собою освобождение.

Вплоть до этих существенно-важных, можно сказать решающих предпосылок Брейер и Фрейд продвигались вперед сообща. В дальнейшем пути их расходятся. Брейер, врач по призванию, обеспокоенный опасными моментами этого спуска в низины, снова обращается к области медицины; его, по существу, занимают возможности излечения истерии, устранение симптомов. Но Фрейда, который только теперь открыл в себе психолога, влекут как раз таинственность этого акта трансформации, происходящий в душе процесс. Впервые установленный факт, что чувства поддаются оттеснению и замене их симптомами, подвигает его на все новые и новые вопросы; он угадывает, что в этой одной проблеме заключена вся проблематика душевного механизма. Ибо, если чувства поддаются оттеснению, то кто их оттесняет? И прежде всего, куда они оттесняются? По каким законам происходит переключение сил психических на физические, и где именно совершаются эти непрестанные переустановки, о которых человек ничего не знает и которые он, с другой стороны, сразу же осознает, если его принудить к такому осознанию? Перед ним начинает смутно обрисовываться незнакомая область, куда не отваживалась вторгаться до сих пор наука; новый мир открывается ему издали, в неясных очертаниях—мир бессознательного. И отныне страстное устремление всей его жизни—«познать долю бессознательного в индивидуальной жизни души». Спуск в низины начался.

МИР БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Требуется всегда особое напряжение; чтобы забыть что-нибудь такое, что ты знаешь, чтобы с высшей ступени созерцания искусственно заставить себя спуститься до другой, более примитивной; так же трудно нам вернуть себя назад к тем представлениям, которые существовали в научном мире, около 1900 года, относительно понятия «бессознательное». То обстоятельство, что наша психическая деятельность отнюдь не исчерпывается сознательной работой разума, что за последнюю проявляет себя какая-то другая сила, как бы в теневой области нашего существования и мышления, было, само собой разумеется, известно и дофрейдовской психологии. Но суть в том, что она не знала, что ей делать с этим представлением; ей чужды были какие бы то ни было попытки претворить это понятие в науку и опыт. Философия той поры охватывает явления психики, лишь поскольку они проявляют себя в пределах сознания. Но ей кажется бессмысленным—*contadictio in adjecto*¹—пытаться сделать бессознательное объектом сознания. Чувство только тогда становится для нее чувством, когда оно отчетливо ощутимо, воля — только тогда, когда она проявляет себя в действии, а до тех пор, пока психические явления не проступают на поверхность сознательной жизни, психология исключает их из области науки как невесомые.

Фрейд в своем психоанализе пользуется техническим термином «бессознательное», но он придает ему значение совершенно иное, чем школьная философия. В представлении Фрейда сознательное не является исключительной категорией душевной деятельности, и, в соответствии с этим, бессознательное не кажется ему категорией совершенно

¹ Противоречие в сопоставлении.

особой или даже подчиненной; наоборот, он решительно подчеркивает, что все душевные процессы представляют собой по началу бессознательные акты; те из них, которые осознаются, не являются какою-либо особой или подчиненной разновидностью, но их переход в сознание есть свойство, приводящее извне, как свет по отношению к какому-либо предмету. Стол остается таким же столом, независимо от того, стоит ли он невидимым, в темном помещении, или его делает доступным зрению включенная электрическая лампочка. Свет всего только делает его существование чувственно-постигаемым, но не обуславливает его существования. Несомненно, в этом состоянии повышенной доступности восприятию он может быть измерен точнее, чем впотьмах, хотя и в последнем случае возможно создать некоторые ограничивающие представления о нем, при помощи другого метода, путем ощупывания и осзания. Но, логически, невидимый впотьмах стол столь же принадлежит к физическому миру, как и видимый, и, по аналогии с этим, бессознательное в той же мере входит в область душевных явлений, как и сознательное. В соответствии с этим, «бессознательное», по Фрейду, впервые не равнозначуще непостижимому, и в этом новом понимании вводится им в терминологию науки. Новое в науке требование Фрейда — вооружиться новым вниманием, прибегнуть к другой методологической аппаратуре, к водолазному колоколу глубинной психологии, опуститься ниже глади сознания и осветить психические процессы не только поверхностно но и в последних глубинах — сделало, наконец, из школьной психологии подлинную науку о душе человеческой, применимую практически и даже несущую исцеление.

В этом открытии новой области для исследований, в этой полной перестановке душевных сил и расширении арены их деятельности до невероятных размеров и заключается, собственно, гений Фрейда. Одним приемом область доступного восприятию в сфере психики во много раз увеличилась, и к двум поверхностным измерениям прибавилось и третье — по глубине. Благодаря этому одному, незначительному на первый взгляд переключению — ведь самые решающие мысли всегда представляются в дальнейшем простыми и сами собой понятными — меняются, в преде-

лах душевной динамики, все нормы. И в истории культуры, в будущем, этот творческий миг психологии будет вероятно сопричислен к тем великим мировым мгновениям, которые, установкою на другой угол зрения, изменили все мышлещущения эпохи, как то было с Кантом и Коперником. Ибо уже сейчас академические представления начала нашего века о человеческой психике кажутся нам столь же неуклюжими, ложными и ограниченными, как птолемеева карта, именующая миром жалкую долю географической вселенной. В точности так же, как и наивные картографы той поры, дофрейдовские психологи обозначают все эти необследованные материи попросту словом «terra incognita»,¹ бессознательное для них — замена понятий «недоступное познанию», «непостижимое». Они чувствуют смутно: где-то должен находиться таинственный резервуар, куда стекают, чтобы застаиваться там, неиспользованные нами воспоминания, помещение, где без всякого толку скопляется все забытое и ненужное, складочное место, откуда память время от времени переводит тот или иной предмет в сознание. Но основоположением дофрейдовской науки было и остается: этот мир бессознательного сам по себе до конца пассивен, полностью недеятелен; это — отжитая, отмершая уже жизнь, прошлое, с которым покончено; все это не имеет никакой силы, никакого влияния на наше психическое настоящее.

Такому толкованию Фрейд противопоставляет свое: бессознательное — это отнюдь не отходы душевной жизни, но изначальная душевная субстанция, и только крохотная ее доля всплывает на поверхность сознания. Однако, главнейшая, не выступающая на свет часть, так называемое бессознательное, ни в коем случае от этого не мертва и не лишена динамичности. На самом деле она влиет на наше мышление и наше чувство столь же живо и активно; она, пожалуй, является даже наиболее жизнедеятельной частью душевной нашей субстанции. Поэтому тот, кто не учитывает участия во всех наших решениях бессознательной воли, смотрит ошибочно, ибо упускает из вида самый существенный фактор внутренней нашей напряженности; сила удара ледяной горы не угадывается по той ее части, ко-

¹ «Неведомая земля».

торая выдается над поверхностью воды (главнейший упор скрыт под поверхностью); так и тот грубо обманывается, кто полагает, что только наши ясные нам порывы энергии определяют наши ощущения и поступки. Наша жизнь, во всей ее полноте, не развивается свободно на началах разумности, но испытывает непрестанное давление со стороны бессознательного; каждый миг новая волна из бездны позабытого якобы прошлого вторгается в живую нашу жизнь. Совсем не в той величественной мере, как полагаем мы ошибочно, подчиняется внешнее наше поведение бодрствующей воле и расчетам рассудка; молниеносные наши решения, внезапные подземные толчки, потрясающие нашу судьбу, исходят из темных туч бессознательного, из глубин инстинктивной нашей жизни. Там, внизу, теснится слепо и беспорядочно то, что в сфере сознания разграничено ясными категориями пространства и времени; там бродят яростно желания давно заглохшего детства, которые мы считаем давно похороненными, и время от времени прорываются, жаждущие и алчущие, в нашу жизнь; страх и ужас, давно забытые сознанием, вздымают свои вопли ввысь, по проводам наших нервов; страсти и вождедения не только нашего личного прошлого, но и истлевших поколений, страсти и вождедения наших варваров-предков сплетаются корнями там, в глубине нашего существа. Оттуда, из глубины возникают наиболее личные наши поступки, из области таинственного исходят внезапные озарения; сила наша определяется иною, высшею силой. Там, в глубине, неведомо от нас, живет изначальное наше «я», которого наше цивилизованное «я» не знает больше или не желает знать; но внезапно оно выпрямляется во весь рост и прорывает тонкую оболочку культуры; и тогда его инстинкты, первобытные и неукротимые, грозно проникают в нашу кровь, ибо извечная воля бессознательного — воспрянуть к свету, претвориться в сознание и найти выход в действии: «поскольку я существую, мне надлежит быть деятельным». Всякий миг, какое бы слово мы ни произносили, какой бы ни совершали поступок, должны мы подавлять или, вернее, оттеснять наши бессознательные влечения; нашему этическому или культурному чувству приходится неустанно противиться варварским вождедениям инстинктов. И — величественная картина, впервые вызванная к жизни

Фрейдом — вся наша душевная жизнь представляется как непрерывная и страстная, никогда не приходящая к концу борьба между сознательною и бессознательною волей, между ответственностью за наши поступки и безответственностью наших инстинктов. Но и с виду бессознательное имеет во всех своих проявлениях, даже когда они нам непонятны, определенный смысл; сделать этот смысл, смысл бессознательных наших побуждений, постижимым для индивидуума — в этом видит Фрейд задачу новой и насущно-необходимой психологии. Только после того как мы осветили глубинный мир человека, можем мы судить о его чувствах; только спустившись к глубинам психики, можем мы понять, по существу, причину ее расстройств и потрясений. Психологу и психиатру незачем учить человека тому, что он постигает сознанием. Лишь там, где человеку неведомо бессознательное, может оказать ему действительную помощь врач по душевным болезням.

Но как проникнуть туда, в эти сумеречные области? Современная наука не знает пути. Она категорически отрицает возможность постигнуть явления бессознательного при помощи аппаратуры, рассчитанной на точность механического порядка. И только в свете дня, только в области сознательного могла производить свои наблюдения старая психология. А мимо всего безмолвного или говорящего смутно она проходила равнодушно, не глядя. И вот Фрейд ломает это воззрение, как прогнивший кусок дерева, и швыряет его от себя прочь. По его убеждению, бессознательное не безмолвно. Оно говорит, но, правда, при помощи иных знаков и символов, чем язык сознания. Поэтому тот, кто с поверхности своего «я» хочет спуститься в глубины, должен изучить сначала язык этого нового мира. Подобно тому как египтологи использовали таблицу Розетты, начинает и Фрейд наносить значок за значком, начинает разрабатывать для себя словарь и грамматику языка бессознательного, чтобы уразуметь те голоса, которые звучат за нашими словами и за нашим сознанием предостерегающе или зовуще и власти которых мы в большинстве случаев подпадаем более роковым образом, чем велениям сознательной нашей воли. А кто уразумел новый язык, уразумел и новый смысл. Таким образом новый подход Фрейда к глубинной психологии открывает неведо-

мый до того мир; только благодаря ему научная психология из системы простых, теоретически-умозрительных наблюдений над актами сознания становится тем, чем она всегда должна была быть,— наукою о душевных явлениях. Одно из полушарий внутреннего нашего мира не пребывает уж более затененным и недоступным для науки. И в той мере, как обозначаются первые контуры бессознательного, все более непреложным становится новое понимание чудесно осмысленной структуры духовного нашего мира.

ТОЛКОВАНИЕ СНОВ

Comment les hommes ont-ils si peu ré fléchi jusqu'alors aux accidents du sommeil, qui accusent en l'homme une double vie! N'y aurait-il pas une nouvelle science dans ce phénomène?... il annonce au moins la désunion fréquente de nos deux natures. J'ai donc enfin un temoignage de la supériorité qui distingue nos sens latents de nos sens apparents.

Balzac, Louis Lambert, 1833 1

Бессознательное — глубочайшая тайна всякого человека; психоанализ ставит себе задачей помочь ему в раскрытии этой тайны. Но как раскрывается тайна? Тройким образом. Можно силою исторгнуть у человека то, что он утаивает; столетия пыток показали наглядно, каким способом можно разжать и упрямо-стиснутые губы. Далее, можно путем различных сопоставлений угадать скрытое, пользуясь короткими мгновениями, когда смутный абрис тайны — подобно спине дельфина над непроницаемой гладью моря — на секунду всплывает из мглы. И можно, наконец, дожидаться с величайшим терпением случая, когда, в состоянии ослабленной настороженности, высказано будет то, что скрывалось.

Всеми этими тремя техническими приемами пользуется попеременно психоанализ. На первых порах он пытался насильственно заставить заговорить бессознательное, по-

¹ Как это люди до сих пор так мало раздумывали о содержании наших снов, свидетельствующем о наличии двойной жизни в человеке? Разве в этом явлении не заключена целая новая наука?... оно по меньшей мере подтверждает факт постоянного разрыва между двумя сторонами нашей природы. Я в конце концов вынес из этого убеждение в преимущественной мощи скрытых наших чувств над явными.

Бальзак, Луи Ламбер, 1833 г.

давления волю гипнотическим внушением. Психологам давно уже было известно, что человек знает о себе больше, чем он сознательно признает перед самим собою и другими, но они не умели подойти к этому подсознательному. Только месмеризм показал впервые, что в состоянии искусственного сна из человека нередко можно извлечь больше, чем в состоянии бодрствования. Тот, чья воля парализована, кто пребывает в транс, не знает, что он говорит в присутствии других; он полагает, что находится в мировом пространстве наедине с самим собою, и выбалтывает, не смущаясь, сокровеннейшие свои желания и тайны. Поэтому гипноз казался по началу самым многообещающим методом; но вскоре (по соображениям, которые завели бы нас слишком далеко в детали дела) Фрейд отказывается от насильственного вторжения в бессознательное, как от способа неэтического и малопродуктивного; подобно тому как судопроизводство, на более гуманной ступени, добровольно отказывается от пытки, заменяя ее более сложным искусством допроса и косвенных улик, так и психоанализ вступает в эпоху комбинирования и догадок из эпохи насильственно-добытых признаний. Всякая дичь, как бы ни была она проворна и легка на ходу, оставляет следы. И в точности так же, как охотник по самым слабым отпечаткам ног угадывает поступь и породу зверя, как археолог по осколку вазы устанавливает принадлежность к той или иной эпохе целого города, погребенного под землю, практикует, в этой последующей стадии развития, и психоанализ свое искусство тайного розыска, пользуясь малейшими указаниями, при посредстве которых бессознательное проявляет себя в данный момент в пределах сознательной жизни. Уже при первых своих наблюдениях в направлении этих указаний Фрейд обнаружил поразительные следы, а именно так называемые ошибочные действия. Под ошибочными действиями (для каждого нового понятия Фрейд неизменно находит особо меткое слово) глубинная психология понимает совокупность всех тех своеобразных явлений, которые человеческая речь, величайшая и старейшая представительница психологического опыта, давно уже объединила в одну целостную группу и обозначила одинаковым начальным слогом «о», как-то: о-говориться, о-писаться, о-сту-

виться, о-слышаться. Пустяк, без сомнения: человек оговаривается, произносит одно слово вместо другого, принимает один предмет за другой, описывается, пишет, вместо одного, другое слово, — с каждым случается такая ошибка десять раз на дню. Но откуда берутся эти опечатки в книге жизни? В чем причина того, что материя противится нашей воле? Ни в чем — случай или усталость, отвечала старая психология, поскольку она вообще устаивала своим вниманием столь незначительные изъяны повседневной жизни. Отсутствие всякой мысли, рассеянность, невнимательность. Но Фрейд берет за дело вплотную: что значит отсутствие мысли, как не то, что наши мысли не там, где надлежало бы им, в согласии с нашей волей, быть? И если, в результате, не осуществляется диктуемое волею намерение, то откуда выскакивает другое, волей не продиктованное? Почему вместо того слова, которое мы хотим произнести, мы произносим другое? Так как при ошибочных действиях вместо действия преднамеренного совершается другое, то кто-то должен был вмешаться и это действие воспроизвести. Кто-то такой должен быть, кто добывает это неправильное слово вместо правильного, кто прячет предмет, который мы ищем, кто коварно подсовывает вместо сознательно разыскиваемого другой предмет. И вот Фрейд приходит к убеждению (и эта идея становится первенствующей в его методике), что на всем пространстве психики нет ничего бессмысленного, случайного. Для него всякий душевный процесс имеет определенный смысл, всякий поступок — своего вдохновителя; и так как в этих ошибочных действиях сознательная сфера человека не участвует, но оттесняется, то что же такое эта оттесняющая сила, как не бессознательное, столь долго и безуспешно разыскиваемое? Таким образом ошибочное действие означает для Фрейда не отсутствие мысли, но проникновение во вне некоей оттесненной мысли. Что-то такое высказывает себя в о-говорке, в о-писке, чему не давала выхода в речь наша сознательная воля. И это что-то говорит неведомым и подлежащим еще изучению языком бессознательного.

Этим самым объяснено нечто основное: во-первых, в каждом ошибочном действии, во всем якобы неправильно проделанном, выражается какое-то тайное намере-

ние. И во-вторых: в области сознательной воли должно было быть налицо сопротивление этому проявлению бессознательного. Когда, например (я беру примеры самого Фрейда), профессор говорит на конгрессе о работе своего товарища: «Мы не в состоянии дать достаточно низкой оценки этому открытию», то сознательным его намерением было, правда, сказать «высокой», но в глубине своей души он думал «низкой». Это ошибочное действие выдает его истинную установку, оно, к его собственному ужасу, выбалтывает его тайну, состоящую в том, что он охотнее недооценил бы работу своего товарища, чем переоценил ее. Или если некая искусственная в туризме дама жалуется во время экскурсии, что у ней намокли от жары блуза и рубашка, и потом продолжает: «Если бы только скорее добраться до штанов и сбросить все!» — то кто же не поймет того, что по началу она хотела высказаться полнее и сообщить наивно, что у нее намокли блуза, рубашка и штаны.¹ Понятие «штаны» было близко к тому, чтобы соскочить с языка, но в последний момент является сознание непристойности положения; это сознание преграждает путь слову и оттесняет его; но подавленное намерение не до конца вытеснено, и вот роковое слово выскакивает, пользуясь мигом растерянности, в следующей фразе, в качестве «ошибочного действия». При обмолвке высказывают то, чего собственно не хотели сказать, но что думали в действительности. Забывают то, что в глубине души хотели забыть. Теряют то, что хотели потерять. Ошибочное действие почти всегда означает признание и улик против самого себя.

Это психологическое открытие Фрейда, незначительное по сравнению с основными его творческими мыслями, встретило, в ряду его наблюдений, наиболее единодушное признание со стороны, как самое забавное и безобидное; в пределах же его системы ему принадлежит только промежуточная роль. Ибо такие ошибочные действия имеют место сравнительно редко, они являются лишь мельчайшими осколками бессознательного, слишком малочисленными и слишком рассеянными во времени, чтобы можно было составить из них мозаику целого. Но Фрейд, с при-

¹ Неподающаяся переводу обмолвка: в подлиннике «nach Hose» вместо «nach Hause» Hose — штаны, nach Hause — домой.

сущей ему жаждой наблюдательности, нащупывает, конечно, исходя отсюда, всю нашу душевную жизнь по ее поверхности: нет ли налицо и других столь же «бессмысленных» явлений и нельзя ли их растолковать в том же смысле. Ему не приходится долго искать, чтобы столкнуться с наиболее постоянным явлением душевной нашей жизни, которое точно также слывет бессмысленным и считается даже типичной бессмыслицей. Даже в разговорном языке сон, этот повседневный наш гость, характеризуется как назойливый пришелец и фантастический бродяга по логически-безупречным путям нашей мозговой системы: «сновидения — пена». В глазах людей это — ничто, расцвеченная как мыльный пузырь пустота без цели и без смысла, мираж в крови; их содержание ничего не «означает». Человеку нечего делать со своими снами, он не повинен в этой своенравной, колдовской игре своей фантазии, — так аргументирует старая психология и отказывается от всякого осмысленного их толкования; пускаться в серьезные разговоры с этими лживыми и бестолковыми созданиями не представляет для науки никакого смысла, никакой ценности.

Но кто же говорит, показывает, живописует, действует и создает образы в наших сновидениях? Уже прежняя эпоха подозревала, что здесь говорит, действует и проявляет свою волю не наше бодрствующее «я», а кто-то другой. Уже древность поясняла относительно сновидений, что они нам «даны», вложены в нас какой-то высшей силою. Здесь проявляет себя какая-то сверхземная или — если отважиться на это слово — какая-то сверхличная воля. А для всякой внечеловеческой воли древний мир мифов знал только одно толкование: боги! — ибо кто же кроме них обладал даром превращения и высшею силою? Это были они, обычно незримые; в символических сновидениях приближались они к людям, нашептывали им вести, наполняли их ужасом или надеждою и рисовали на черной завесе сна красочные свои картины, предостерегая и заклиная. Уверенные, что внимают в этих ночных откровениях священным, более того, божеским голосам, все первобытные народы с величайшим жаром пытались уразуметь человеческим своим умом божественный язык «сновидения», чтобы постигнуть в нем волю божества.

Так на заре человечества, в качестве одной из самых ранних наук, возникло толкование снов; перед каждой битвой, перед каждым решающим событием, по прошествии ночи, исполненной сновидений, жрецы и прорицатели вникают в сны и толкуют их содержание как символ грядущего блага или угрожающего зла. Ибо древнее искусство толкования снов, в противоположность психоанализу, раскрывающему с их помощью человеческое прошлое, полагает, что в этих фантазмагориях бессмертные возвещают смертным их будущее. И вот тысячелетиями царит в храмах фараонов, в акрополях Греции, в святилищах Рима и под палящим небом Палестины эта мистическая наука. Для сотен и тысяч поколений сновидение было наиболее достоверным толкованием судьбы.

Новая эмпирическая наука, само собой разумеется, резко порывает с этим воззрением, как с суеверным и до крайности наивным. Так как она не признает никаких богов и едва ли признает божество, то не видит в снах ни указания свыше, ни какого-либо смысла вообще. Для нее сны—это хаос, по неимению смысла не имеющий никакой цены, голый физиологический акт, лишенный тональности, дисгармоническое последствие нервных возбуждений, красочный мираж переполненного кровью мозга, последний, не имеющий значения отголосок непереваренных за день впечатлений, который уносится мутной волною сна. В таком беспорядочном нагромождении образов нет, разумеется, никакого логического или психического смысла. Поэтому наука не усматривает в чередовании сновидений ни достоверности, ни цели, отрицая какое бы то ни было их значение или закономерность; психология того времени не делает даже попыток осмыслить бессмысленное, истолковать неподдающееся толкованию.

Только с появлением Фрейда—по прошествии двух-трех тысячелетий—сновидение получает опять объективную ценность, как некий указующий на судьбу человека акт. Там, где другие видели только хаос, беспорядочное движение, глубинная психология вновь постигает закономерное действие сил; то, что казалось ее предшественникам запутанным лабиринтом без выхода и без смысла, представляется ей *via regia*,¹ большой дорогой, связы-

¹ „Царская дорога“.

вающей подсознательную жизнь с сознательной. Сновидение является посредником между миром наших потайных чувств и миром чувств, подчиненных нашему сознанию; благодаря ему мы можем знать многое такое, что в состоянии бодрствования соглашаемся знать неохотно. Ни один сон, утверждает Фрейд, не является до конца бессмысленным, каждому из них, как полноценному душевному акту, присущ определенный смысл. В каждом проявляет себя не высшая правда, не божественная, не внечеловеческая воля, но зачастую самая затаенная, самая глубокая воля человека. Правда, этот вестник не говорит языком обыкновенной нашей речи, языком поверхностным, — он говорит языком глубины, языком бессознательного. Поэтому мы не сразу постигаем его смысл и его назначение; мы должны сперва научиться истолковывать этот язык. Новая, подлежащая еще разработке наука должна научить нас закреплять, постигать, переводить на понятный нам язык то, что с кинематографической быстротой мелькает на черной завесе сна. Ибо подобно всем первобытным языкам человечества, подобно языку египтян, халдеян и мексиканцев, язык сновидений пользуется исключительно образами, и всякий раз мы стоим перед задачей претворить его символы в понятия. Эту задачу — преобразовать язык сновидений в язык мысли — берет на себя Фрейд, имея в виду нечто новое и характерное для его метода. Если старая, пророческая система толкования снов пыталась познать будущее человека, то вновь возникшая психологическая система прежде всего хочет вскрыть его психобиологическое прошлое, а с ним вместе и подлинное его настоящее. Ибо только по видимости наше выступающее в сновидениях «я» идентично нашему «я» бодрствующему. Так как времени во сне не существует (не случайно мы говорим «с быстротой сновидения»), то во сне мы представляем совокупность всего, чем были когда-либо и что мы теперь; наше «я» одновременно и младенец, и отрок, человек вчерашнего дня и человек сегодняшнего, суммарное «я», итог не только текущей, но и прожитой жизни, между тем как на яву мы воспринимаем единственно наше мгновенное «я». Всякая жизнь двойственна. В глубине, в бессознательном, мы являем собою совокупность нашей личности, былое и на-

стоящее, первобытного человека и человека культурного в их нагромождении чувств, архаические остатки некоего пространного, с природой связанного «я», а вверху, в ясном, режущем свете дня — только сознательное, переходящее «я». И эта универсальная, но смутная жизнь общается с нашим переходящим существованием почти исключительно ночью, при посредстве таинственного гонца во тьме — сновидения; самое существенное, что мы в себе постигаем, узнаем мы от него. Потому-то подслушать его, понять его назначение и значит ознакомиться с самым существом своей сущности. Только тот, кто знает свою волю не только в пределах сознания, но и в глубине своих сновидений, догадывается, поистине, о том итоге пережитой и переходящей жизни, который мы именуем нашей личностью.

Но как опустить грузило в столь непроницаемые и безмерные глубины? Как познать отчетливо то, что никогда ясно не сказывается, что мелькает только смутными личинами в затененных переходах нашего сна, что вещает только, вместо того чтобы говорить? Найти для этого ключ, найти расколдовывающий шифр, который бы выразил непонятный язык сновидений языком яви, — это требует своего рода магии, какой-то провидческой интуиции. Но Фрейд в своей психологической мастерской обладает отмычкой, которая раскрывает все двери, он пользуется почти безошибочной механикой; во всех случаях, когда он хочет достигнуть самых сложных результатов, он исходит из самого примитивного. Неизменно ставит он изначальную форму в один уровень с конечной; всегда и повсюду нащупывает он корни, чтобы ознакомиться с цветком. Поэтому Фрейд в своей психологии сна начинает не с высококультурного, сознательного человека, а с ребенка. Ибо в детском сознании, в пределах валичных представлений, мало имеется смежных, соприкасающихся понятий, круг мышления ограничен, ассоциации слабы, и потому материал сновидений доступен обозрению. В отношении детских снов достаточно минимальной дозы искусства толкования, чтобы сквозь тонкую оболочку мышления проникнуть в область затененных чувственных восприятий. Ребенок прошел мимо кондитерской, родители не согласились купить ему что-либо, и вот

ребенок видит во сне шоколад. Полностью неотстоявшимися, полностью неокрашенными претворяются в детском мозгу вожделение в образ, желание — в сновидение. Нет еще налицо каких бы то ни было душевных, моральных, сексуальных, интеллектуальных задержек, какой-либо предусмотрительности или оглядки. С той же непосредственностью, с какою ребенок демонстрирует себя, свое голое и чуждое стыдливости тело всякому постороннему, раскрывает он и во сне свои подлинные желания.

Этим самым проделана уже некоторая подготовительная работа в целях будущего толкования. Оказывается, что за символическими образами сна скрываются по большей части неисполнившиеся, подавленные желания, которые не могли осуществиться днем и вот устремляются теперь обратно в жизнь путями сновидения. То, что по каким-либо причинам не могло воплотиться днем в слово или в действие, выявляет себя там в красочных фантазиях, при посредстве образов и очертаний; в ускользающем от контроля потоке сна все вожделения и устремления нашего внутреннего «я» могут свободно и во всей наготе вести беспорядочную свою игру. С виду как будто без всяких задержек — вскоре Фрейд исправит эту ошибку — изживается там все то, что не могло воплотиться в реальной жизни, самые темные желания, опаснейшие и запретнейшие помыслы; в этой свободной от постороннего контроля области душа, изо дня в день стесняемая преградами, может, наконец, освободиться от бремени всех своих сексуальных и агрессивных вожделений; во сне мужчина может обнять и силою овладеть женщиной, которая на яву ему противится, нищий может разбогатеть, урод — обзавестись красивой внешностью, старик — помолодеть, отчаявшийся в жизни — стать счастливым, всеми забытый — снискать славу, слабый — обрести силу. Только здесь человек может убить своего врага, поработить своего начальника, экстатически изжить, наконец, в обладании божественной свободой, свои затаеннейшие чувственные вожделения. Всякое сновидение означает, таким образом, не что иное, как изо дня в день подавляемое человеком и даже от самого себя скрываемое желание; так, повидимому, гласит первичная формула.

Это первое в ряду других положение Фрейда не произвело сколько-нибудь определенного впечатления на широкую общественность, так как формула «сновидение — это как бы неизжитое желание» столь доступна в обращении и удобна, что ею можно играть как стеклянным шариком. И действительно, в некоторых кругах полагают, что серьезно занимаются анализом сновидений, развлекаясь забавною салонною игрой, выражающеюся в толковании того или иного сна с точки зрения символики желаний или даже сексуальной символики. В действительности никто более благоговейно, чем именно Фрейд, не взирал на многосложность той ткани, из которой сотканы сновидения, и на высоко-художественную мистику ее хигросплетений; никто не подчеркивал этого вновь и вновь так, как Фрейд. При его недоверчивом отношении к слишком быстрым выводам не потребовалось много времени, чтобы заметить, что вся эта доступность и быстрота восприятия относятся только к детским снам, ибо у взрослых фантазия образотворчества пользуется уже необъятным символическим материалом ассоциаций и воспоминаний. И тот образный словарь, который в детском мозгу насчитывает каких-нибудь двести — триста обособленных представлений, сплетает здесь, с непостижимым проворством и быстротою, миллионы и может быть миллиарды пережитых мгновений в непомерно запутанную ткань. Миновали в сновидениях взрослого бессознательное бесстыдство и неприкрытость детской души, свободно выявлявшей свои желания, миновала болтливая непринужденность прежней поры ночных видений; сон взрослого не только дифференцированнее, но и тоньше, затаеннее, неискреннее, лицемернее, чем сон ребенка; он стал уже наполовину моральным. Даже в этом призрачном, личном своем мире изначально-сущий в человеке Адам утратил рай непосредственности, он различает добро и зло даже в глубоком сне. Доступ к социальному, к этическому сознанию даже во сне не до конца прегражден, и в то время как глаза сомкнуты и затуманены все чувства, душа человеческая испытывает страх: как бы не застигла ее, с ее непристойными желаниями, с преступными ее намерениями, ее укротительница, совесть, «сверх-я», как именует ее Фрейд. Не свободными путями,

открыто и без утайки, шлет сновидение свою весть ввысь, из области бессознательного, но проводит ее контрабандным путем, потайными дорогами, в самой затейливой маскировке. Поэтому Фрейд настоятельно предостерегает против того, чтобы рассматривать структуру сна как его истинное содержание. В сновидении взрослого чувство хочет высказаться, но не решается высказаться свободно. Оно высказывается, из страха перед «цензором», намеренно-извращенно и чрезвычайно тонко, оно неизменно выдвигает на первый план бессмыслицу, чтобы не дать возможности разгадать подлинный смысл; как и всякий сочинитель, сновидение создает вымышленную правду, иначе говоря, оно признается «sub rosa», оно раскрывает тайное переживание только в символах. Следует, поэтому, тщательно разграничивать две категории: то, что «вымыслено» во сне ради утайки, так называемую «продукцию сна», и те подлинные элементы переживаний, которые скрываются за этой красочной завесой — «содержание сна». Задачей психоанализа является, таким образом, разобраться в запутанной сети искажений и высвободить из загадочного романа — всякое сновидение ведь «вымысел и правда» — правду, действительное признание, и вместе с ним ключ к разгадке. Не то, что говорит сон, а то, что он собственно хотел сказать, вводит нас в область бессознательных душевных переживаний. Только здесь обретаем мы глубину, к которой стремится глубинная психология.

Если Фрейд придает анализу сновидений особое значение в деле распознавания личности, то этим он ни в коем случае не толкает нас на смутные, произвольные толкования. Фрейд требует научно-кропотливого метода исследования, подобного тому, которое применяется литературоведами при подходе к поэтическому произведению. Так же, как германист пытается отграничить подлинный мотив переживания от фантастических прикрас и спрашивает себя, что, собственно, побудило автора к этому именно образу — как, например, в эпизоде с Гретхен, усматривает он, в качестве импульса, подмену переживания с Фридерикою, так и психоаналитик ищет в измышленных своим пациентом сновидениях побудительного аффекта. Образ данного лица обрисовывается перед ним

всего явственнее в создаваемых этой личностью образах; здесь, как и всегда, Фрейд глубже всего познает человека в состоянии продуктивности. Но так как познание личности является, собственно, основною целью психоаналитики, то ему приходится крайне осмотрительно пользоваться творческими тенденциями человека, материалом его сновидений; если он остерегается увлечений, противится соблазну измыслить и вложить в чужое сновидение свой собственный смысл, то во многих случаях он способен отвоевать позиции, весьма важные для ориентировки во внутреннем мире личности. Несомненно, антропология обязана Фрейду, столь плодотворно установившему психическую осмысленность ряда сновидений, ценными моментами в своем развитии; но помимо этого, в процессе его работы ему удалось достигнуть и большего, а именно впервые истолковать биологический смысл сновидения, как некоей душевной необходимости. Наука уже давно постигла, что значит сон в хозяйственном обиходе мироздания; он восстанавливает истощившиеся за день силы, возобновляет израсходованную нервную энергию, устанавливает перерыв и отдых в сознательной работе мозга. В соответствии с этим казалось бы, что совершеннейшею с гигиенической точки зрения формой сна должна быть, собственно, абсолютная, черная пустота, родственное смерти погружение в небытие, приостановка работы мозга, утрата зрения, понимания, мыслительной способности. Почему же природа не наделила человека такою, с виду наиболее целесообразной формой отдохновения? Почему, при неизменной осмысленности всех ее явлений, она оживила черную завесу сна колдовской игрою видений? Почему каждую минуту тревожит она эту пустоту, этот путь в нирвану столь соблазнительным для души мельканием мнимой яви? К чему сновидения? Разве они не связывают, не смущают, не расстраивают, не противодействуют столь мудро задуманному отдохновению? С виду бессмысленные, разве они не опорачивают идею целесообразности и планомерности природных явлений? На этот вполне естественный вопрос биология ничего до сих пор не могла ответить. И лишь Фрейд устанавливает впервые, что сновидения необходимы для утверждения душевного нашего равновесия. Сновидение—это кла-

нан для нашего чувства. Ибо в слабое и брненное наше тело вложено слишком много могучих страстей, непомерное жизнелюбие и непомерная жажда утех, и как мало желаний, из миллиарда имеющихся налицо, может удовлетворить рядовой человек в пределах мещански-размеренного дня! Едва ли тысячная часть наших вождедений воплощается в жизнь; и вот неутоленная и неутомимая, в бесконечность простирающаяся жажда томит каждого, вплоть до мелкого рантье, поденщика и призываемого в богадельне. Каждого из нас обуревают темные влечения, бессильное властолюбие, подавленные и трусливо притаившиеся анархические помыслы, извращенное тщеславие, позывы к жизни, зависть. Из несчетного числа проходящих мимо нас женщин каждая в отдельности вызывает в нас мгновенную страсть, и все эти неизжитые порывы, позывы к обладанию змеиным, ядовитым клубком скопляются в подсознании, с раннего утра и до поздней ночи. Если бы ночные видения не давали исхода всем этим подавленным желаниям, могла ли бы душа не разлететься под таким атмосферным давлением или не прорвать себе выхода в преступление и убийство? Выпуская наши вождедения, непрестанно утесняемые в пределах дня, на свободу, в безобидные области сновидений, мы снимаем тяжкое бремя с нашего чувства, мы освобождаем, путем такого самоотвлечения, нашу душу от яда угнетенности, подобно тому как наше тело освобождается во сне от яда усталости. В этом, нам одним доступном воображаемом мире мы изживаем все наши социально-преступные помыслы в форме безответственных, мнимых действий, вместо того чтобы изживать их как действия, влекущие кару. Сновидение означает суррогат, замену действия; оно избавляет нас нередко от необходимости действовать, и в высшей степени поучительно изречение Платона: «Хорошие люди — это такие, которые довольствуются снами, в то время как другие действуют». Не в качестве помехи жизни, помехи сна, а в качестве стража сна посещает нас сновидение; в спасительной его фантастике душа освобождается, галлюцинируя, от избытка своей напряженности («Что скопилось в сердце, расчихал во сне», — гласит выразительная китайская поговорка), так что по утрам наше посвежевшее тело обретает в себе,

вместо переполненной души, душу очистившуюся и легко дышащую.

Это облегчающее, катартическое действие сновидения является, по Фрейдю, тем самым его смыслом, которого так долго искали и который так упорно отрицался; и этим спасительным свойством обладает не только ночной пришелец, сон, но и высшая форма фантастики и грез на яву, а стало быть и художественное творчество и мифотворчество. Ибо какую же цель преследует творчество, как не избавить, символически, человека от томительных внутренних перенапряжений, перенести гнетущую его силу в другую, безопасную для его духа область! В каждом истинно-художественном произведении образотворчество является творчеством самовысвобождения, и если Гете говорит, что Вертер покончил самоубийством вместо него, то этим он с необычайной выразительностью поясняет, что спас свою собственную жизнь, осуществив задуманное им самоубийство на другом, вымышленном образе, двойнике; выражаясь психоаналитически, он «отреагировал» свое самоубийство в самоубийстве Вертера. И подобно тому, как отдельные личности освобождаются от гнета и от вожделения во сне, так и народы в целом высвобождают томящий их страх и присущие им страсти в мифах и религиях; на жертвенных алтарях освящается их инстинкт кровопролития, маскирующийся в символ, душевный гнет претворяется молитвою и покаянием в целительное слово утешения. Душа человечества выявляла себя от начала веков лишь в художественной фантастике, — иначе что бы мы о ней знали! Ее творческая мощь постигается нами только в ее сновидениях, воплощенных в религии, мифы и произведения искусства. Никакая психология, поэтому, не в состоянии — это прочно внушил нашей эпохе Фрейд — доискаться до подлинноличного в человеке, если она рассматривает только его сознательные и ответственные действия; ей приходится спуститься вглубь, туда, где существо человека становится мифом и создает наиподлиннейшую картину его жизни, в творчески-стремительном потоке стихийно-бессознательного.

ТЕХНИКА ПСИХОАНАЛИЗА

Странно, что так мало занимались внутренним миром человека и что подходили к нему так бездушно. Как мало использованы средства физики для духа, и дух — для внешнего мира.

Новалис

В некоторых отдельных местах многообразной нашей земной коры начинает бить внезапно, неожиданным фонтаном драгоценная нефть, в некоторых разбросано в речном песке золото, в некоторых скопляется на поверхности уголь. Но техника человеческая не ждет, пока там и сям милостиво соизволят объявиться эти недостаточные по количеству сокровища. Она не надеется на случай, но сама разрывает землю, чтобы превратить источники в потоки, она пробивает ходы в глубине, и тысячи из них — без всякой пользы, с тем чтобы хоть один только раз добраться до драгоценной руды. Так и сколько-нибудь активная психология не должна довольствоваться случайными, всегда недостаточными показаниями сновидений и ошибочных действий; и ей приходится, чтобы добраться до основного пласта бессознательного, пользоваться психотехникой, сложными подземными сооружениями, открывающими доступ в глубину в результате систематической, преследующей определенную цель работы. Такой метод изобретен Фрейдом и назван им психоанализом.

Этот метод ни в чем не напоминает какого-нибудь из прежних, применявшихся в медицине или психологии. Он совершенно своеобразен и нов — способ, полностью независимый от других, психологическая система в ряду других систем, и вместе с тем глубже их проникающая, почему Фрейд и назвал ее глубиной психологии. Врач, желающий пользоваться этим методом, нуждается в своих,

в высшей школе добытых познаниях в столь ограниченной степени, что вскоре, естественно, возник вопрос, требуется ли вообще для психоаналитика специальное медицинское образование; и на самом деле, после длительных колебаний, Фрейд признал допустимым и «анализ непрофессионалов», иначе говоря лечение у людей, не обладающих дипломом врача. Ибо врачеватель души, во фрейдовском смысле этого слова, предоставляет анатомическое исследование физиологам, он стремится только к тому, чтобы сделать видимым невидимое. Так как в этих случаях не ищут ничего, доступного механическому восприятию или осязанию, то всякая аппаратура становится для него излишней; кресло, в котором сидит врач, составляет так же, как в Christian Science, все врачебное оборудование этой терапии. Но Christian Science применяла все же духовные наркотики и анестезирующие средства; для облегчения страдания пациента она укрепляла тревожный дух его такими словами, как бог и вера. В противоположность этому психоанализ избегает всякого вмешательства, как психического, так и физического. Ибо в его намерения входит не ввести что-либо новое в человека, будь то лекарство или вера, но извлечь из него нечто, в нем пребывающее. Только познание, активное самопознание дает исцеление, в психоаналитическом смысле; лишь после того как человек возвращен самому себе, своей подлинной личности (а не к вере в свое выздоровление, всегда сомнительной и многообразной), становится он господином над своей болезнью. Таким образом работа совершается, собственно говоря, не извне, над личностью пациента, но всецело внутри его, в пределах его душевной стихии.

Врач ничего от себя не привносит в это лечение, кроме своего контролирующего опыта, незаметным образом влияющего на направление работы. Он не имеет при себе наготове, подобно практикующему врачу, каких-либо целебных снадобий или механической формулы, подобно последователю Christian Science; его умение является не заранее предписанным и готовым, но накаплиется, капля за каплей, только по мере ознакомления с переживаниями больного. Пациент, с своей стороны, не вносит в процесс лечения ничего, кроме своего конфликта. Но он преподносит его не в раскрытом виде, не с разумением его свойств, а в

самых своеобразных и обманчивых проявлениях, искаженно и замаскированно, так что на первых порах существо расстройства недоступно ни его пониманию, ни пониманию врача. То, что являет собою невротик и в чем он признается, только симптом. А симптомы в области психики никогда не указывают ясно на болезнь, наоборот, они укрывают ее, ибо по мысли Фрейда (крайне своеобразной и новой) невроты не имеют никакого содержания; каждый из них имеет только свою причину. Невротик не знает, чем вызвано его расстройство, или не хочет этого знать, или не постигает этого сознанием. Много лет подряд он претворяет свой внутренний конфликт в столь разнообразные навязчивые действия и симптомы, что в конце концов сам перестает понимать, что с ним происходит. И вот тут-то вступает в дело психоаналитик. Его назначением является помочь невротнику разгадать загадку, ключ к которой он сам. В «дейтельной работе вдвоем» он, сообщая с больным, доискивается в зеркальном экране симптомов истинных, первичных образов расстройства; шаг за шагом проникают они, путями психической жизни больного, в обратном направлении, вплоть до того момента, когда окончательно прояснится и станет понятным внутренний разлад.

Этот технический прием психоанализа ближе на первых порах к области криминальной, чем к сфере врачебной деятельности. Всякий невротик, всякий неврастеник должен был, по мысли Фрейда, испытать когда-либо в прошлом взлом и покушение на целостность своей личности, и первую же меру является возможно точное ознакомление с обстоятельствами дела; в памяти сознания должны быть с максимальной точностью восстановлены место, время и все подробности позабытого или вытесненного происшествия. Но уже при первом же этом шаге психоаналитический метод наталкивается на трудность, которая неизвестна судопроизводству. Ибо в психоанализе пациент до известной степени совмещает в себе все. Он лицо пострадавшее от преступления и в то же время сам преступник. Он, при посредстве своих симптомов, является обвинителем и свидетелем обвинения, и вместе с тем он самый яростный укрыватель и самая большая помеха процессу. Где-то в глубине души он догадывается о происшествии, и вме-

сте с тем ничего о нем не знает; все, что он показывает о причинах, не причины; он не хочет знать того, что знает, и все-таки знает каким-то образом то, чего будто бы не знает. И—еще фантастичнее!—этот процесс начинается вовсе не с момента вступления в дело врача, он, собственно говоря, много лет уже длится без перерыва в душе невротика, не приходя ни к какому концу. И психоаналитическое вмешательство имеет своей задачей, в качестве последней инстанции, положить конец процессу; к такому завершению, к такому разрешению больной бессознательно толкает врача.

Но психоанализ не пытается сразу же, посредством какой-либо поспешной формулировки, вывести невротика, человека, заблудившегося в душевном своем лабиринте, из его конфликта. Наоборот, на первых порах он оттесняет пациента, заманивает его, ходами и обходами его собственных переживаний, назад, в обратном направлении, до того рокового пункта, где имело место первоначальное, чреватое опасностью отклонение от прямого пути. Ибо для того чтобы выправить изъян в ткани и наново присучить нить, ткач всякий раз должен устанавливать машину на то именно место, где нить порвалась. Точно так же и врач неизбежным образом (тут не может быть никаких поспешных интуиций, никакого ясновидения) должен, для того чтобы полностью восстановить непрерывность жизненной ткани, вновь и вновь возвращаться к тому месту, где произошел, в результате таинственного насилия, надлом или перелом. Уже Шопенгауэр, в смежной области науки, высказал предположение, что можно было бы рассчитывать на полное выздоровление при душевных расстройствах, если бы мы были в состоянии проникнуть до того пункта, в котором имело место решающее потрясение психики; чтобы понять причину увядания цветка, нужно проследить ее вплоть до корней, до бессознательного. А это путь дальний, обходный и запутанный, грозный ответственностью и опасностями; подобно тому как хирург становится во время операции все осторожнее и осмотрительнее по мере того как приближается к тонкой нервной ткани, так и психоанализ мучительно-медленно нащупывает себе, сквозь эту тончайшую из материй, пути от одного пласта переживаний к другому. Процесс психоанализа длится

в каждом отдельном случае не дни и не недели, а месяцы, иногда и годы, и требует от врача длительной душевной сосредоточенности, доселе даже приблизительно незнакомой медицине, устойчивого самообладания, с которым могут, пожалуй, сравниться только упражнения иезуитов в волевой закалке. Все происходит при этих сеансах психоанализа без всякой записи, без каких бы то ни было вспомогательных средств, единственно путем напряженного внимания, рассчитанного, однако, на длительный период времени. Пациент ложится на кушетку и притом так, что не может видеть сидящего позади него врача (с тем чтобы парализовать задержки стыдливости или сознания), и рассказывает. Но, в отличие от ошибочных представлений большинства, он не ведет рассказа в связной форме, не исповедуется; если подглядывать в замочную скважину, то зрелище психоанализа может показаться высоко-комичным, ибо в течение нескольких месяцев внешне как будто только то и происходит, что из двух человек один говорит, а другой прислушивается. Психоаналитик настоятельно внушает своему пациенту, чтобы он в этих своих высказываниях отрекся от какого бы то ни было обдумывания и не вмешивался в происходящий процесс в качестве поверенного, обвинителя или судьи,—чтобы он вообще ничего не желал, но поддавался, только без всякой мысли, всему, что придет ему непреднамеренно в голову (ибо приходит это не откуда-то свыше, а проступает из глубины, из бессознательного). Он не должен доискиваться того, что по его мнению относится к делу, ибо что означает, по существу, его душевное расстройство, как не то, что этот человек не знает, в чем его «дело», его болезнь? Если бы он знал это, он был бы психически нормален, не стал бы создавать для себя каких бы то ни было симптомов и ему незачем было бы обращаться к врачу. Психоанализ отвергает поэтому все заранее подготовленные сообщения, все писанное от руки и уговаривает только пациента излагать по памяти, в свободной форме как можно больше своих душевных переживаний. Невротик должен наговориться, выговорить себя самого, изъясняться монологами, вкривь и вкось, рассказывать всякую всячину, что бы ни пришло ему в голову, самое с виду незначительное, ибо как раз неожиданные, непреднаме-

ренные, случайные его высказывания важнее всего для врача. Только через посредство таких «мало относящихся к делу» подробностей врач может приблизиться к сути дела. Поэтому важнейшей обязанностью пациента является побольше рассказывать—правду или неправду, важное или неважное, театрально или искренне, но главное, раздобыть и преподнести как можно больше материала переживаний, то есть субстанцию биографическую и обрисовывающую душевный склад.

Теперь начинается, собственно, задача аналитика. Из груды постепенно подвезенного и сваленного в кучи износившегося жизненного материала, из многих и многих тысяч воспоминаний, замечаний и пересказанных сновидений врач должен, при помощи жесткого решета психологии, отделить пустой шлак и в процессе утомительной переплавки добыть чистый металл психологических выводов—психоаналитическую субстанцию из первичного сырья. Ни в коем случае не в праве он признавать полноценным сырой материал рассказа; он неизменно должен помнить, «что сообщения и высказывания больного являются лишь извращенной картиной искомого конфликта, как бы намеками, по которым приходится разгадывать, что за ними скрывается». Ибо для познания болезни важно не пережитое пациентом (это бремя давно уже свалилось с его души), но еще не изжитое, элементы чувства, пребывающие в нем непретворенными, подобно непереваренному куску в желудке, и, также как этот кусок, пробивающиеся и проталкивающиеся к выходу во вне, но всякий раз останавливаемые в своем продвижении судорогой какого-то противодействия. Этого противодействия и создаваемых им задержек должен доискиваться врач «с равномерным вниманием», в пределах отдельных проявлений психики пациента, с тем чтобы постепенно напасть на подозрение и от подозрения перейти к уверенности. Такое наблюдение, спокойное, деловитое, как бы извне осуществляемое, одновременно и облегчается и затрудняется для врача поведением пациента, особенно в начале лечения, благодаря той едва ли не неизбежной установке чувств со стороны больного, которую Фрейд именуется «перенесением». Невротик, прежде чем прийти к врачу, долгое время носит с собою избыток своего неиспользованного, неизжитого

чувства, не будучи в состоянии от него отделаться. Он, при помощи десятка симптомов, перекачивает его из стороны в сторону, он разыгрывает свой бессознательный конфликт, в самой причудливой игре, перед самим собою; но сразу же, как только он видит перед собою, в лице психоаналитика, внимательного, профессионального слушателя и соучастника в игре, швыряет он свое бремя, как мяч, в него; он пытается перенести свои неподдающиеся воплощению аффекты на врача. Будь то чувство любви или ненависти, он, во всяком случае, вступает в определенное «отношение» с ним, устанавливая какое-то напряженное взаимодействие чувств. Впервые то, что до сих пор бессмысленно обрывалось в мире пустоты и никогда не могло до конца высвободиться, проявляется здесь как на фотографической пластинке. Только с момента такого «перенесения» создается должная психоаналитическая интуиция; всякого больного, который на такое перенесение неспособен, следует рассматривать как неподходящего для психоанализа. Ибо для того чтобы распознать конфликт, врач должен созерцать его развитие в эмоциональной, жизненной форме; пациент и врач должны сообща пережить его.

Эта общность психоаналитической работы состоит в том, что больной создает или, вернее, воспроизводит свой конфликт, а врач толкует его смысл. Но при таком толковании смысла он ни в коем случае не должен (как можно было бы, с излишней поспешностью, предположить) рассчитывать на помощь больного; в области психики всегда имеют место разлад, двойственность чувств. Тот же самый пациент, который идет к психоаналитику, чтобы освободиться от своей болезни, зная только всего ее симптомы, вместе с тем бессознательно цепляется за нее, ибо эта его болезнь не постороннее для него тело, но нечто, им самим созданное, его продукция, деятельная и характерная частица его «я», которую он вовсе не желает отдать. И вот он крепко держится за болезнь, потому что помирится охотнее с ее тяжелыми симптомами, чем с истиною, которой он боится и которую врач хочет ему (собственно против его воли) объяснить. Так как он чувствует и аргументирует двойственно,—в одном случае исходя из сознания, а в другом из подсознания,—то он сразу и охотник и пре-

следуемая им дичь; лишь одна часть его существа помогает врачу, другая является его яростным противником, и в то время как одной рукою пациент протягивает врачу будто бы добровольное признание, другая его рука запутывает дело и накидывает покров на истинное его положение. Таким образом сознательный невротик ничем не может помочь своему целителю; он не в состоянии сказать ему «правду» потому, что незнание правды или нежелание ее знать и есть то самое, что вывело его из равновесия и привело к расстройству. И даже в моменты искренней готовности к прямоте он лжет относительно себя. За каждой правдой скрывается другая, более глубокая правда, и если человек признается, то часто только с тем, чтобы за этим признанием утаить другое, еще более сокровенное. Порывы к откровенности и чувство стыда ведут здесь друг с другом и друг против друга таинственную игру: рассказчик временами выдает себя своими словами, а временами за этими словами прячется; в разгаре добровольной откровенности воля к признанию неожиданно подавляется. В каждом человеке, чуть только кто-либо захочет приблизиться к его сокровеннейшей тайне, что-то судорожно напрягается; всякий психоанализ в действительности борьба!

Но гений Фрейда всякий раз умеет обратить даже самого заклятого врага в незаменимого союзника. Как раз это сопротивление и выдает нередко человека, вырывая у него признание. Ибо для всякого обладающего тонким слухом наблюдателя человек выдает себя в беседе двояким образом: с одной стороны, тем, что он говорит, и, с другой стороны, тем, о чем он умалчивает; и фрейдовское искусство тайного розыска чует близость решающей тайны там, где хочет и не может заговорить сила противодействия; задержка предательски становится союзником, она дает указания относительно правильного пути. Там, где больной говорит слишком громко или слишком тихо, где он ускоряет темп речи или вдруг останавливается, там хочет заговорить само бессознательное. И эти многочисленные мелкие сопротивления, эти еле-заметные колебания, паузы, слишком громкая или слишком тихая речь, которые наступают всякий раз при приближении определенного комплекса, указывают, наконец, явственно, наряду с задержкою,

на задерживающий фактор и объект задержки, короче говоря, на предмет розыска—затаенный и замаскированный конфликт.

Ибо в процессе психоанализа дело неизменно идет о бесконечно-малых догадках, об осколках переживаний, из которых мозаически составляется затем картина внутренней жизни. Нет ничего наивнее столь вкоренившихся в гостиных и в кафе представлений, будто бы человек опускает в мозги психоаналитика, как в автомат, свои сны и свои признания, повертывает рукоятку механизма при помощи двух-трех вопросов,—и сразу же выпадает оттуда диагност. На самом деле всякий психоаналитический курс представляет собой неизмеримо-сложный, отнюдь не механический и даже высокохудожественный процесс, более всего сходный, пожалуй, с реставрированием, в прежнем ее стиле, старой, загрязненной картины, наново размалыванной, поверх оригинала, чьей-нибудь неуклюжей рукою, с изумительным терпением, слой за слоем, по миллиметрам, приходится обновлять ее и облекать новой жизнью, оперируя над тонким и драгоценным материалом, пока, наконец, не проступит, после снятия размалевки, первоначальный образ в естественной своей расцветке. Внешне поглощаемый исключительно единичными подробностями, труд психоаналитического созидания неизменно имеет в виду целое, восстановление личности во всей ее полноте; поэтому в настоящем анализе отнюдь не следует выхватывать какой-либо один комплекс; всякий раз приходится восстанавливать, начиная с фундамента, всю душевную жизнь человека. Таким образом, терпение—это качество, которого требует психоанализ, деятельное терпение, при непрестанной и все же не бросающейся в глаза наблюдательности,—ибо врач, не давая того заметить, должен бесстрастно распределять свое непредвзятое внимание между тем, что пациент рассказывает и что он не рассказывает, и сверх того не упускать из виду оттенков рассказа. Он должен сопоставлять данные каждого сеанса со всеми предшествующими, чтобы подметить, какие эпизоды больной повторяет, в силу внутреннего противодействия, подозрительно-часто, в каких пунктах его рассказ вступает в противоречие с самим собою, и при этом он не в праве обнаружить нарочитое свое любопытство. Ибо

как только пациент замечает, что за ним следят, он теряет свою непосредственность—ту самую непосредственность, которая одна ведет к мгновенным озарениям бессознательного и дает возможность врачу созерцать контуры незнакомого пейзажа чужой психики. Но и это свое собственное толкование он не должен навязывать затем пациенту, ибо смысл психоанализа как раз в том, чтобы самосознание пришло к больному изнутри, чтобы переживание было изжито. Излечение в идеальной форме наступает лишь тогда, когда пациент признает, наконец, свои невротические симптомы излишними и станет претворять энергию своего чувства не в ложные представления и образы, а в жизнь и в жизненный труд. Только тогда анализ отпускает больного.

Но часто ли—опасный вопрос!—удается психоанализу добиться столь совершенного результата? Боюсь, что не слишком часто. Ибо искусство выпрашивать и выслушивать требует исключительной тонкости душевного слуха, высокой проникновенности чувства, одновременного наличия стольких драгоценных духовных качеств, что только человек, судьбою к этому предназначенный, истинный психолог по призванию может действовать здесь в качестве посредника. Christian Science и метод Куэ могут себе позволить готовить простых механиков по этим специальностям. Там достаточно заучить наизусть несколько универсальных формул: «Никаких болезней нет», «Я чувствую себя с каждым днем лучше»; такими грубо сработанными понятиями даже и неловкие руки могут без особого риска молотить по слабым человеческим душам, до тех пор, пока пессимистическая мысль о болезни не будет выколочена начисто. Но психоаналитический метод возлагает на сознающего свою ответственность врача долг разрабатывать для себя, в каждом индивидуальном случае, особую систему, а такого рода творческая способность к приспособлению не дается одним усердием и здравым смыслом. Она требует прирожденного и искушенного знатока душ человеческих, способного вдумываться в чужие судьбы и чувствовать их, в соединении с человеческим тактом терпеливой, незаметной наблюдательностью; но сверх всего этого от творчески-одаренного психоаналитика должна бы исходить и еще некая магическая сила, поток симпатии и уверен-

ности, которому могла бы доверчиво и со страстной готовностью подчиниться чужая душа,—качество, не поддающееся выучке и сочетающееся в лице одного человека лишь по особой милости неба. В крайней малочисленности таких истинных знатоков души человеческой склонен я видеть причину того, что возможности применения психоанализа ограничены и что в будущем он может стать призванием единицы, но не рядовой профессией и карьерой,—что слишком часто встречается, к сожалению, в наши дни. Но в данном случае Фрейд смотрит странно-нисходительно, и когда он заявляет, что успешная работа при помощи его метода, хотя и требует такта и опыта, но «легко поддается изучению», то позволительно поставить здесь жирный и почти яростный вопросительный знак. Ибо уже выражение «работа» кажется мне неудачным для процесса, требующего напряжения высших духовных сил в человеке, а указание на всеобщую доступность явно, по моему, опасно. Ибо самое усердное занятие психотехникой столь же мало способно создать истинного психолога, как знание стихосложения—поэта; а между тем только истинному психологу, ему одному, прирожденному, владеющему даром прочувствования провидцу душ человеческих, может быть разрешен доступ к самому тонкому, самому хрупкому и чувствительному из всех наших органов. Нельзя без ужаса подумать о том, какую опасность может представить в неуклюжих руках своего рода инквизиторский метод, задуманный в высшей степени тонко и с сознанием ответственности таким творческим умом как Фрейд. Ничто, вероятно, так не повредило репутации психоанализа, как то обстоятельство, что он не ограничился узким, избранным кругом лиц, а ввел в состав школьной науки то, что не поддается изучению. Ибо в процессе поспешного и непродуманного перехода из рук в руки многие его понятия огрубели и отнюдь не стали чище; то, что слывет в наши дни в Старом и тем более в Новом Свете за психоаналитический метод, в профессиональном или дилетантском его применении, часто имеет с первоначальной практикой Зигмунда Фрейда, взявшего установку на гений и выдержку, лишь печальное сходство пародии. Как раз те, кто хотят судить независимо, должны признать, что только в результате упомянутых школьных анализов.

нет в настоящее время никакой возможности проверить, что собственно даст психоанализ в смысле терапии и будет ли он когда-либо в состоянии, в силу захвата его сомнительными дилетантами, удержать за собою абсолютное значение клинически-точного метода; решение принадлежит здесь не нам, а будущему.

Одно только ясно: психоаналитическая техника Фрейда далеко еще не является последним и решающим словом в науке психотерапии. Но заслуга ее на вечные времена в том, что она составила первую страницу этой слишком долго пребывавшей за семью печатями книги, явилась первою методологическою попыткою постигнуть индивидуум и излечить его на основе материала его личности. С гениальным инстинктом один, отдельный человек осознал пустоту в средоточии современной врачебной науки; непостижимый факт: в то время как установлен тщательный уход за такими деталями человеческого организма, как зубы, кожа, волосы,—душевные страдания не нашли отзвука у науки. Педагоги помогали человеку до наступления зрелости, а потом равнодушно оставляли его одного. И в полном пренебрежении пребывали те, кто еще в школе не справились с собою, не выполнили урока и беспомощно влачили за собою свои неизбытые конфликты. Для этих ушедших в себя и отставших, для невротиков, психастеников, для узников своего внутреннего мира целое поколение не нашло пристанища, не нашло участия; больная душа беспомощно блуждала по улицам, в тщетных поисках помощи. Такую инстанцию создал Фрейд. Он указал новой, современной нам науке место, где в античные времена стояли психагог, врачеватель душ и наставник в премудрости, а во времена благочестия—жрец. Науке предстоит еще отвоевать себе границы, но задача поставлена во всем ее величии, дверь раскрыта. А там, где дух человеческий чует новые миры и неизведанные еще глубины, он не успокаивается, но в мощном порыве расправляет свои незнающие усталы крылья.

ОБЛАСТЬ ПОЛА

И неестественное — тоже природа. Кто не видит ее во всем, тот нигде не видит ее как должно.

L'ete

То, что Зигмунд Фрейд стал основателем сексуальной науки, без которой отныне уж не обойтись, произошло, собственно, без всякого с его стороны умысла. Но таинственная закономерность его жизненного пути в том, повидимому, что путь этот всякий раз ведет его дальше, за пределы искомого, и открывает ему области, куда он по собственной воле никогда бы не отважился вступить. В тридцать лет он, вероятно, улыбнулся бы недоверчиво, если бы кто-нибудь предсказал, что ему, неврологу, предстоит поднять толкование снов и биологическую трактовку половой жизни до высоты науки, ибо ничто не предугадывает ни в личных его, ни в научных склонностях ни малейшего интереса к столь отдаленным и обходным дисциплинам. То, что Фрейд занялся проблемой пола, произошло не потому, что он к этому стремился; эта проблема сама собою стала на пути его научного мышления.

Она стала на его пути, к собственному его изумлению, совершенно неожиданно, возникнув из тех глубин, в которые заглянул он с Брейером. Они, исходя из истерии, сообща установили новое положение, что неврозы и большая часть всякого рода душевных расстройств возникают тогда, когда какое-либо влечение встречает препятствие на пути к естественному своему исходу и, не получив удовлетворения, оттесняется вглубь, в подсознание. Какого же рода те влечения, которые главным образом подавляет культурный человек, которые он скрывает от мира и даже от самого себя, в качестве наиболее

интимных и для самого себя тягостных? Проходит немного времени, и Фрейд дает сам себе ответ, от которого не уйти. Первый случай психоаналитического лечения невроза указывает на подавление эротического аффекта. Второй и третий точно также. И вскоре Фрейд убеждается: всегда или почти всегда невроз обуславливается сексуальным влечением, которое, не будучи в состоянии овладеть своим объектом, претворяется в задержки и давит на психику. Первым ощущением Фрейда при этом непреднамеренном открытии было, вероятно, изумление по поводу того, что столь очевидный факт ускользнул от внимания всех его предшественников. Неужели, действительно, никому не бросилась в глаза эта прямая обусловленность? Нет, об этом нет ни слова в учебниках. Но потом Фрейд вспоминает вдруг о некоторых намеках и разговорах своих знаменитых учителей. Когда Хробак передал ему для лечения одну истеричку, он тут же сообщил ему под секретом, что эта женщина, несмотря на восемнадцатилетнее супружество, осталась девственницей, потому что муж ее был импотентен; при этом он пошутил довольно грубо, пояснив лично от себя, какос, по его мнению, в высшей степени физиологическое и удобное богу вмешательство могло бы лучше всего ее исцелить. Точно также и его учитель Шарко в Париже в подобных же обстоятельствах высказался в разговоре относительно причины одного нервного расстройства: «*Mais c'est toujours la chose sexuelle, toujours!*»¹ Фрейд поражен. Значит, они это знали, его учителя и, вероятно, бесчисленное количество выдающихся врачей и до них! Но, — возмущается в нем его наивная добросовестность, — если они знали, почему держали они это в секрете и высказывались только в разговоре, никогда не заявляя об этом публично?

Вскоре молодой врач на себе узнает, почему эти искушенные мужи утаивали от мира свои знания. Ибо сама только сообщает Фрейд, спокойно и деловито, результаты своих наблюдений в формуле: «Неврозы возникают там, где в силу внешних или внутренних препятствий нет реального удовлетворения эротическим потребностям», как со всех сторон встречает он яростный

¹ «Всегда, всегда что-нибудь сексуальное!»

отпор: Наука, в то время еще непреклонная хоругвеносица морали, не согласна официально признать такого рода сексуальную этиологию; даже его друг, Брейер, который сам содействовал ему в обнаружении тайны, поспешно отходит от психоанализа, как только начинает понимать, что помог ему открыть своего рода ящик Пандоры. Проходит немного времени, и Фрейду приходится удостовериться, что в 1900 году такие формулировки затрагивают пункт, где душа, равно как и тело, отличается наибольшей чувствительностью и щекотливостью; он убеждается, что тщеславие современной ему цивилизации охотнее помирится с любым уроном, чем услышит лишний раз, что инстинкт полового влечения все еще распоряжается каждым в отдельности и является решающим моментом в создании высших культурных ценностей. «Общество ни в чем не усматривает такой угрозы культуре, как в высвобождении полового инстинкта и в согласовании его с его прямыми, первоначальными целями. Общество не любит, чтобы ему напоминали об этом щекотливом обстоятельстве, лежащем в его основе. Оно ничуть не заинтересовано в том, чтобы мощь полового инстинкта была признана и чтобы разъяснено было значение половой жизни для каждого в отдельности. Наоборот, оно, в целях педагогических, избрало путь отвлечения внимания от всей этой области: Поэтому научные результаты психоанализа в целом ему не по вкусу, и охотнее всего оно заклеямило бы их, как эстетически-отталкивающие, морально-неприемлемые и опасные для человечества».

Таким образом, все современное Фрейду миросозерцание становится ему поперек дороги, с первых же его шагов. И к чести его, как человека добросовестного, нужно сказать, что он не только с решимостью принял вызов, но даже затруднил для себя борьбу благодаря врожденной своей прямолинейности. Ибо Фрейд мог бы высказать все, что он сказал, или почти все, не вызвав особого раздражения, если бы он нашел в себе готовность формулировать свою генеологию половой жизни более осторожным образом, путем обходов, никого не задевая. Ему следовало только накинуть словесный покров на свои убеждения, приукрасить их слегка поэтически, и они контрабандою проникли бы в общество, никому особенно

не бросаясь в глаза. Достаточно было бы, пожалуй, назвать то неистовое фаллическое влечение, чью мощь и силу он хотел показать во всей наготу, не *libido*, а более изысканно — эросом или любовью. Ибо утверждение, что душевная наша жизнь находится под знаком эроса, звучало бы во всяком случае по-платоновски. Но Фрейд, человек без лоска и противник всякой половинчатости, выбирает слова жесткие, угловатые, прямо бьющие в цель, он не упускает случая быть ясным; он так и говорит: *libido*, похоть, сексуальность, половое влечение, вместо «эрос» и «любовь». Фрейд слишком честен, чтобы, когда он пишет, выражаться описательно. «*Il appelle un chat un chat*»,¹ он пользуется как терминами, в области пола и всяческих от него отклонений, обычными немецкими наименованиями с тем же бесстрашием, с каким географ перечисляет города и горы или ботаник — растения и травы. С клиническим хладнокровием подвергает он исследованию все проявления сексуальности, не исключая и тех, которые заклеены в качестве пороков и извращений, равнодушный к выпадам возмущенной морали и к воплям перепуганной стыдливости; заткнув себе, в известном смысле, уши, он спокойно и терпеливо внедряется в неожиданно открывшуюся проблему и приступает к систематическому, первому за все время психогео-гическому обследованию мира человеческих инстинктов.

Ибо в человеческом инстинкте Фрейд, этот сознательно-посюсторонний и глубоко-антирелигиозный мыслитель, видит самый последний, огненно-текущий слой внутреннего нашего подземного мира. Не вечности хочет человек, не жизни в духе жаждет, как высшего блага, душа; она жаждет слепо - инстинктивно. Беспредельное вожде-ление — это начало и основа всякой психической жизни. Так же, как тело к пище, стремится душа к наслаждению; *libido*, этот извечный позыв к сладострастию, этот неутолимый душевный голод, гонит ее в мир. Но — в этом, собственно, основа фрейдовского открытия в сексуальной науке — *libido* не имеет по началу никакого определенного содержания, ее смысл только в том, чтобы исходить влечением и влечением растекаться. И так как, по твор-

¹ «Он называет кошку кошкой».

ческой установке Фрейда, душевная энергия всегда допускает перенесение, то libido может быть обращена то на один, то на другой объект. Таким образом не всегда вождение возникает, в игре взаимного влечения, между мужчиною и женщиною; оно стремится только к удовлетворению, оно — как напряжение лука, который не знает еще, куда полетит стрела, как сила устремления потока, которому неизвестно то устье, куда оно возьется. Оно гонит человека к удовлетворению, не зная, в чем оно выразится. Оно может найти исход и выход в обыкновенном, нормальном половом акте и может точно также духовно претвориться в сублимированный акт художественного или религиозного творчества. Оно может найти себе неверный исход и перейти в отклонение, «замещая», в своем порыве, самые неожиданные объекты вне сексуальной сферы, и полностью вывести половой по началу инстинкт из области плоти, путем бесчисленных промежуточных переключений. От животной похоти до тончайших проявлений человеческого духа, способно оно претворяться во все формы, не обладая само по себе никакою формою, не будучи осязаемо и в то же время неотступно участвуя в игре. Но неизменно и в низших своих проявлениях и в высших достижениях оно воплощает единую и изначальную волю человека к сладострастию.

После такой переоценки со стороны Фрейда установка в области половой проблемы разом изменилась. Так как прежняя психология, не подозревавшая о способности душевной энергии подвергаться превращениям, грубо отождествляла все половое с функциями половых органов, то в глазах науки сексуальность являлась развитием темы о функциях нижней части тела и представлялась поэтому делом щекотливым и нечистоплотным. Отделяя понятие сексуальности от физиологической половой деятельности, Фрейд вместе с тем расширяет это понятие и опровергает ложное о нем представление, как о «низшем» психо-физическом акте; исполненные предчувствия слова Ницше «Степень и характер сексуальности человека отражаются во всем его существе, вплоть до вершин его духа» подтверждаются Фрейдом в качестве биологической истины. На бесчисленных единичных примерах он показывает, как эта мощно-напрягающая человека сила, путями таинствен-

ного проникновения вдале, находит себе, на протяжении десятилетий, разряд в совершенно неожиданных проявлениях его душевной жизни, как сказывается вновь и вновь особый склад его в бесчисленных превращениях и искажениях в самых удивительных формах вождения и подменяющих его действиях. Таким образом, во всех случаях, где имеются налицо бросающаяся в глаза особенность душевного склада, угнетенность, невроз, навязчивые действия, врач, в силу сказанного выше, может по большей части уверенно судить о наличии особого склада сексуальной жизни или о ее отклонении от нормы; в дальнейшем, в соответствии с методом глубинной психологии, его обязанностью является довести больного до той первоначальной точки его внутренней жизни, где в силу какого-либо переживания последовало отклонение от нормальной линии развития его инстинкта. Этот новый диагностический прием опять-таки приводит Фрейда к неожиданному открытию. Уже данные первых произведенных им психоанализов сделали для него ясным, что сексуальные переживания невротика, обуславливающие его расстройство, лежат где-то далеко позади, и наиболее естественным представлялось искать их в ранние годы индивидуума, в ту пору, когда формируется душа; ибо единственное, что отпечатывается, к моменту созревания личности, на мягкой и потому отчетливо-воспроизводящей пластинке возникающего сознания, это, собственно, то, что предопределяет дальнейшую судьбу человека и чего нельзя уже стереть: «Пусть никто не думает, что может преодолеть первые впечатления своей юности» (Гете). Поэтому в каждом отдельном случае Фрейд неизменно идет ощупью в обратном направлении, вплоть до момента половой зрелости, — для него на первых порах нет еще вопроса о годах более ранних; ибо каким образом могут возникнуть впечатления пола до того, как установилась половая способность? В то время ему кажется полностью бессмысленной самая мысль — пытаться проследить жизнь полового инстинкта за пределами этой зоны, в раннем детстве, ничего не подозревающим, в блаженном неведении, о томительных, порывающихся во вне соках. В своих первых исследованиях Фрейд остановился, таким образом, на моменте возмужания.

Но вскоре Фрейду приходится, в результате некоторых удивительных признаний, убедиться, что у многих его

больных возникают в процессе психоанализа неоспоримо-отчетливые воспоминания о более ранних, как бы доисторических сексуальных переживаниях. Вполне ясные высказывания его пациентов внушили ему подозрение, что и в периоде, предшествующем возмужалости, то есть в детстве, должен уже быть налицо половой инстинкт или определенные о нем представления. Подозрение, по мере дальнейших изысканий, становится все более настойчивым; Фрейд вспоминает, что могут порассказать бонны и школьные учителя о такого рода ранних проявлениях полового любопытства, и вдруг его собственное открытие относительно различия между сознательной и бессознательной душевной жизнью разъясняет ему положение. Фрейд убеждается, что половое сознание не проникает неожиданно в организм в период возмужания — откуда было бы ему взяться? — но что половой инстинкт — как давно уже выразил это наш язык в тысячу раз психологичнее, чем все психологи — лишь «пробуждается» в наполовину созревшем человеке, и что он давно уже содержался в детском организме в состоянии дремоты (то есть в скрытом состоянии). Подобно тому как способность ходить заключена уже потенциально в ногах ребенка, прежде чем он научится ходить, и призыв к речи — прежде чем он научится говорить, имеется налицо у ребенка и сексуальность, разумеется, без всякой мысли о ее действительном предназначении. Ребенок догадывается — решающая формула! — о своей сексуальности. Он только не понимает ее.

Но вот — я только высказываю предположение, а не говорю уверенно — это открытие должно было, кажется мне, испугать в первый миг самого Фрейда. Ибо оно рушит, почти кощунственным образом, все обычные представления. Если требовалась большая смелость, для того чтобы подчеркнуть психическое значение сексуальности в жизни взрослого и даже, как утверждают другие, переоценить это значение, то каким вызовом общественной морали является эта революционная теория: искать следов полового чувства в ребенке, с которым человечество связывает представление об абсолютной чистоте, ангелоподобности и отсутствии всяких страстей! Как, неужели и этому нежному, улыбчивому, цветущему существу знакомо

уже вождение, хотя бы и бессознательно? Эта мысль кажется по началу нелепой, бессмысленной, преступной, почти нелогичной, ибо, раз организм ребенка не способен к продолжению рода, то должна оказаться верною формула: «Если вообще у ребенка есть сексуальная жизнь, то она может быть только извращенной». Произнести вслух такие слова в 1900 году было, в области науки, равносильно самоубийству. Но Фрейд их произносит. Там, где этот непреклонный ум чувствует твердую почву, он неудержимо устремляется, со свойственной ему мощью, вглубь, вплоть до последних пластов, ввинчиваясь последовательно, шаг за шагом. И к своему собственному изумлению он открывает, что именно в пору наибольшей бессознательности, в грудном возрасте, наиболее явственно обнаруживает себя интересующая его первичная и универсальная форма вождения. Как раз потому, что на этой ступени человеческой жизни ни единый отсвет морального сознания не проникает еще в чуждую задержек область инстинктивных влечений, это крошечное существо, грудной младенец, являет собою наиболее выразительную форму *libido*: всасывать в себя наслаждение, оталкивать от себя горечь. Отовсюду впитывает в себя этот крохотный зверек в человеческом образе усладу: из собственного своего тела и из окружающего мира, из материнской груди, из пальцев и пяток, из дерева и материи, из плоти и одежды: в блаженном, чуждом всяких задержек опьянении, он стремится ввести в свое маленькое, мягкое тельце все, что доставляет ему удовольствие. В этой первичной форме вождения ребенок, существо со смутно намечающимся сознанием, не различает еще понятий «твое» и «мое», которые внушат ему впоследствии, он не чувствует еще тех преград как физических, так и моральных, которые воздвигнет для него в дальнейшем система воспитания: существо анархическое, вселенское, пытающееся, в неудержимой похоти, впитать в свое «я» весь мир, он подносит все, что может захватить своими крохотными пальцами, к единственно ему знакомому источнику услады, к своему рту (почему Фрейд и именует этот период «оральным»). Безмятежно играет он со своими членами, весь уйдя в бормочущие, присасывающие вождения и яростно протестуя против всего, что мешает ему в этом блаженно-

неистовом посасывании. В грудном младенце, в этом еще не «я», в этом смутном «оно» — и только в нем одном, — универсальная человеческая libido изживает себя вне всякой цели и вне объекта. Здесь бессознательное «я» жадно пьет еще уладу из всех сосудов вселенной.

Но эта первоначальная авторотическая стадия длится непродолжительное время. Вскоре ребенок начинает догадываться, что его тело имеет границы; в крохотном мозгу мелькает искра сознания, возникает первое представление о различии между внешним и внутренним. Впервые чувствует ребенок сопротивление мира и на опыте узнает, что это окружающее — сила, с которой приходится считаться. Боль от наказания знакомит его с непостижимым для него законом, в силу коего не дозволено черпать наслаждение из всех без различия источников; ему запрещают оголять свое тело, трогать свои испражнения и забавляться ими; немилосердным образом принуждают его отказаться от единства чувства, чуждого всякой морали, и рассматривать одни вещи как дозволенные, другие как недозволенные. Культурная среда начинает вселять в маленького дикаря социальную эстетическую совесть, некий контролирующий аппарат, при помощи которого он может осознавать свои поступки, как хорошие и дурные. И с возникновением этого сознания юный Адам оказывается изгнанным из эдема безответственности.

И одновременно возникает как бы обратный процесс в развитии инстинкта сладострастия; этот инстинкт отходит в подрастающем ребенке на задний план, уступая место новому инстинкту самоосознания. Из некоего «оно», инстинктивно-бессознательного, образуется «я», и открытие этого «я» связано с таким напряжением мозга и такой его работой, что первоначальное космическое вожделение оказывается в забросе и переходит в скрытое состояние. Но и этот процесс самонаблюдения не проходит полностью бесследно и нередко оставляет у взрослого ряд воспоминаний; у некоторых он сохраняется в качестве нарцисстической тенденции (выражение Фрейда), то есть опасной склонности к эгоцентризму, занятию самим собою, без всякого чувства связи с миром. Вожделение, являющееся в ребенке свою изначальную, космическую форму, становится в эти промежуточные годы незримым, оно замы-

кается в некоей оболочке. Автоэротическую, панаэротическую форму вожделения ребенка и половую эротику возмужания отделяет период зимней спячки чувств, сумеречное состояние, когда силы и соки готовятся, накапливаясь, к целесообразному разряжению.

Когда затем в этот второй период, опять-таки сексуально окрашенный, период возмужания, дремлющий инстинкт постепенно просыпается, libido вновь обращается к миру и ищет вновь «замещения», объекта, на который она может перенести напряжение своего чувства, — в этот решающий миг биологическое веление природы недвусмысленно указывает новичку естественный выход — продолжение рода. Совершенно определенные изменения физической структуры в период полового созревания дают знать юноше и девушке-подростку, что природа их для чего-то готовит. И эти указания относятся, с полной несомненностью, к половой сфере. Ими как бы определяется тот путь, которым надлежит следовать человеку, чтобы выполнить тайную и изначальную волю природы — продолжение рода. Уже не играючи, как в пору младенчества, должна излиться сама в в себе libido, но ей предстоит слепо подчиниться мировому замыслу, вновь и вновь исполняющемуся в каждом зачинающем и в каждом зачатом человеке. Если индивидуум постигнет этот указующий перст природы и покорится ему, если мужчина, в творческом соитии, прилепится к женщине, как и женщина к мужчине, если удалось ему позабыть о всех других возможностях, лежавших когда-то на пути к удовлетворению его космического вожделения, то половое развитие этого человеческого существа прошло правильным и закономерным путем, и его индивидуальный инстинкт изживает себя в нормальном, естественном направлении.

Этот «двукратный ритм» определяет собою развитие половой жизни всего человеческого рода, и у сотен миллионов людей половое влечение подчиняется, без всяких задержек, указанной закономерной схеме: вожделение и самовожделение в детстве, стремление к зачатию в состоянии возмужалости. Каждый нормальный человек служит, совершенно естественным образом, замыслу природы, использующей его, в метафизических своих конечных целях, для продолжения рода. Но в некоторых, сравнительно ред-

ких случаях, и однако как раз в тех, которые интересуют врача по нервным болезням, обнаруживается роковое отклонение от этого прямого и нормального пути. Некоторая часть людей не в состоянии, в силу причин, которые в каждом случае подлежат индивидуальному установлению, решиться безостановочно изжить свое влечение в предуказанной природою форме; у них половая энергия непрерывно ищет, для полноты удовлетворения, какого-то иного пути вместо нормального. У этих утративших верное направление невротиков, в результате ложной установки в период какого-либо переживания, половое влечение стало не на тот путь и не может с этого пути сдвинуться. «Первертированные», обладающие иною установкою, не являются, в понимании Фрейда, людьми, отягченными наследственностью или болезнями, или тем более преступниками в душе; они страдают лишь, в большинстве случаев, тем, что хранят, роковым образом, прочное воспоминание о какой-либо другой форме удовлетворения из раннего, дополового периода, о каком-либо эротическом переживании из времен своего начального развития, и в дальнейшем, в силу трагической повторности влечения, ищут исхода единственно в этом направлении. И вот, уже в зрелом возрасте, эти несчастные оказываются вынужденными жить с инфантильными по существу формами вождения и, в результате навязчивого воспоминания, не находят никакого удовольствия в нормальной для их возраста половой деятельности, признанной обществом абсолютно-естественной; вновь и вновь хотят они испытать прежнее (большой частью давно уже перешедшее в подсознательную сферу) переживание и ищут для этого воспоминания реального замещения. Жан Жак Руссо, в своей беспощадной исповеди, давно уже дал в литературе классический образец такого извращения, явившегося следствием одного детского переживания. Его строгая и втайне обожаемая учительница часто и жестоко наказывала его розгами, но к собственному своему изумлению мальчик испытывал во время этого наказания, несмотря на боль, определенное наслаждение. В промежуточной, сумеречной стадии своего развития (столь великолепно очерченной Фрейдом) он совершенно забывает об этом эпизоде, но его тело, его душа, его бессознательная сфера не в состоянии забыть

этого переживания. И в дальнейшем, когда, достигнув зрелости, он ищет удовлетворения в нормальном общении с женщинами, он всякий раз не в силах осуществить его физически. Для того чтобы он мог соединиться с женщиной, необходимо, чтобы она воссоздала знаменитый эпизод с розгами; и вот Жан Жаку Руссо приходится в продолжение всей жизни платить за раннее, необычное и роковое для него пробуждение полового чувства неизлечимым мазохизмом, который, вопреки его внутренним протестам, толкает его все к той же, единственно ему доступной форме удовлетворения. Таким образом, первертированные (под этим словом Фрейд понимает всех тех, которые ищут удовлетворения полового чувства иными путями, чем путь, служащий продолжению рода)—это люди не больные и не анархически настроенные, переступающие, сознательно и дерзко, законы общества, но против своей воли попавшие в плен и пригвожденные к переживанию детства, пребывающие в состоянии инфантильности; а стремление во что бы то ни стало освободиться от своей ненормальной установки делает их невротиками и психотиками. Парализовать эту навязчивую установку не могут, поэтому, ни юстиция, своими угрозами создающая еще большую запутанность в психике больного, ни мораль, взывающая к «рассудку», этого может добиться только проникнутый участием врач, тем, что, высвободив это переживание, сделает его доступным пониманию больного. Ибо только путем осознания внутреннего конфликта — аксиома фрейдовской психологии — можно его изжить; чтобы излечиться, нужно постигнуть прежде всего смысл болезни.

Итак, по Фрейду, всякое расстройство психики основано на каком-либо, большей частью эротически обусловленном, личном переживании, и даже то, что мы называем предрасположением и наследственностью, является всего только зарубцевавшимся в нервной системе переживанием предшествующих поколений; поэтому переживание определяет для психоанализа форму всяческой душевной настроенности, и он стремится понять каждого человека в отдельности, исходя из его личных переживаний. Для Фрейда существует только индивидуальная психология и индивидуальная патология; в пределах человеческой психики нельзя

рассматривать что бы то ни было с точки зрения общего правила или схемы; в каждом отдельном случае должна быть вскрыта причинность, во всем ее своеобразии. Этим не исключается, конечно, тот факт, что большинство ранних сексуальных переживаний отдельных лиц, не взирая на их личную окраску, обнаруживает известную типическую форму подобию; в соответствии с тем, что бесчисленное количество людей нередко видит сны одного и того же порядка, например полет в воздухе, экзамены, погоню за собою, Фрейд полагает, что некоторые типические установки чувственного восприятия должны быть признаны, в пору ранней сексуальной жизни, почти неизбежными; он посвятил немало энергии и страсти раскрытию и популяризации этих типических форм, «комплексов». Наибольшую известность среди них — а также и наибольшие нападki — стяжал так называемый комплекс Эдипа, который сам Фрейд признает даже одним из основных устоев своей психоаналитики (в то время как с моей точки зрения это не более чем временная опора, которую без всякого риска можно убрать по окончании постройки). За истекшее время этот комплекс стяжал себе столь шумную популярность, что едва ли есть надобность излагать его содержание сколько-нибудь обстоятельно. Фрейд исходит из того, что роковая установка чувств, трагически воплотившаяся, согласно греческому мифу, в Эдипе, — сын убивает отца и овладевает матерью, — что эта варварская на наш взгляд ситуация имеется и посейчас налицо в каждой детской душе, в качестве подсознательного желания; ибо — предпосылка Фрейда, наиболее часто оспариваемая! — первая эротическая установка ребенка обращена всегда на мать, а первая агрессивная — на отца. Фрейд полагает, что в психике каждого ребенка можно проследить наличие этого параллелограмма сил, слагающегося из любви к матери и ненависти к отцу и представляющего собою первую наиболее естественную и неизбежную группировку детских чувств; бок-о-бок с ним он располагает ряд других подсознательных чувств, как боязнь кастрации, влечение к инцесту — чувств, которые также нашли себе художественное воплощение в древних мифах (ибо, согласно культурно-биологической концепции Фрейда, мифы и легенды всех народов являются не чем иным, как «отреагированными» грезами

ранней поры их существования). Таким образом, все, что давно уже отвергнуто человечеством как чуждое культуре — жажда убийства, кровосмешительство и насилие, все эти темные заблуждения кочевой эпохи — все это вспыхивает еще раз в детстве, как бы на первобытной ступени человеческого существования; каждому отдельному индивидууму суждено символически воспроизвести, в процессе своего нравственного развития, всю историю человеческой культуры. Все мы влачим за собою, в своей крови, незримо и бессознательно, древние варварские инстинкты, и никакая культура до конца не может оградить человека от неожиданной вспышки этих, ему самому чуждых инстинктов и вожделений; в бессознательной нашей сфере существуют тайные течения, влекущие нас обратно, в первобытные эпохи, вне оседлости и нравственности. И как бы мы ни напрягали силы, чтобы оградить себя, в сознательных своих поступках, от мира инстинктов, мы, в лучшем случае, можем только направить эти инстинкты на путь создания духовных и моральных ценностей, но не в состоянии полностью от них освободиться.

Противники Фрейда, имея в виду именно это воззрение, якобы «враждебное цивилизации», признающее в известном смысле тщетными тысячелетние усилия человечества побороть до конца свои инстинкты и постоянно подчеркивающее непобедимость *libido*, назвали все его учение о поле пансексуализмом. Он переоценил будто бы, в качестве психолога, значение полового инстинкта тем, что признал за ним такое решающее влияние на душевную нашу жизнь; а в качестве врача он чрезмерно увлекся, пытался свести всякое психическое расстройство единственно к этому пункту и, исходя из него, лечить это расстройство. В этом упреке, мне кажется, доля истины перемешана, крайне запутывающим образом, с неправдоподобием. Ибо на самом деле Фрейд никогда не выдвигал монистически вожделения, как единственной, движущей мир душевной силы. Ему хорошо известно, что всякое напряжение и всякое движение — а что же иное представляет собой жизнь? — возникают единственно из борьбы, из сопротивления. Поэтому он с самого начала теоретически противопоставил *libido*, центробежному, вожделеющему за пределы «я», ищущему соития влечению другое влечение,

которое он именует сперва инстинктом «я», затем агрессивным инстинктом и наконец инстинктом смерти — то влечение, которое вместо зачатия стремится к уничтожению, вместо творчества — к разрушению, вместо вселенной — к пустоте. Но Фрейд не удалось — и только в этом смысле его противники не до конца неправы — отобразить это противовлечение с такой убедительной и художественной силой, как влечение сексуальное; царство так называемых инстинктов «я» осталось, в его философии мира, достаточно туманным и сумеречным; там, где Фрейд видит не до конца ясно, а следовательно и в области чистого умозрения, ему изменяет дар великолепной выразительности, характеризующий его точное изложение. Возможно, поэтому, что в творчестве его и в его практике действительно имеет место некоторая переоценка сексуального, но это усиленное подчеркивание было исторически обусловлено предшествовавшей, десятилетиями практиковавшейся системой замалчивания и недооценки полового чувства. Крайность была необходима, чтобы привлечь к идее внимание современности; и насильно прорвав преграду молчания, Фрейд тем самым положил только начало дискуссии. В действительности это столь прошумевшее подчеркивание сексуальности никогда не означало реальной опасности, и те крайности, которые были налицо в первых попытках, давно уже преодолены при помощи вечного регулятора всех ценностей, времени. В наши дни, спустя двадцать пять лет после первых формулировок Фрейда, даже самые боязливые могут быть спокойны: благодаря нашему новому, добросовестному, лучшему и более научному ознакомлению с проблемой сексуальности мир отнюдь не стал сексуальнее, неистовее в половом смысле, аморальнее; наоборот, учение Фрейда отвоевало лишь обратно то душевное богатство, что расточили предшествовавшие поколения в силу ложной своей стыдливости, а именно трезвость духа перед лицом всего плотского. Целое новое поколение научилось — и теперь этому уже учат в школах — не уклоняться от решающих вопросов внутренней жизни, не утаивать важнейших, наиболее затрагивающих личность проблем, но с возможной ясностью осознавать именно то опасное и таинственное, что заключено во внутренних кризисах. А всякое сознание

означает уже свободу по отношению к себе, и несомненно эта новая, более свободная мораль окажется более творческим, в нравственном смысле, фактором грядущего товарищеского общения полов, чем старая мораль умолчания; то, что окончательная гибель этой старой морали ускорена и облечена в более пристойные формы, составляет неоспоримую заслугу этого отважного и свободного человека. Всегда бывает так, что целое поколение обязано своей внешнею свободою внутренней свободе одного, отдельного человека; всякая новая наука неизменно начинается с одного, с первого, который ставит проблему перед сознанием прочих.

ПРЕДЗАКАТНЫЕ ДАЛИ

Всякое созерцание переходит в наблюдение, всякое наблюдение — в соображение, всякое соображение — в установление взаимной связи, и можно сказать, таким образом, что всякий раз, когда мы внимательно всматриваемся в мир, мы теоретизируем.

Гете

Осень — благословенная пора для подведения итогов. Жатва собрана, труд свершился; под чистым и прозрачным небом, в сверкании далей, отдыхает жизненный пейзаж. Оглядываясь назад, на созданное, семидесятилетний Фрейд не может сам не изумиться: как далеко завел его творческий путь. Молодой врач по нервным болезням занялся изучением одной из проблем неврологии, истолкованием истерии. Проблема эта, скорее чем он ожидал, увлекает его в самую глубь вопроса. Но там, на дне колодца — новая проблема, проблема бессознательного. Он хватается за нее, и что же? — она оказывается своего рода магическим зеркалом. На какой бы предмет духовного порядка ни направить его лучи, предмет этот озаряется иным пониманием. И вот, вооружась непревзойденною силою толкования, руководимый сознанием тайного своего предназначения, Фрейд идет от одного постижения к другому, неизменно высшему и более пространному — *una parte nasce dall'altra successivamente*,¹ по выражению Леонардо, — и каждый из кругов этой спирали являет цельную картину душевной жизни. Давно уже пройдены области неврологии, психоанализа, толкования снов, сексуальных теорий, а все новые и новые науки встают на пути исследования, требуя обновленного подхода. Педагогика, история религий,

¹ Одна часть последовательно возникает из другой.

мифология, поэзия и все области искусства обязаны своим обогащением его творческим мыслям; с высоты своего преклонного возраста великий старец с трудом может обозреть сам, в какие дали грядущего ведут его нечаянные свершения. Как Моисей с горы, видит Фрейд много и много неводеланной и плодоносной земли для посева своих мыслей.

Пятьдесят долгих лет пребывает этот пытливый ум на стезе войны, в погоне за тайною и в поисках истины; добыча его неисчислима. Как много рассчитывал он, предугадывал, созердал, творил и помогал человечеству, — кто сосчитает все эти подвиги во всех областях духовной жизни? Теперь он в праве был бы и отдохнуть, на закате дней своих. И действительно, что-то такое тянется в нем к более мирному, не столь ответственному созерцанию. Взор его, строго и испытующе заглядывавший во многие, слишком многие сумрачные души, не прочь был бы теперь обхвать неторопливо всю картину мира, в некоем духовном видении. Тот, кто неизменно проникал в глубины, жаждет окинуть теперь взором возвышенности и дали земного существования. Кто всю жизнь свою неотступно пытал и выспрашивал в качестве психолога, хотел бы теперь, как философ, дать ответ самому себе. Кто несчетное число раз анализировал души отдельных людей, хотел бы отважиться постигнуть смысл общности и испытать свое искусство на психоанализе эпохи.

Не ново это вождение — подойти к мировой тайне путями чистого созерцания, в вооружении только мысли. Но, в сознании суровой своей миссии, Фрейд всю жизнь подавлял в себе склонность к умозрению; нужно было сначала проверить законы созидания духа на бесчисленных отдельных единицах, чтобы решиться потом применить их к целому. И пока длился день, все еще казалось ему, исполненному сознания ответственности, что еще рано браться за эту задачу. Но теперь, когда вечерет, когда полвека неустанного труда дают ему право поддаться творческой мечте и заглянуть за пределы индивидуального, он решается переступить эти пределы, чтобы окинуть взором даль и испытать на человечестве в целом тот метод, который он с успехом применил к тысячам.

С некоторой робостью, со страхом приступает этот обычно уверенный в себе мастер к своему начинанию. Можно

сказать, с несовсем чистой совестью отваживается он выйти за пределы точной науки и вступить в область недоказуемого, ибо как раз он, разоблачитель всяческих иллюзий, знает, как легко подпасть обаянию философских своих чаяний. До сих пор он решительно высказывался против всяких обобщений умозрительного свойства: «Я не сторонник фабрикации мирозерцаний». Таким образом, не с легким сердцем и не с прежнею непоколебимую уверенностью обращается он к метафизике — или, как он именуется ее несколько осторожнее — к метапсихологии, и сам в своих глазах извиняет эту позднюю решимость: «Условия моей работы до известной степени изменились, и вытекающих отсюда последствий я не стану отрицать. Прежде я не принадлежал к числу тех, которые способны хоть на миг оставаться при каком-либо сомнительном взгляде, если он не нашел себе подтверждения... Но в то время впереди у меня было необозримо много времени, oceans of time,¹ по прекрасному выражению поэта, и материалы притекали ко мне в таком изобилии, что я едва мог справиться с полученным опытом... Теперь все это изменилось. Время впереди меня ограничено, оно не используется полностью для работы и, таким образом, не так часто представляется случай приобрести новый опыт. Когда я вижу что-нибудь на мой взгляд новое, я не уверен, в праве ли я дожидаться обоснования этого нового». Мы видим, как этот, мыслящий строго-научно человек наперед знает, что ставит перед собою задачу рискованную. И как бы в порядке монологов, словно сам с собою мысленно разговаривая, обсуждает он гнетущие его вопросы, не требуя на них ответа и не отвечая определенно. Поздние его труды «Будущее одной иллюзии» и «Беспокойство в культуре» не так, может быть, насыщены содержанием, как прежние, но они поэтичнее. В них меньше научно-доказуемого, но больше мудрости. Вместо неумолимого аналитика объявляет себя, наконец, синтетически, в широком масштабе мыслящий ум, вместо представителя точной науки врачевания — так давно чувствовавшийся художник. И кажется, будто за испытующим взором мыслителя впер-

¹ Океаны времени.

ные распознаем мы и столь долго таившегося человека — Зигмунда Фрейда.

Но сумрачен этот взор, всматривающийся теперь в лицо человечества; он потемнел, потому что видел слишком много темного. На протяжении полувека люди безостановочно шли к нему со своими заботами, нуждами, мучениями и расстройствами, жалуясь, задавая вопросы, спеша, истерически-возбужденные и неистовствующие, — сплошь больные, подавленные, измученные, сумасшедшие; только меланхолической своей, недееспособной стороной безжалостно поворачивалось к нему человечество в продолжение всей его жизни. Замурованный в вечном подzemельи своего труда, он редко видел другое, светлое, радостное, верущее лицо человечества — людей участливых, беззаботных, веселых, легких сердцем, благодушных, счастливых и здоровых; сплошь больные души, унылые, расстроенные, сумрачные. Он слишком долго был врачом, Зигмунд Фрейд, чтобы не начать взирать постепенно на все человечество в целом как на больного. И уже первое его впечатление, при взгляде на мир с порога рабочей комнаты, заранее ставит ужасающе-пессимистический диагноз: «Как для отдельных людей, так и для всего человечества в целом жизнь не легко переносима».

Жуткие и мрачные слова, мало оставляющие надежды, — скорее тяжкий вздох душевный, чем бесстрастная формулировка! Словно к постели больного подходит Фрейд к своей культурно-биологической задаче. И привыкнув созерцать окружающее глазами психиатра, он усматривает в современности явные симптомы душевного расстройства. Так как всякая радость чужда его взору, он видит в нашей культуре только безрадостное и приступает, путями анализа, к изучению невроза эпохи. Как это вышло, задает он себе вопрос, что так мало мира и уюта в нашей цивилизации, той цивилизации, что вознесла человечество на высоту, и не снившуюся прежним поколениям? Разве мы тысячекратно не преодолели в себя ветхого Адама, не отошли от него и не приблизились к богоподобию? Разве слух наш при помощи мембраны не сообщается с отдаленнейшими материками, разве взор не глядится, благодаря телескопу, в мириады звездных миров, не наблюдает в капле воды целую вселенную, посредством микроскопа? Разве

наш голос не преодолевает в секунду и пространства и времени, не глумится над вечностью, вновь и вновь возникающая из пластинки граммофона? Разве аэроплан не несет нас уверенно сквозь недоступную смертным в тысячелетиях стихию? Почему же, при всем этом богоподобии, нет подлинного чувства победы в душе человека, а лишь гнетущее сознание того, что все это подвластное нам великолепие непрочно, что мы только «боги на протезах» (сокрушающее слово!) и что ни одно из этих технических достижений не дает удовлетворения и счастья нашему глубочайшему «я»? В чем источник этой подавленности, этого расстройств, где корни этой душевной болезни? — спрашивает себя вслух Фрейд. И серьезно, строго и деловито, как если бы речь шла об отдельном случае из его практики, Фрейд берется за задачу выяснения тех причин, которые привели к беспокойству цивилизации, к неврозу современного человечества.

Всякий психоанализ начинается у Фрейда с раскрытия прошлого; так и к психоанализу душевнобольной культуры приступает он с того, что бросает ретроспективный взгляд на первичные формы человеческого общества. В представлении Фрейда первобытный человек (в некотором смысле представитель младенческой поры культуры) пребывает в состоянии звериной свободы; чуждый сознания какой бы то ни было нравственности и законности, он не знает, что такое психические задержки. Сильной силой своей эгоистической цельности, он дает выход своим агрессивным инстинктам в убийстве и пожирании себе подобных, а выход своему половому влечению — в пансексуализме и кровосмесительстве. Но едва только этот в одиночку живущий человек собрался в кочующую орду или в племя, он неизбежно удостоверяется, что его вождеделение встречает преграду в противovoждедении жизненных спутников; всякое социальное устройство, даже на низших ступенях, требует ограничений. Отдельный человек должен уступать, проникнуться сознанием запретности некоторых вещей; устанавливается право и обычай, взаимная договоренность; за каждый проступок грозит кара. Это сознание запретности, этот страх наказания оттесняются вскоре во внутрь и создают в по-звериному темном доселе мозгу новую инстанцию, своего рода сверх-«я», как бы кон-

трольный аппарат, своевременно сигнализирующий об опасности кары, связанной с обходом закона. С возникновением этого сверх-«я», т. е. совести, начинается культура, и с нею и религиозная идея. Ибо в понимании слепо-дрожащей от страха первобытной твари мироздания всякие границы, воздвигаемые природою человеческим вожделениям, как-то: холод, болезнь, смерть, ниспосланы некоей незримой противоборствующей силою, богом-отцом, который волен карать и награждать и которому, в гнев его, надлежит служить и покорствоваться. Мнимое наличие этого всевидящего, всемогущего бога-отца — одновременно и прообраза «я», в силу его символической мощи, и прообраза и источника всяческого ужаса, загоняет непокорного человека, при помощи надсмотрщика-совести, в отведенные ему границы; благодаря этому самоограничению, этому смирению, этому контролю и самоконтролю, варварски-дикое существование приобретает постепенно черты цивилизованности. Но по мере того как буйные по началу силы человеческие, вместо того чтобы истощать себя во взаимном убийстве и кровопролитии, начинают объединяться для совместной творческой деятельности, повышается уровень умственных, моральных и технических способностей человечества, и постепенно оно отвоевывает у своего идеала, у бога, добрую долю его мощи. Молния берется в плен, теряет свою силу стужа, преодолевается расстояние, оружием приобретает безопасность от нападений хищников; постепенно все стихии — вода, огонь и воздух — покоряются культуре человеческого сообщества. Все выше и выше поднимается человечество, творчески организуя свою собственную мощь, по ступенькам лестницы, ведущей ввысь, к божеству; паря над высотами и безднами, преодолевая пространство, владея знанием и близкое к всезнанию. в праве оно, преодолевшее в себе зверя, ощущать свое богоподобие.

Но почему же, спрашивает Фрейд, неисправимый разоблачитель иллюзий, — точно так же, как спрашивал более полутора столетия тому назад Жан Жак Руссо, — почему не стало человечество, при всем своем богоподобии, счастливее и радостнее? Почему наше истинное «я» не чувствует себя, в результате всех этих триумфов цивилизации, богаче, легче, свободнее? И он сам отвечает на это со

свойственной ему жесткостью и беспощадностью: потому что все это изобилие культуры досталось нам не даром, но оплачено невероятным ограничением нашей свободы в области инстинктов. Обратною стороною всякого прироста культурных ценностей в пределах рода является убыль счастья у отдельных лиц (а Фрейд всегда на стороне индивидуума). Прогресс в области человеческой цивилизации связан с ущербом для свободы, с умалением жизненного чувства каждой человеческой души в отдельности. «Современное чувство «я» — это лишь крайне ограниченная часть пространного, можно сказать, всеобъемлющего чувства, отвечающего более прочной и живой связи личности с окружающим миром». Мы слишком много отдали обществу и обществу отдельности своей силы, чтобы изначальные наши инстинкты, сексуальный и агрессивный, могли являть прежнюю целостную мощь. По мере того как душевная наша жизнь дробится, растекаясь по тончайшим и разветвленнейшим каналам, теряет она в своей стремительности и стихийности. Социальные ограничения, с каждым столетием делающиеся все строже и строже, утесняют и извращают нашу чувственную мощь, и в особенности «потерпела ущерб сексуальная жизнь культурной личности. Порою кажется, что она находится в стадии обратного развития, подобно другим нашим органам, например, челюстям и растительности на голове». Но, каким-то таинственным образом, душа человека не обманывается относительно того, что за несчетное множество новых, высших форм удовлетворенности, какие вытекают для нее, что ни день, из искусства, науки, техники, власти над природою и других жизненных удобств, она платится утратою других наслаждений, более полных, первобытных и более согласующихся с ее природою. Что-то такое в нас, биологически таящееся, может быть, в отдаленном уголке мозговых извилин и обращающееся в нашей крови, помнит еще мистически о состоянии первобытной, высшей свободы, не знавшей задержек; давно преодоленные культурою инстинкты кровосмешательства, отцеубийства, всесексуальности призрачно мелькают еще в наших желаниях и сновидениях. И даже в заботливо оберегаемом ребенке, родившемся на свет наиболее деликатным и безболезненным образом от высококультурной

матери в обеззараженном, залитом электрическим светом и хорошо проветренном помещении роскошной частной клиники, пробуждается еще раз древний, первобытный человек; он еще раз должен пройти все ступени, от изначальных космических инстинктов до тысячелетиями отделенной от них стадии самоограничения, и еще раз пережить на своем маленьком подрастающем теле и пережить всю подготовительную к культуре работу. Так воспоминание о былом нашем самодовлеющем величии нерушимо пребывает во всех нас, и порою наше моральное «я» неистово рвется назад, в анархию, в кочевническую свободу, в глубинность первобытной нашей поры. Неизменно колеблются в нашем жизнеощущении, на чашах весов, урон и прибыль, и чем заметнее становится разрыв между вынужденной социальной связанностью и первоначальной непринужденностью, тем большее сомнение овладевает каждою человеческою душою в отдельности, — не является ли она, в сущности, в результате этого прогресса огрabenной и не подменила ли социализация «я» ее «я» подлинного?

Удастся когда-либо человечеству, — спрашивает Фрейд, напряженно всматриваясь в будущее, — побороть до конца это беспокойство, эту душевную надорванность? Найдет ли оно, беспомощно кидающееся от страха божия к звериной похоти, дергаемое запретами, угнетаемое навязчивым неврозом религиозности, какой-либо самостоятельный выход из этой дилеммы? Не подчинятся ли добровольно обе изначальные силы, агрессивный инстинкт и инстинкт пола, морали разума, так что мы получим, в конце концов, возможность отбросить «рабочую гипотезу» о боге, карающем и творящем суд, как ненужную? Преодолеет ли — выражаясь психоаналитически — будущее свой сокровеннейший внутренний конфликт полностью, в результате его осознания, выздоровеет ли оно до конца? Опасный вопрос! Ибо спрашивая себя, не окажется ли разум в состоянии взять когда-либо верх над нашей инстинктивной жизнью, Фрейд впадает в трагический разлад с самим собою. С одной стороны, психоанализ отрицает власть разума над бессознательным: «Люди не поддаются доводам рассудка, ими движут инстинктивные желания», и вместе с тем он утверждает, что «у нас нет никакого другого

средства к овладению нашими инстинктами, кроме интеллекта». В качестве теоретической системы психоанализ отстаивает первенство инстинктов и бессознательного, а в качестве практического метода он рассматривает разум как единственное спасительное для человека и всего человечества средство.

Здесь с давних пор кроется какое-то тайное противоречие в системе психоанализа, и в соответствии с новым охватом оно разрастается до огромных размеров; теперь, собственно, Фрейд следовало бы принять окончательное решение, признать, именно в философском разрезе, первенство разума или инстинкта в сфере человеческой психики. Но это решение оказывается для него, никогда не прибегающего ко лжи и неспособного лгать самому себе, страшно трудным. Ибо как решить? Только что этот старый человек убедился, что его учение о первенстве инстинкта над разумом потрясающе подтвердилось массовым психозом мировой войны; никогда с такой ужасающей ясностью, как в эти четыре апокалиптических года, не обнаруживалось, какой тонкий слой гуманности отделяет человечество от самого разнузданного, самого ожесточенного кровопролития, и что одного толчка из области бессознательного достаточно, чтобы рушились самые смелые построения человеческого духа и святости нравственности. Он убедился, что в этот миг в жертву неистовому и первобытному инстинкту разрушения принесены были и религия и культура—все, что облагораживает и возвышает человеческое сознание; все священные и освященные веками силы человечества еще раз обнаружили свою младенческую беспомощность по отношению к смутному и кровавожадному инстинкту первобытности. И все-таки что-то такое в Фрейде колеблется, не решаясь признать моральное поражение человечества в мировой войне показательным. Ибо если, при всем доступном человечеству сознании, оно бессильно, в конце концов, против бессознательного, к чему тогда разум и собственное его полувекковое служение истине и науке? Неподкупно честный, Фрейд не решается отрицать ни силы воздействия разума, ни темной силы инстинктов. И в конце концов он отделяется от ответа на им же поставленный вопрос осторожным «может быть» или «когда-нибудь может быть», ссылкой на

отдаленное третье царство психики, ибо ему не хотелось бы вернуться к себе самому из позднего этого странствия без всякого утешения. И как-то трогательно мягко и примиряюще звучит, по-моему, его строгий обычно голос теперь, когда на закате жизни ему хочется осветить хоть лучом надежды последний путь человечества: «Мы и впредь можем столь же настойчиво подчеркивать, что интеллект человека бессилен в сравнении с инстинктивной его жизнью, и быть при этом правыми. Но есть что-то особенное в этой слабости; голос интеллекта не громок, но он не успокаивается, пока не заставит себя слушать. В конце концов, несмотря на непрестанно повторяющиеся неудачи, он, может быть, и добьется своего. Это один из немногих пунктов, в которые человечество в праве смотреть оптимистически, но сам по себе он значит немало. Первенство интеллекта где-то еще далеко, но не недостижимо-далеко».

Поистине чудесные слова. Но этот огонек во тьме мерцает в слишком большом отдалении и слишком неустойчиво, чтобы душа человеческая, вопрошающая и стынувшая среди действительности, могла бы согреться. Все «вероятное» — весьма слабое утешение, и никакое «может быть» не утолит нестерпимой жажды души, чающей вышних уверенностей. Но здесь мы оказываемся у подлинного, последнего предела психоанализа: там, где начинается царство внутренней убежденности, творческого упования, там кончается его мощь, — в эти высшие области нет доступа ему, сознательно разрушающему иллюзии и враждующему со всяким заблуждением. Являясь исключительно наукою об индивидууме, о единичной душе, он не знает и не хочет ничего знать о коллективном смысле или метафизической миссии человечества; он только бросает свет, поэтому, на душевные процессы, но не согревает души человеческой. Он может дать только здоровье, но одного здоровья недостаточно. Для счастья, для творческого бытия человечество нуждается в непрестанном подкреплении своей веры в смысл существования. Но у психоанализа нет никаких наркотиков, как у Christian Science, никаких пьянящих экстазов, подобных дифирамбическим обетованиям Ницше; он ничего не сулит и не обещает; не имея возможности утешить, он предпочитает молчать.

Эта его правдивость, целиком возникшая из сурового и честного мышления Зигмунда Фрейда, поразительна в моральном смысле. Но все только правдивое неизбежно таит в себе зерно горечи и скепсиса, над всем рассудочно-изъясняющим и анализирующим витает тень какой-то трагичности. Что-то обезбоживающее неотъемлемо присутствует психоанализу, что-то отдающее землей и гниением, не вселяющее в душу радости и свободы, как и все только человеческое; честность мысли может безмерно обогатить ум, но никогда не заполнит до конца чувства, никогда не внушит человечеству порыва во вне, за пределы своего существования — этой его неразумной и все же необходимой ему услуды. А человек, даже в физическом смысле слова, не в состоянии — кто более блестяще, чем Фрейд, доказал это? — жить без сновидений, его немощное тело не выдержало бы напора неизжитых чувств, — как же вынесет душа человеческая существование без высшего смысла, без видений веры? Пусть наука вновь и вновь доказывает человечеству бессмысленность его игры в боготворчество, — в своем творческом устремлении оно вновь и вновь будет изощряться в осмысливании мира, чтобы не впасть в нигилизм, ибо этот дар изощрения сам по себе составляет подлиннейший смысл всякой духовной жизни.

Для утоления этого душевного голода в распоряжении сурового, строго-деловитого, трезвого в своей холодной ясности психоанализа нет никакой пищи. Он дает познание и только, и так как ему чуждо исповедание какой бы то ни было веры в мир, то он навсегда останется только созерцанием действительности и никогда не станет мирозозерцанием. Здесь его предел. Он оказался в состоянии, в большей степени, чем какой-либо иной духовный метод, приблизить человека к его собственному «я», но не мог вывести его дальше, за пределы этого «я», что является необходимым условием цельности чувства. Он раскрывает, дробит и отделяет, он указывает личный смысл каждой отдельной жизни, но он не в состоянии объединить единым смыслом это тысячекратно-разрозненное. Поэтому, в интересах подлинно-творческой цельности, наряду со свойственной ему формой мышления должна была бы возникнуть и другая; психоанализ, разделяющий и раз-

ясняющий, должен был бы пополниться психоспитезом, связывающим и славляющим воедино; такое пополнение явится в науке, быть может, вопросом завтрашнего дня. Каковы бы ни были достижения Фрейда, за пределами их остаются необъятные просторы для исследования. И после того как он истолковал и изъяснил душе ее сокровенные узы, другие в праве просветить ее относительно ее свободы, ее тяготения к вселенной и устремления в эту вселенную из пределов своего существования.

ЗНАЧЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Индивидууму, который состоит из единого и из многого и от рождения несет в себе определенное и неопределенное, мы дадим растечься в беспредельности не прежде чем рассмотрим всю цепь его представлений, связующих единое со многим.

Платон

Два открытия, символически совпавшие во времени, имели место в последнем десятилетии девятнадцатого века: в Вюрцбурге малоизвестный дотоле физик, по имени Вильгельм Рентген, доказывает на опыте возможность просвечивания человеческого тела, считавшегося ранее непроницаемым для зрения. В Вене столь же неизвестный врач, Зигмунд Фрейд, открывает подобную же возможность в отношении души. Тот и другой методы не только вносят коренные изменения в основы обеих научных дисциплин, но и плодотворно влияют на все соприкасающиеся области; странно-перекрещивающимся образом как раз медицина извлекает выгоду из открытия физика, а из творческой мысли представителя медицины — психофизика, наука о движущих силах души.

Благодаря замечательному и все еще неиспользованному, в его возможностях, открытию Фрейда научная психология порывает, наконец, со своею академическою и теоретическою замкнутостью и вступает в прямую связь с практической жизнью. Через посредство Фрейда психология впервые получает, в качестве науки, применение ко всем явлениям творческого духа. Ибо чем была прежняя психология? Школьною специальностью, теоретическою дисциплиною, загнанною в университеты, замураванною в семинариях, поставляющею книги на неудобочитаемом и неудобоваримом языке формул. Тот, кто ее изучал, знал о себе и законах своей индивидуальности не больше, чем

если бы он изучил санскрит или астрономию, и в широких кругах общества не придавали никакого значения результатам ее лабораторной работы, как полностью абстрактной. Перенеся центр тяжести этой науки с теоретических домыслов на индивидуальность и сделав предметом изучения кристаллизацию личности, Фрейд проталкивает психологию из семинария в реальность и утверждает за нею жизненно-важное значение, в силу ее применимости к человеку. Только теперь может она деятельно служить созданию новой личности в педагогике, лечению больных в медицине, оценке человеческих заблуждений в судопроизводстве, пониманию творческих начал в искусстве; занимаясь истолкованием неповторимой индивидуальности каждого отдельного человека, в его собственных интересах, она помогает одновременно и другим. Ибо тот, кто научился понимать в себе человека, понимает его и в других.

Этим поворотом психологии в сторону отдельной человеческой личности Фрейд, сам того не сознавая, выполнил сокровеннейшую волю эпохи. Никогда не проявляя человек такого любопытства к своему истинному «я», к своей личности, как в наш век прогрессирующей монотонности внешней жизни. Все больше и больше обезличивает обывателя техника современности, создавая из него бесцветный и однообразный тип; разделенные на те же имущественные классы, проживая в тех же домах, одетые в те же платья, отрабатывая те же положенные часы за такими же машинами и потом устремляясь к тем же удовольствиям, к тому же радио, к той же граммофонной пластинке, к тому же спорту, все мы внешне приближаемся к ужасающему сходству друг с другом; города с теми же улицами становятся все более и более неинтересными, народы — все более и более однородными; в исполинской печи рационализации переплавляются все видимые различия. Но по мере того как все больше и больше отшлифовывают нас с поверхности, и люди, в процессе возрастающего обезличения внешних форм жизни, целыми сериями приобретают массовую физиономию, каждому в отдельности все более и более важной становится единственная недоступная внешнему воздействию форма переживания — собственная свол, неповтори-

мая индивидуальность. Она стала высшим и почти единственным меридом человека, и нельзя считать случайностью, что все виды искусства и науки столь страстно увлечены элементами характерологии. Учение о типах, теория деградации и наследственности, исследования относительно периодичности индивидуальных свойств стремятся к тому, чтобы отграничить личное от родового в наиболее систематическом порядке; в литературе биографический жанр расширяет пределы познания личности, и такие, давно уже отмершие якобы методы проникновения во внутреннюю структуру человека как астрология, хиромантия, графология достигают в наши дни неожиданного расцвета. Из всех загадок существования ни одна не представляет для современного человека такой важности, как загадка собственного бытия и установления своей особой, личной обусловленности и исключительности.

К этому средоточию внутренней жизни человека Фрейд еще раз приблизил психологию, ставшую к тому времени абстрактною наукою. Он впервые развил с почти художественною мощью заложенные в человека драматические элементы — эту судорожную игру мельканий в сумеречном свете подсознательного, где ничтожный толчок отдается отдаленнейшими последствиями и в самых изумительных сочетаниях сплетаются прошлое с настоящим — поистине целый мир в тесном кругообороте человеческого тела, необозримый в своей цельности и все же обаятельный как зрелище, в непостижимой своей закономерности. А закономерное в человеке, — в этом решающая переустановка фрейдовского учения, — никоим образом не поддается академической схематизации, но может быть только пережито, изжито совместно с ним и познано в процессе этого изживания, в качестве единственно ему свойственного. Личность человека постигается не с помощью застывших формул, но исключительно по отпечаткам посланных ему судьбою переживаний; поэтому всякое врачевание в тесном смысле этого слова, всякая помощь в смысле моральном предполагают, по Фрейду, познание личности, но познание утверждающее, сочувствующее и в силу этого действительно полное. Поэтому уважение к личности, к этой, в гетевском смысле, «явленной тайне» есть для него непреложное начало всякой психологии и всякого

душевного врачевания, и Фрейд, как никто другой, научил нас хранить это уважение как некий моральный закон. Лишь благодаря ему тысячи и сотни тысяч узнали об уязвимости души, в особенности детской, и перед лицом вскрытых им изъявлений начали понимать, что всякое грубое касание, всякое бесцеремонное залезание (часто при посредстве одного лишь слова!) в эту сверхчувствительную, одаренную роковой силой припоминания материю может разрушить судьбу и что, следовательно, всякие необдуманные наказания, запреты, угрозы и меры принуждения возлагают на наказываемого неведомую до того ответственность. Он неизменно внедрял в сознание современности — школы, церкви, зала суда — уважение к личности, даже на путях ее отклонения от нормы, и этим более глубоким проникновением в душу насадил в мире больше предусмотрительности и снисходительности. Искусство взаимного понимания, это наиболее важное в человеческих отношениях искусство и наиболее необходимое в интересах народов, единственное искусство, которое может способствовать возникновению высшей гуманности, в развитии своем обязано учению Фрейда о личности много больше, чем какому-либо другому методу современности; лишь благодаря ему стали понятными нашей эпохе, в новом и действительном понимании, значение индивидуума, неповторимая ценность всякой человеческой души. Нет в Европе в какой бы то ни было области искусства — естествознания или философии — ни одного человека с именем, чьи взгляды не подверглись бы, прямо или косвенно, творческому воздействию круга его мыслей, в форме притяжения или отталкивания; идя своим, сторонним путем, он неизменно попадал в средоточие жизни — в область человеческого. И в то время как специалисты все еще не могут помириться с тем, что его творчество не выдержано в строго-академических формах медицины, естествознания или философии, в то время как тайные советники и ученые все еще яростно спорят об отдельных пунктах и о конечной ценности его труда, учение Фрейда давно уже выявилось, как непреложно-истинное — истинное в том творческом смысле, который запечатлен в незабываемых словах Гете: «Что плодотворно, то единственно-истинно».

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ В. А. Десницкого	3
ВВЕДЕНИЕ	15
ФРАНЦ АНТОН МЕСМЕР	31
Предтеча и его время	33
Зарисовка	39
Воспламеняющая искра	44
Первые опыты	50
Домыслы и постижения	57
Роман девицы Парадиз	62
Париж	71
Месмеромания	78
Академия вмешивается в дело	84
Борьба сторон	91
Месмеризм без Месмера	95
Возврат в забвение	105
Преемники	116
МЕРИ БЕКЕР-ЭДДИ	121
Жизнь и учение	123
Сорок погибших лет	129
Квимби	139
Психология чуда	146
Павел среди язычников	151
Зарисовка	161
Первая ступень	165
Учение Мери Бекер-Эдди	178
Переход в откровение	197
Последний кризис	201
Христос и доллар	215
Отход в облака	226
Распятие	237
Последствие	250
ЗИГМУНД ФРЕЙД	253
Положение на рубеже веков	255
Зарисовка	269

Исход	278
Мир бессознательного	287
Толкование снов	293
Техника психоанализа	307
Область пола	319
Предзакатные дали	335
Значение во времени	347

